Павел Косенко

ИРТЫШ И НЕВА



Двенадцать лет из жизни Федора Достоевского, литератора





СЕРДЦЕ ОСТАЕТСЯ ОДНО

Иртышская хроника

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Это мои родные места, но трудно было бы мне узнать их: не тянутся вдоль бесконечных дорог нотные линейки проводов и не увидишь в небе перистого следа реактивного самолета. Если б стал я на степном перекрестке в ожидании попутного грузовика, долго бы пришлось мне ждать — десятилетия.

На век моложе солнце, поднимающееся над заснеженной равниной, того, что вижу я сегодня.

Первая половина марта года от рождества Христова тысяча восемьсот пятьдесят четвертого.

Из Омска в Семипалатинск по правому берегу Иртыша через станицы Черемуховскую, Усть-Заостровскую, Ачаирскую, Покровскую, Изылбашскую, Соляную, Елизаветинскую, Черлакскую едет счастливый человек.

Он почти не разговаривает со своими спутниками. Примостившись на одной из подвод бесконечного санного обоза, он не отрывает жадного взгляда от степного простора, от широкой ленты Иртыша, все время скользящей за путниками под высоким обрывом. Порой его обычно плотно сжатые губы растягивает широкая улыбка, такая странная на угрюмом и болезненном, испитом, как любили тогда говорить, лице с огромным лбом. А отчего он так часто прищуривает свои светло-серые глаза? Оттого ли, что так предвесенне горит солнце или потому, что взор застилает слезный туман?

Человека зовут Федором Михайловичем Достоевским.

Он очень счастлив. Через много лет, уже на исходе жизни, вспомнив дни этого санного пути, он назовет их самыми счастливыми днями своей жизни.

Сидя на жестких канатах — обоз везет канаты,— он с наслаждением вдыхает уже пахнущий весной воздух и каждой частичкой своего существа ощущает свободу — свободу, которой он был лишен столько бесконечных зим и лет.

Собственно, ему полагалось проделать путь до Семипалатинска пешком, и то, что нагнал его этот канатный обоз, он считает еще одной своей удачей.

Сколько их было, удач, за последний месяц? Огромной, самой большой в его жизни была та, что дожил-таки он до славной минуты, когда, тяжело звякнув, упали к его ногам раскованные кандалы. Нет, эта минута не была слепым подарком судьбы. Очутившись в смрадном аду острожного барака, он стиснул зубы и сказал себе: «Я хочу жить и буду

жить!» И тысячи раз, как клятву, повторял он эти слова в острожные годы. Повторял и когда пьяный плац-майор Кривцов, мелкий варвар, каналья, каких мало, орал на него, больного, обещал немедленно высечь его, литератора Достоевского, которого несколько лет назад в журналах называли преемником Гоголя и надеждой отечественной словесности. И высек бы, если б кто-то из «морячков» не успел предупредить коменданта крепости де Граве. Он повторял: «Я буду жить!», сгибаясь под тяжестью четырехпудовой ноши, таская с рассвета до заката кирпичи. Он повторял свою клятву, считая пали в острожном заборе. Их было тысячи полторы, и каждая обозначала прожитый на каторге день. Часто он приходил в отчаянье от того, что так много их остается — несчитанных, непрожитых, но клятва помогала загнать отчаянье внутрь, в глухую глубь. Он должен был выжить, потому что жизнь едва успела начаться и он не открыл людям и сотой доли того, что должен был открыть.

И он выжил. Красавец и силач Сергей Дуров, товарищ по «пятницам» Петрашевского, по «семерке» и по Семеновскому плацу, вышел из острога седым стариком, полупарализованной развалиной, а он, Достоевский, на воле смертельно боявшийся малейшей простуды, каждое утро бегавший к врачу, сейчас крепко стоит на ногах, и разум его тверд и ясен. И только своей воле — железной неожиданно оказалась она — обязан он этим.

Все это так. Он не сдался жестокой судьбе. Он боролся молча, непрестанно и яростно — за себя, за жизнь, за будущее. Однако сколько роковых случайностей подстерегало его каждый миг, и любая из них могла сделать борьбу бесполезной! Но удача на этот раз не оставила его, и славная минута пришла.

И тогда начались другие удачи. Кто знает, выдержал ли бы он этот зимний путь при той нервной лихорадке, которая охватила его перед освобождением, если б его сразу отправили в дорогу. Но его на месяц приютили милая Ольга Ивановна Иванова и любезнейший супруг ее Константин Иванович. Ольгу Ивановну Достоевский знал с Тобольска. Ольга — дочь декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гебель. С трудом добилась ее мать права называться Прасковьей Егоровной Анненковой — сколько было сил потрачено, чтобы получить право разделить тяжкую судьбу любимого человека и последовать за ним в

Сибирь. Там они обвенчались, а в январе 1850 года Прасковья Егоровна с дочерью и двумя другими «декабристками», Фонвизиной и Муравьевой, сумела побывать в пересыльной тюрьме, где в грязной и холодной арестантской трое петрашевцев ожидали отправления в Омскую крепость. Достоевский до конца жизни не мог забыть об этом свидании, ободрившем узников перед предстоявшими испытаниями. И вышло так, что Ольга Ивановна, прекрасная, чистая душа, последней проводила его в острог и первой встретила...

В доме Ивановых он был принят по-братски, здесь сделали все, чтобы он «отдышался», хоть немного пришел в себя после Мертвого дома. Здесь он впервые за несколько лет начал по-настоящему читать и с жадностью набросился на номера петербургских журналов. Здесь он строил обширные планы своих будущих трудов, не только литературных, но и ученых. Для исполнения их он просил в письме, написанном в гостеприимном доме Ивановых и отправленном в столицу в глубочайшем секрете, любезного брата Мишу, самого близкого и родного человека, не только по крови, но и по высоким стремлениям духа близкого, прислать ему сочинения историков древних и новейших, Канта, Гегеля. Здесь он познакомился с частым гостем Ольги Ивановны и Константина Ивановича, молодым офицером, юношей с прекраснейшим сердцем и острым умом, образованным по-европейски степняком по фамилии Валиханов. И сейчас, когда Федор Михайлович вспоминает о нем, он улыбается и вытирает глаза грубым рукавом.

Да, ему везет, замечательно везет. Везло ему ведь и в остроге. Разве не встретил он и там людей, которые сделали для него все, что могли, которые помогли ему выжить, выстоять. Те же «морячки», смелые, благородные юноши. Их исключили из гардемаринского корпуса, готовившего флотских офицеров, за жалобу на начальство и отправили служить в Сибирь. Вместо морей и океанов увидели они глухую степь, вместо европейских центров цивилизации — город, хоть и существующий почти полтора столетия, но до сих пор более напоминающий временный военный лагерь, город, где на короткой и пыльной улице — одной из многих таких же — в неказистых деревянных домах без садов и палисадников живут рядом все четырнадцать омских генералов, город, где всем распоряжается старый сумасброд Гасфорт. Но не уныли «морячки», не утратили благородных

движений души и много оказали услуг политическим заключенным Омского крепостного острога. Может, сердится кто из них за то, что не раскрылся он перед ними и всегда держался согласно строгим острожным правилам. Но когда-нибудь они поймут, что вовсе не их опасался всегда хмурый человек в кандалах с наполовину выбритой головой, что ни на миг не сомневался он в чистоте их сердец.

И других благородных людей узнал Федор Михайлович за эти годы. Грозного на вид, но добрейшего сердцем инспектора кадетского корпуса Ждан-Пушкина, сумевшего через знакомых переслать в Петербург записку Достоевского. Старшего доктора военного госпиталя Троицкого, всегда забиравшего Федора Михайловича к себе в госпиталь на Скорбященской улице, когда совсем уже невыносимо становилось тому в арестантской роте № 50. Нет, он был прав, когда в том письме к брату Мише воскликнул: «Брат, на свете очень много благородных людей!»

А разве не встречал он их и за острожным забором? И среди политических заключенных — поляков, офицеров, взятых в плен во время Венгерской кампании. С ними он во многом не согласен, они не понимают России, но рыцарское мужество большинства их несомненно. И среди обычных преступников, порой грабителей, убийц,— и здесь не раз находил он под грубой корой золото души, таланта, доброты. А какие характеры, какие типы! Нет, годы в остроге не пропали даром: если не Россию, то русский народ он теперь знает. Знает так, как никто из столичных прославленных литераторов не знает. Вон старый знакомый Иван Сергеевич Тургенев, сначала друг, а потом злой недруг и иронический преследователь, пока он алебастр на диком бреге Иртыша обжигал, прогремел «Записками охотника». Прекраснейше написано, а все-таки душу мужичка вы, Иван Сергеевич, до конца, до дна не раскрыли, да и раскрыть не могли, потому что вы барин, гуманный и великодушный, а все-таки барин, на одних нарах рядом с ним, с мужичком, не спали, щей с тараканами из одного котла с ним не хлебали-с. Вот подождите, позволят печатать,— и тогда мы посмотрим кто кого.

Весенний ветер свободы. Далеко, на левом берегу Иртыша, у крошечной юрты вьется дымок костра. Воля!

Он счастлив, очень счастлив. Ноги его еще не отвыкли от кандалов, но больше ему их не носить. Голова его полна обширнейших замыслов.

Но почему он где-то в глубине души боится приближения ночи, боится снов? Ведь у счастливого человека и сны должны быть легкими, светлыми, радостными.

Он давит этот страх. Он не дает ему воли и тогда, когда уже засверкают в черном небе холодные звезды и обоз остановится на ночевку в очередной казачьей станице. Еды здесь не достать. В кипящий котел бросают застывшие до стальной твердости еще в Омске приготовленные пельмени. Он не дает воли этому страху и когда ложится в душной избе на пол, завернувшись в шинель. Может быть, сегодня не будет этих тяжких снов.

Но они приходят. Ему снится все страшное, что довелось ему испытать, все то, что наяву он яростно гонит из памяти,— сейчас его, неокрепшего, эти воспоминания могут убить.

Ему снится даже то, чего он сам не видел.

Ему снится, как в летнем цветущем поле под сельцом Даровым валят мужики на землю отца, Михаила Андреевича, раздирают помещику рот твердыми грязными пальцами, льют в хрипящую глотку огненный спирт и зажимают ее мешком, чтобы задохся. Крут был характером и гневлив отставной штаб-лекарь, выслуживший дворянство, и немало он потрудился над спинами своих крепостных, прежде чем решились они на убийство.

Снится Федору Михайловичу, как после первого сногсшибательного его успеха, после «Бедных людей», после взволнованных слов Белинского, которых ему никогда не забыть, наступила пора разочарования и насмешек, как новые знакомцы, превознеся его до небес, тут же с грохотом опустили на заплеванную каменно-жесткую землю. Снится, как кто-то, Панаев, кажется, читает ему пасквильную эпиграмму:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Зреешь ты как новый прыщ.

Он хочет бежать, но вокруг люди, все хохочут и тычут в него пальцами...

Он просыпается задыхаясь и долго лежит, прислушиваясь к постепенно успокаивающемуся сердцебиению и оправдываясь перед кем-то. Да, он был неловок, смешон, может, и занесся немного по молодости, нервности и житейской малоопытности, но ведь не чепуху же он писал и после «Бедных

людей», совсем не чепуху. Новые горизонты перед ним открывались, несколько лет еще — и вы бы, господа эпиграммисты, это поняли...

Он вновь забывается, и снова приходят сны. Снится ему полутемная и сырая камера Алексеевского равелина, и будто колышется пол, как корабельная палуба, и нечем дышать — словно из камеры насосом выкачивают воздух.

А вот он в следственной комиссии, разбирающей подробности «заговора идей», перед огромным столом, покрытым красным, над которым склонились пять стариков в звездах и лентах. Они — охотники, он — дичь. Много дней они травят его, не дают отдыха, гонят выстрелами вопросов на красные флажки признания. Он не скажет ни слова, которое могло бы повредить товарищам, он не отречется от своей истины. Но потому он и обречен.

Кривится пухлое лицо одного из стариков, дергается рот, брызжет слюна, мучительно и неопрятно продираются звуки из гортани заики. Это задает вопрос генерал-адъютант Иаков Ростовцев, любимец царя, усеянный звездами доносчик, за два дня до восстания декабристов предупредивший о нем Николая. Достоевский видит, как течет из угла дергающегося рта генерала ручеек слюны, и тошнота охватывает его.

И самый страшный сон — Семеновский плац, по всей площади разносящаяся дробь барабанов, три шеренги солдат с поднятыми ружьями и напротив них три фигуры в нелепых серых балахонах, привязанных к столбам. Колпаки скрывают их лица, но вот одна из фигур резким движением головы сбрасывает капюшон, и он видит исступленное лицо Петрашевского, обросшее огромной черной бородой. Дробь обрывается, Достоевский кричит. Просыпается. И на этот раз еще дольше нельзя успокоить расходившееся сердце.

Он лежит на полу в душной казачьей избе, думает. И сейчас все, все предстает перед ним в совсем ином свете, чем днем. И становится ясно, что радостное возбуждение — это просто продолжение нервной лихорадки.

Свобода? Да разве к свободе едет он? Рядовой линейного батальона из политических преступников — вот он кто теперь. Ни шагу без разрешения. В струнку перед любым унтером. По команде ходить, есть, спать. Просто ему сменили одну тюрьму на другую, и еще неизвестно, какая будет хуже. Вынесет ли он солдатство? К фрунту он никогда способностей не имел. Какое еще начальство попадется. А если

вроде плац-майора Кривцова — мало ли таких Кривцовых в армии Российской империи? Долго ли такому муштрой и придирками загнать его, больного, в гроб?

Да, больного. Ведь он просто обманывает себя и других, говоря, что здоров и крепок. Эти припадки с корчами, обмиранием сердца и потерей сознания... Нет, нет, это не падучая, но это достаточно плохо.

Он едет в одиночество. В Омске нашлись благородные и просвещенные люди, которым не было чуждо его имя. Но Омск — все-таки центр края. Семипалатинск — глухая глушь, край света. Наивно думать, что хоть кто-нибудь из тамошних чиновников и офицеров слышал о преемнике Гоголя.

Еще на тысячу верст будет он дальше от Петербурга. Еще тоньше станут нити, связывающие его с близкими сердцу. А остались ли вообще они, эти нити? И помнят ли о нем близкие сердцу-то? Или стараются позабыть? Брат Михаил, любимый, единомыслящий, с которым когда-то в юности со слезами на глазах вместе читали Шиллера, а потом строили планы журнальные и общественные,— не прислал в каторгу ни одного письма. Быть не может, чтоб было запрещено,— все политические получали. Видно, не ходил в полицию за разрешением, а скорее, сходил раз, поговорил с кем-то, кто, может, и дела совсем не знал,— и успокоился. Что ни говори, а разошлись дороги братьев, с тех пор как из Петропавловской крепости одного выпустили на свободу, а другого послали в сибирскую каторгу. И сойдутся ли? Забыл Михаил Михайлович и о Шиллере и о Фурье, забросил журналистику и открыл табачную фабрику, рассылает покупателям сигарные ящики с сюрпризами.

А как нужна Федору Михайловичу его помощь! Где еще достать денег, этой чеканенной свободы, без которой любая воля — неволя? А в неволе без них совсем пропасть. Книги — кто пришлет кроме? Книги же нужны, как хлеб. Но пришлет ли, поможет ли?

Хорошо, пришлет. И ты узнаешь, как далеко ушли вперед старые соперники, сколько появилось новых громких имен. Новая жизнь, новое поколение. Ты для него отрезанный ломоть. Ты не знаешь его запросов, его стремлений. Что без этого значит писатель, кому он нужен? Сможешь ли ты стать нужным, догнать жизнь, догнать время, которое было неподвижным только в твоем Мертвом доме?

Да и когда разрешат тебе печатать (даже если предста-

вить, что в семипалатинской казарме найдутся возможности и время для сочинительства)? В письме к брату ты сам пишешь: лет через шесть. Это самое счастливое предположение. Через шесть лет тебе будет почти сорок лет. Трудновато в сорок лет заново начинать завоевывать внимание почтеннейшей публики. Скорее всего — безнадежно.

Однако мучительнее всего другая мысль, не о будущем — о прошлом. Эту мысль Федор Михайлович думает давно, с первых острожных месяцев, когда вплотную столкнулся с обитателями каторги, с народом, тем самым народом, ради которого, не опустив глаз, стоял на Семеновском плацу в ожидании смертной казни расстрелянием. Иные, не знающие, скажут: какой же это народ? Это преступники, отброс. Но он-то убедился, он-то уверен: это и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. И народ этот не принял его. Чужаком он прожил среди него все четыре года.

Сначала были издевательства, насмешки: «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего». И ничем не убедишь, что никого он не мучил. Дворянин — значит мучитель. Это правило, тут и разбираться нечего.

Потом преследовать его почти перестали, решили, должно быть, что сам он не так уж плох. Но ни на йоту не изменило это главного: он оставался чужим, барином, человеком из другого мира. И в кандалах барин все равно барин.

Но если не принял его и его друзей народный мир, если чужды они ему, так для чего же все было: общество пропаганды, «заговор идей», мученичество на Семеновском плацу? На пятницах у Петрашевского они в гордыне планировали переустройство жизни, коим думали осчастливить народ, а оказалось — мужик ничего из барских рук принимать не хочет. То есть деньги, скажем, примет, сам выпросит и потом посмеется над барской дуростью, что дал. А вот счастья, барами для него спроектированного, не возьмет.

И, значит, все было зря, и жизнь погублена напрасно, из-за пустого донкихотства. Господин Фурье предсказывал: когда настанет царство гармонии, вода в морях приобретет вкус лимонада. Они, петрашевцы, старались не замечать подобных мест в сочинениях великого пророка грядущего счастья человечества. Но не такой ли лимонадной мечтой оказались планы преобразования мира на разумных началах, планы создания российского фаланстера?

А если так, то чем жить? И зачем жить? Он шел, ведомый высокой звездой. Звезда закатилась. По какой теперь сверять дорогу? Он может идти только по звездам, ему не дано научиться торговать сигарами. Великие надежды с корнем вырваны из сердца. Чем жить?

Между тем натуральные, не метафорические, звезды в маленьком оконце казачьей избы начинают гаснуть. Мрак медленно редеет, и, странно, вместе с тьмой постепенно уходят мучительные думы, уходит отчаянье.

...Вот он снова сидит на жестких канатах в санях. И снова он счастлив и уверен в себе. Он добьется своего. Он пройдет через солдатство, не потеряв живой души, он вернет право печатать и пером завоюет мир, открывая людям их самих. Он увидит свой Петербург, и снова рядом будут близкие, верные и преданные ему люди. И брат Михаил, зарыдав, обнимет его. Ночной, уходящий голос шепчет ему: «Это невозможно». Пусть невозможно! Он совершит невозможное! Пусть скорей будет Семипалатинск, новая борьба — за жизнь, за будущее!

* * *

Самое удивительное, что он действительно осуществил задуманное. Но гении на то и гении, чтобы делать невозможное возможным.

* * *

А будет ли он счастлив, когда добьется своего? Конечно, нет. Но разве в этом суть? Много лет спустя знаменитый писатель Федор Достоевский скажет: «Счастье не в счастье, а лишь в его достижении».

НЕСКОЛЬКО ЗАПОЗДАЛОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Самым проницательным современникам нередко трудно осознать истинный масштаб явления. Добролюбов, глубоко и сочувственно разобравший раннее творчество Достоевского, хвалил писателя за то, что он смотрит на свои романы и повести не как на несокрушимый памятник векам, а как на обычную журнальную работу. Сам Достоевский приблизительно в то же время жаловался друзьям: если бы не вечная

спешка, если бы не вечные долги, я б написал такую книгу, которую будут читать и через сто лет.

От долгов Федор Михайлович избавился только в последний год жизни. Нужда всегда преследовала его по пятам. Он не мог себе позволить ни на день забыть о сроках сдачи рукописи. И предельным напряжением духовных сил он оканчивал рукопись в срок, ни в строке не поступившись совестью художника. Чтобы избавиться от страшной кабалы издателя-ростовщика Стелловского, ему пришлось за двадцать шесть дней продиктовать роман. Условия, на которых Стелловский дал писателю аванс, были совершенно неслыханными, поистине шейлоковскими: если Достоевский не сдаст к сроку новый роман, издатель получает право в течение всей жизни писателя выпускать его произведения, не платя автору ни копейки. Ну, казалось бы, в таких-то условиях можно было сделать себе поблажку, написать что угодно, лишь бы отделаться от ростовщика. Но Достоевский продиктовал роман «Игрок», который столетие читают миллионы людей на всех языках мира.

Как, впрочем, и все другие книги Федора Достоевского.

Существуют тысячи попыток кратко выразить сущность творчества автора «Братьев Карамазовых». Одна из самых удачных принадлежит Виктору Шкловскому, который сказал: «Федор Достоевский был одним из величайших открывателей мира».

Достоевский не «отображал», не «изображал», не «рисовал» — он открывал закономерности мира, и его открытия бессмертны, как бессмертны открытия Ньютона, Эйнштейна, Дарвина.

Достоевский был сыном своего времени, жестокого времени, и оно свирепо изломало его. После разгрома общества Петрашевского, после царской каторги писатель разуверился в возможности революционного переустройства мира. По словам Емельяна Ярославского, Достоевский «перестал верить в революцию, и в этом была величайшая трагедия, величайшее несчастье всей его жизни».

Великий мятежник духа, он пытался заставить себя смириться, призывал к смирению других, со всей своей яростной страстностью обрушивался на тех, кто считал, что только революция приведет человечество к счастью.

Он хотел преданно служить самодержавию и церкви, ибо поверил, что только они могут спасти человека от волчьих порядков капиталистического строя, от Наполеонов и

Ротшильдов. Хотел начисто отречься от себя молодого, стать одним из вождей лагеря, враждебного революции, и все-таки в итоге не смог, потому что он был великим открывателем мира, и законы, которые он открывал, были революционными законами.

Достоевский — охранитель «устоев» не мог победить Достоевского — гениального реалиста и великого бунтаря. Второй Достоевский выкидывал порой с первым, «официальным», странное. Первый задумал «Бесы» — яростный памфлет на революционеров конца шестидесятых годов. Он писал его «руками, дрожащими от гнева» (Салтыков-Щедрин), и выполнил свой замысел: этот роман при своем появлении помог травле героев революционного подполья. И позже мракобесы многих мастей не без успеха пользовались образами книги для нападения на революцию. Но и в этом реакционнейшем по задаче произведении первый Достоевский не смог до конца побороть второго. В «Бесах» — много клеветы на подлинных шестидесятников. Но вместе с тем эта книга — гениальное, пророческое предвиденье будущей бешеной судороги капиталистического строя — фашизма. Его философии. Его тактики. Его демагогии. Достоевский увидел «бесов» не там, где они действительно родились. Но, перепутав социальные адреса, само зловещее явление писатель открыл с потрясающей глубиной.

Перед смертью, казалось бы, совсем прирученный реакцией, наставляемый ее вождем Победоносцевым, Достоевский пишет «Братьев Карамазовых», пишет с целью окончательно утвердить охранительные устои, показать спасительность смирения, красоту страдания. Но невиданной до тех пор, штормовой, ураганной силы достигает в этом последнем романе писателя «бунт», как названа одна из книг романа,— бунт, сотрясающий основы неправого мира. И кроткий Алеша на вопрос Ивана, что же делать с насильниками, издевающимися над народом, может быть, простить их? — побледнев, отвечает: «Расстрелять».

Мощь бунтующей мысли в «Карамазовых» огромна. Современник писателя, замечательный художник-демократ Крамской, говорил, что во время чтения романа он не раз в испуге оглядывался: ему казалось, что мир переворачивается на своей оси.

Не смог Достоевский до конца победить в себе революционера, не смог.

«В своей душе он убил его, он похоронил его, он наворо-

чал громадные камни на могилу. Но под этими камнями был не мертвец. Кто-то постоянно шевелится, какое-то сердце громко бьется там и не дает покоя Достоевскому» (А. В. Луначарский).

Реакция многократно пыталась и пытается до сих пор использовать Достоевского в своих интересах, и слабости великого писателя дают для этого почву. Но Достоевский, сказавший в лицо окружающему его миру насилия и угнетения: ««Лик мира сего» мне даже очень не нравится»,— Достоевский, показавший, какие неимоверные страдания несет человеку власть собственников-эксплуататоров, Достоевский, мечтавший о «золотом веке» человечества, этот Достоевский дорог нам, строителям подлинного «золотого века» человечества,— коммунистического общества.

Интерес к глубокому и сложному миру творчества Достоевского все возрастает. Произведения Достоевского в нашей стране ныне издаются миллионными тиражами, громадную аудиторию собирают фильмы, созданные по книгам писателя.

Труды представителей советской школы исследователей Достоевского, таких, как М. М. Бахтин, Л. П. Гроссман, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, А. С. Долинин, В. Я. Кирпотин, Г. М. Фридлендер и многие другие, впервые правильно осветившие жизненный и творческий путь писателя, проблематику его творчества в целом и отдельных его произведений, своеобразие поэтики Достоевского, его значение для дальнейшего развития искусства слова, эти труды — замечательный вклад в мировую науку о литературе, свидетельство высокой зрелости советского марксистско-ленинского литературоведения.

Но Достоевский неисчерпаем, и неудивительно, что далеко не все этапы его пути освещены пока с хотя бы относительной полнотой. И, пожалуй, меньше всего повезло в этом отношении казахстанскому периоду его жизни. Между тем, по справедливому замечанию М. О. Ауэзова, «для биографии Достоевского годы пребывания в ссылке имеют немалое значение».

Книг, посвященных казахстанскому этапу биографии великого писателя, не много. Рассказ о событиях этого периода содержится в соответствующих главах известного труда Л. Гроссмана, дважды выходившего в серии «Жизнь замечательных людей», и книги Н. Якушина «Достоевский в Сибири», изданной в 1960 году в Кемерове. Однако,

являясь лишь частью обширной работы, этот рассказ поневоле носит беглый характер. Это относится не только к биографическому труду Л. Гроссмана, но и к книге Н. Якушина, содержание которой шире названия.

Основным фактическим источником сведений о пребывании писателя в Казахстане являются известные воспоминания А. Е. Врангеля, полностью не переиздававшиеся уже полвека. Но барон Врангель, молодой чиновник, ставший искренним другом рядового 7-го Сибирского линейного батальона Федора Достоевского и сыгравший благотворную роль в его судьбе, прожил в Семипалатинске чуть больше года и о последующем периоде казахстанской эпохи жизни писателя рассказать, естественно, мог не много. Однако существует и ряд других мемуаров современников, представляющих, несмотря на свою отрывочность, немалую ценность. Они вместе с официальными документами и исследованиями краеведов и составили фактическую основу нашей повести.

Книга эта не литературоведческая, а биографическая. Но внешние события жизни писателя Достоевского настолько неразрывно связаны с развитием его духовного мира, что для биографа было бы верхом наивности пытаться оторвать событийную канву от идейных поисков Достоевского, от его творчества. Они неотделимы.

* * *

Федор Михайлович Достоевский прожил в Казахстане, главным образом в Семипалатинске (из города он выезжал несколько раз, самый долгий его отъезд — за восемнадцать верст, в форпост Озерный — продолжался два месяца), пять лет — двенадцатую часть своей жизни.

В биографии писателя, вообще невероятно насыщенной яркими и трагическими событиями, сильными страстями, огромной работой мысли, титаническим трудом, эти пять лет относятся, пожалуй, к самым напряженным. Омские каторжные годы Федор Михайлович обычно считал как бы вычеркнутыми из жизни, временем, когда он «был похоронен живой и закрыт в гробу». О семипалатинских же говорил: «По крайней мере жил, хоть страдал, да жил!»

В Семипалатинск Достоевский приехал оглушенный каторгой, одинокий, растерянный, с обширными, но неопределенными планами возвращения в настоящую жизнь, планами, в осуществление которых верилось трудно. Ему пред-

стояло тянуть солдатскую лямку, по-прежнему быть бесправным и отверженным. Но неимоверным усилием воли он победил и тяготы солдатчины и отвержение. Усилие это не было просто стихийным порывом. Достоевский действовал планомерно и расчетливо. Он обдумал и выработал наиболее выгодную в данных условиях житейскую тактику и ни на шаг не отступал от нее. Великий мастер композиции продуманно и целеустремленно скомпоновал этапы пути к свободе. И он прошел их в максимально сжатый срок, ничем внутренне не поступившись, ни в чем не унизив своего человеческого достоинства.

В Семипалатинске он выслужился в унтер-офицеры, а затем и в офицеры. Но еще солдатом он стал желанным и вроде бы обязательным гостем в домах «первых людей» Семипалатинска, хотя сам, казалось, не приложил к этому ни малейшего усилия. В его поведении не было никаких следов заискивания перед «сильными мира сего». Человек неудержимых страстей, взрывчатого темперамента, ярко проявившегося в других сферах его жизни и в Семипалатинске, он в отношениях с этими «сильными» показал величайшее самообладание, исключительный такт. Еще солдатом он заставил уважать себя не только тех, кто имел представление, что такое Достоевский-литератор, но и скалозубов николаевской армии.

В Семипалатинске Достоевский смог вернуться к делу своей жизни — литературному творчеству. «Семипалатинские повести» («Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели») писались с сильной оглядкой на цензуру, которая с особым тщанием рассматривала произведения вчерашнего каторжника. Писатель вынужден был не касаться в них наиболее животрепещущих вопросов современности. Поэтому их появление не вызвало у читающей публики особого интереса, а сам автор впоследствии весьма пренебрежительно отзывался об этих поневоле «невинных» своих опытах в жанре «комического романа».

Но Достоевский не был бы Достоевским, если б он мог написать что-нибудь действительно невинное. И в «Дядюшкином сне» и, особенно, в «Селе Степанчикове» в зашифрованном виде содержится острейшая полемика с идеологией реакционеров-крепостников, последняя же повесть целиком направлена против такого документа общественной реакции, как «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя.

Художественно же эти якобы слабые произведения были реабилитированы русским театром, разглядевшим в них яркие и неповторимо своеобразные характеры. Десятилетия не сходят со сцены инсценировки этих повестей, ставшие основой спектаклей, где незабываемые образы создали крупнейшие русские артисты: Станиславский, Москвин, Хмелев, Игорь Ильинский. Теперь всем ясно, что семипалатинские повести Достоевского — это особая, отнюдь не тусклая, глава в многогранном творчестве великого писателя.

Но в Семипалатинске писались и «Записки из Мертвого дома», книга, которой Достоевский, с предельной взыскательностью относившийся к своей работе, всегда гордился. Во многом был прав знаменитый путешественник и друг юности Федора Михайловича П. П. Семенов-Тян-Шанский, писавший: «Можно сказать, что пребывание в «Мертвом доме» сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога». И подъем писателя на новую, неизмеримо более высокую, чем раньше, ступень художественной зрелости впервые обнаружился в книге, начатой на берегах Иртыша.

Семипалатинские годы Достоевского — это годы расцвета его дружбы с Чоканом Валихановым, оставившей глубокий след в духовном мире писателя. Эта дружба не просто поддержала Достоевского в трудное время, не только помогла его возрождению. Знакомство с прекрасным нравственным и духовным обликом молодого казаха, в несколько лет ставшего ученым с европейским именем, помогло Достоевскому утвердиться в убеждении о равенстве наций и рас, убеждении, которое позже уже ничто не могло поколебать. Можно полагать, что писатель вспоминал о своем друге-казахе, когда много лет спустя говорил в «Дневнике писателя», произведении, где наряду со многими страницами, написанными под духовную диктовку Победоносцева, есть и мысли светлые и близкие нам: «Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единстве с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им от себя ветки для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым об-

щением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собой счастливую землю!»

В таком предположении нет натяжки: мы знаем, что именно в те годы, когда прозвучали эти замечательные слова, писатель вспоминал своего давнего друга, обдумывая характер героя «Подростка» Версилова, мечтающего о «золотом веке».

Семипалатинские годы Достоевского — это годы его «грозного чувства», его первой, запоздалой, мучительно трудной любви к жене маленького чиновника Марии Дмитриевне Исаевой, которая после сложнейших и трагичнейших перипетий, словно сошедших со страниц романов писателя, стала-таки наконец Марией Дмитриевной Достоевской.

Но не только по всему этому стали семипалатинские годы пограничной вехой в биографии гениального человековеда. К глубокой боли нашей, не только поэтому.

То были годы, когда Достоевский начал заставлять себя отрекаться от убеждений молодости. То были годы мучительной и трагической перестройки мировоззрения, навсегда отрезавшей великого писателя от лагеря сознательных борцов с самодержавием. Эту перестройку, один из исследователей справедливо назвал крупнейшей катастрофой мировой литературы, ибо если и изломанный, наступающий на горло своей песне Достоевский, вопреки своим стремлениям, оказался одним из величайших мятежников в мировой литературе, то можно представить, каких высот достигло бы его творчество, если б оно было сознательно подчинено передовым идеям века, если бы вчерашний узник Мертвого дома нашел в борьбе идей место рядом с Чернышевским.

Вот какими были пять казахстанских лет Достоевского.

Начнем же наше путешествие по этим крутым годам.

«ОТЛИЧАЛСЯ МОЛОДЦЕВАТЫМ ВИДОМ»

Каким был Семипалатинск, когда прибыл в него с обозом, везшим канаты, недавний каторжник, а ныне рядовой 7-го Сибирского линейного батальона Достоевский?

В очень интересной в целом книге Виктора Шкловского «За и против. Заметки о Достоевском» о городе на Иртыше сказано так: «Если бы у Земли был край, то был бы такой край похож на Семипалатинск. Среди пыли и песка стоит несколько изб, там, впереди,— горы, пустыни Китая, в ко-

торые никто не ездил». Тут, говоря словами из другой книги этого талантливейшего, но не всегда точного писателя, «все спокойно перепутано».

Шесть тысяч жителей тогдашнего Семипалатинска в нескольких избах, очевидно, не разместились бы. Дороги в Китай — в Чугучак, Кульджу — тоже, надо думать, не всегда были пустынными, коли в год приезда Достоевского одного китайского чая в Семипалатинск было доставлено на миллион шестьсот тысяч рублей.

В первом же письме отсюда, едва оглядевшись, Федор Михайлович сообщал брату: «Город довольно большой и людный». И обещал позже подробнее рассказать о Семипалатинске: «Это стоит того».

Тогда Семипалатинск только что стал центром области, подчинявшейся генерал-губернатору Степного края, ставка которого находилась в Омске. Такое выделение Семипалатинска не было, конечно, случайным, оно являлось одним из проявлений колонизаторской политики царизма. Город на Иртыше становился восточным центром проникновения российского самодержавия в казахскую степь и далее — в Среднюю Азию. Отсюда отправляются на юго-восток военные и исследовательские экспедиции. Все это приведет позднее к быстрому росту города. Но пока до этого еще далеко.

Давайте представим себе этот полугород-полудеревню. Он отчетливо делится на три части, границы между которыми проходят по песчаным пустырям. На севере лежит казачья слободка, самая чистая и благообразная часть города. Здесь есть сквер, довольно большие дома штаба казачьего полка, полкового командира, военного училища, больницы. Казарм тут нет — казаки живут своим хозяйством в бревенчатых избах с огородами.

Юго-восток города — так называемая татарская слобода. Здесь нашли пристанище ремесленники и купцы из Коканда, Бухары, Ташкента и Казани. Тут те же бревенчатые дома, редкий из которых обшит досками. Но есть и разница: на улицу в этом месте окна не выходят, свою семейную жизнь правоверные не собираются показывать никому. Над крышами жилых домов поднимаются верхушки нескольких неуклюжих минаретов.

Между двумя слободами — центр города. Раньше в центре стояла Семипалатинская крепость, основанная на два года позже Омской, но давно осыпались ее рвы и валы, и только

тяжелые каменные ворота напоминают о ней. Теперь тут разместились казармы, живут господа офицеры и чиновники, поднимаются главная гауптвахта и тюрьма. Нет ни деревца. Едва подсохнет земля после сошедшего снега, ветер начинает мести по широким и голым улицам песок. Песок засыпает город, мешает открывать калитки и двери, скрипит на зубах, проникает под одежду. Господа офицеры называют город «чертовой песочницей». Именуют, впрочем, и «Семипроклятинском».

На левом берегу, там, где теперь огромные корпуса мясокомбината и цементного завода и многоэтажные здания Жана-Семея, раскинуты сотни юрт полуоседлых казахов. Есть здесь и деревянные дома, но их обитатели обычно живут в них лишь зимой, вернувшись с летовок в горах Чингистау.

Тут тоже песчано и голо. Тополя и осины покрыли лишь Полковничий остров, отделенный от правого берега довольно широким рукавом реки.

Федор Михайлович, невольный новосел города, скоро убедился, что вечером его пустынные улицы не освещаются ни одним фонарем. Узнал он и что в городе лишь один магазин, одна аптека, одно начальное училище, а гостиниц не имеется вовсе. Впрочем, последнее обстоятельство не имело для него никакого значения, так как ему «гостиницей» с первого же дня стала солдатская казарма...

С этой казармой, сгоревшей в год смерти писателя, чуть не целиком связаны первые семипалатинские месяцы Достоевского. Она мало чем отличалась от острожного барака — те же жесткие голые нары, та же темнота, та же вонь, та же беспрерывная брань, та же скудная пища. На дневное довольствие солдату полагалось четыре копейки. Из них ротный командир, фельдфебель и кашевар удерживали в свою пользу полторы. Делалось это открыто, с процветавшей в Сибири патриархальной простотой. Ничтожность суммы тоже никого не смущала. Бывали же здесь губернаторы, бравшие с обывателей взятки по полтиннику...

Эти первые казарменные месяцы быт Достоевского мало чем отличался от быта всех остальных солдат. Вместе с другими Федор Михайлович нес караульную службу у денежного ящика в казначействе, у тюрьмы, у гауптвахты, у амбара с казенной известкой. Вместе с другими всячески остерегался ротного командира Веденеева, прозванного Бураном за злобный характер. Вместе с другими до смерти уставал во время

бесконечных фрунтовых учений. Впрочем, здесь ему приходилось круче, чем другим.

Товарищ Федора Михайловича по военно-инженерному училищу, а впоследствии художник К. А. Трутовский так вспоминал о молодом Достоевском: «Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили».

Так было в ранней молодости. Потом пошли годы лихорадочной писательской работы, бесконечные бессонные ночи над листами бумаги. Они, надо думать, «выправки» Федора Михайловича не улучшили.

Во всяком случае, один из его знакомцев тех лет доктор С. Д. Яновский утверждал, что по манере держаться писатель тогда напоминал скорее семинариста, чем выпускника военно-учебного заведения. Между тем, когда много лет спустя одного из офицеров, под началом которого служил в Семипалатинске автор «Бедных людей», попросили поделиться воспоминаниями о знакомстве со знаменитым писателем, тот, подумав, поделился: «Достоевский отличался молодцеватым видом. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался». Больше офицер ничего не мог вспомнить. Это весьма красноречиво говорит о широте его духовного горизонта. Но одновременно и о совсем другом, для нас более важном.

Федор Михайлович не мог позволить себе роскоши «подвергаться замечаниям». Только идеально беспорочная служба давала надежду на выслугу в офицеры, без которой было невозможно возвращение в настоящую жизнь, к любимому труду.

Автор опубликованной в двадцатые годы в журнале «Сибирские огни» статьи «Ф. М. Достоевский в Семипалатинске» Б. Г-в (священник Борис Герасимов) с прелестной наивностью замечает, что писателю «как будто самому нравилось тянуться перед начальством». И тут же рассказывает, что Достоевский, если мундир его был не в порядке, если у него попросту не было полушки на нитки — пришить оторвавшийся крючок или залатать прореху, чтобы не рисковать нарваться на замечание, и в тридцатиградусную жару

надевал поверх мундира шинель. Очевидно, это тоже ему «самому нравилось».

Нет, не легко доставался Достоевскому его «молодцеватый вид».

А ведь приятели молодости Федора Михайловича искренне считали его бесхарактерным и безалаберным. В какую же пружину он сумел сжать свою волю, чтобы подчинить себе судьбу!

В письмах пятьдесят четвертого года к братьям Федор Михайлович осторожно говорит о тяжести солдатчины и с гордостью о том, что он сумел ее преодолеть. Об этом он кратко пишет брату Андрею («Все лето я был так занят, что едва находил время спать. Но теперь немного привык»), подробнее — Михаилу Михайловичу: «Конечно, ты знаешь или, наконец, можешь угадать, чем я теперь занят. Ученье, смотры бригадного и дивизионного командиров и приготовления к ним. Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило — другой вопрос; но мною довольны и слава богу!.. Солдатство не шутка, солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой, или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтобы приобрести этот навык, надо много трудов».

Но не только маршировка и караулы, почти не оставлявшие досуга, тяготили Достоевского эти месяцы. Были вещи и куда хуже.

Однажды ему пришлось принять участие в экзекуции. Провинившегося солдата вели за руки, привязанные к двум ружьям, между рядами его товарищей, и каждый из них с силой опускал палку на обнаженную, успевшую побагроветь спину. Сзади шел Буран и внимательно следил, чтобы все удары были полновесными. Если он находил, что кто-то бьет недостаточно сильно, то ставил нерадивому мелом крест на шинели. Вечером отмеченному крестом предстояло занять место наказанного.

Достоевский не помнил, как он опустил свою палку. Вообще ничего не помнил до ночи, когда с ним случился сильнейший припадок падучей...

С товарищами своими по первой роте Федор Михайлович не сблизился. Но не было, надо думать, и особой враж-

ды. Во всяком случае Достоевский никогда не говорил о том, что в казарме его считали «чужим», в то время как о далеко не сразу стихнувшей враждебности к нему обитателей острова он вспоминал много раз. Но у солдат, несмотря на все тяготы их жизни, все же не было озлобления каторжников. Интересно, что люди, близко впоследствии знавшие писателя, находили в его облике что-то солдатское, простонародное. В Семипалатинской казарме он мало выделялся из среды своих невольных товарищей, и это способствовало установлению отношений не близких, но ровных.

О них свидетельствует и единственное печатное воспоминание писателя о своем казарменном житье (в статье 1862 года «Книжность и грамотность»): «Мне самому случалось в казармах слышать чтение солдат вслух (один читал, другие слушали) о приключениях какого-нибудь кавалера де Шеварни и герцогини де Лявергондьер. Солдатики читали с наслажденьем. Когда же дошло до того, что герцогиня де Лявергондьер отказывается от всего своего состояния и отдает несколько миллионов своего годового дохода бедной гризетке Розе, выдает ее за кавалера де Шеварни, а сама, обратившись в гризетку, выходит за Оливье Дюрана, простого солдата, но хорошей фамилии, который не хочет быть офицером единственно потому, что для этого не желает прибегать к унизительной протекции, то эффект впечатления был чрезвычайный. И сколько раз мне приходилось иногда самому читать вслух солдатикам... разных капитанов Полей, капитанов Панфилов и проч. Я всегда производил эффект чтением, и это мне чрезвычайно нравилось, даже до наслаждения. Меня останавливали, просили у меня объяснений разных исторических имен, королей, земель, полководцев».

Лишь к одному человеку в казарме Федор Михайлович относился особо, лишь одного выделял, и это исключение как нельзя лучше подтверждает слова Мухтара Ауэзова о том, что «вера в людей, живая отзывчивость к их горестям, стремление помочь друзьям — эти качества хорошо заметны в облике Достоевского той поры».

Дело в том, что сам по себе этот выделенный им человек вряд ли мог уж очень заинтересовать Федора Михайловича. Духовным интересам писателя он во всяком случае был совершенно чужд. Это был совсем молоденький барабанщик из кантонистов Кац. Его происхождение сделало юношу, почти подростка, предметом грубых шуток, порой и настоящих издевательств. И вот Достоевский взял юношу-еврея под

свое покровительство, защищал его от оскорблений. Кац очень привязался к своему защитнику, сам пытался хоть чем-нибудь услужить ему, но Достоевский всегда предупреждал его желания. Только вот самоваром, который был у Каца, пользовался — это, кажется, и осталось единственной услугой маленького солдата своему покровителю.

Кац всю жизнь прожил в Семипалатинске, стал потом лучшим городским портным и до последних своих лет с нежностью вспоминал о старшем друге. У него память оказалась лучше, чем у того полковника, что запомнил лишь «молодцеватый вид» писателя, обряженного царем в солдатскую шинель. В своих кратких воспоминаниях Кац написал: «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский — бесконечно добрый, удивительно сердечный человек, которого нельзя было не полюбить».

Кац говорил, что никто в казарме не видел на лице Достоевского настоящей улыбки. И впрямь улыбаться пока было вроде нечему. Новая тюрьма оказалась не намного лучше прежней. Все так же не было времени ни для чтения, ни для письма. Все так же неопределенными оставались надежды на улучшение участи. Но постепенно выбранная Достоевским житейская тактика начала приносить первые, покамест крошечные успехи. Сказалось и то, что омские друзья Федора Михайловича сумели обратить хотя бы некоторое внимание семипалатинского начальства на его судьбу.

Началось с малого: ему разрешили переехать из казармы на частную квартиру. Это было исключением из правил, однако не таким уж из ряда вон выходящим — прецеденты бывали. Но вот то, что рядового солдата стали приглашать в офицерские и чиновничьи дома — пока очень немногие — это было случаем беспрецедентным.

Положил начало этому батальонный командир полковник Белихов.

Белихов... Человек, во власти которого какой-то момент была судьба Достоевского и который не так уж плохо распорядился этой властью, имеет право появиться на страницах нашего рассказа. Итак, представьте себе низенького и полненького человечка, очень разговорчивого и поминутно вставляющего в свою речь благодушное «батенька» (не на плацу, конечно!). От его сытенькой фигурки, напоминающей фигуры гоголевских чиновников в изображении Боклевского, веет добродушием. Глядя на него, ни за что не скажешь, что этот человек прошел суровую жизненную школу. А между

тем это так — он выслужился из рядовых. Но это в прошлом. Теперь он дорвался до житейских благ. Теперь он доволен жизнью, доволен своим поваром, доволен чуть не ежедневными попойками, на которые собираются десятки офицеров, доволен романами с солдатскими женами и дочками — и больше ему ничего не надо. Его идеал существования достигнут. Его ежегодный доход помимо жалования — пять-шесть тысяч. И все это за счет солдатского котла, за счет казенных средств, отпускаемых на содержание батальона, за счет солдатских копеек и полушек. Все это знают, и никого это не смущает. Солдаты его любят — мошенник, но свой. Не из бар.

Увы, скоро оборвется эта идиллия. Из сотни казнокрадов один для порядка должен быть наказан — лотерея во имя справедливости. И полковник Белихов вытащит проигрышный билет. Разом отхлынут веселые собутыльники, и в пустом доме старый солдат в последний раз зарядит пистолет.

Но это в будущем.

А пока Белихов вызывает к себе рядового Достоевского. Для того чтобы рядовой читал полковнику газеты. Полковник не лишен любознательности, но в грамоте не так уж силен. Это в порядке вещей, есть же в батальоне офицеры, для коих производство в следующий чин — драма, потому что приходится изучать, как пишется слово «подпоручик» или «поручик».

Читал Достоевский, как известно, очень хорошо и позже на публичных чтениях порой доводил слушателей до экстаза. Но не в одном же искусстве чтеца все-таки было сейчас в Семипалатинске дело, и почувствовал же, значит, что-то полковник в рядовом из политических преступников, коли стал оставлять своего чтеца у себя запросто обедать.

Обеды эти сразу же избавили Федора Михайловича от придирок Бурана и дали возможность начать постепенно входить в семипалатинское «общество». А это тоже было необходимым шагом на пути к свободе.

Необходимым, но не таким уж приятным. Большинство этого «общества» города, гербом которого был золотой верблюд, осененный полумесяцем и серебряной пятиугольной звездой, жило в горб и жевало жирную жвачку. Узость и примитивность его жизни удивляла даже по сравнению с Омском.

В ироническом вступлении к «Запискам из Мертвого дома» Достоевский писал, вспоминая свои семипалатинские и

кузнецкие впечатления: «Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. ...Не только со служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев».

«Простые, нелиберальные» семипалатинские офицеры и чиновники умели извлекать пользу и из превосходного климата и из «достаточных инородцев». «Духовная жизнь» их не выходила из замкнутого круга охоты, картежа, попоек и сплетен, что не мешало многим из них с исключительной ревностью относиться к службе. Казачий командир полковник Мессарош, например, во время поездок по станицам сек не только казаков, но и казачек — за то, скажем, что труба на избе плохо побелена.

Фортепьяно в городе одно. Газеты получает человек десять-пятнадцать. События в России мало кого интересуют, хотя уже идет Крымская война. Вообще, Россия — это там, за Уралом. О приезжих говорят: «Он из России».

Неудивительно, что Достоевский бывал в этом «обществе» только по необходимости, а большую часть свободного времени проводил в снятой им половине старенькой, покосившейся набок избы. Возвращаясь со службы, он проходил, нагибаясь, в низкую калитку, шел мимо маленького огородика с парой кустов смородины и малины, мимо колодца с журавлем, поднимался на занесенное песком крыльцо, кланялся хозяйке — старой Перфильевой и ее хорошеньким дочкам — все они заботливо относились к неразговорчивому постояльцу — и вступал в свою низкую, полутемную, закопченную комнату. Он садился на лавку, тянувшуюся вдоль двух стен, аккуратно снимал кивер и мундир, надевал свой домашний ситцевый жилет и набивал махоркой трубку, стараясь не слушать бесконечного шорока тараканьих полчищ. Долго сидел он, затягиваясь, вытесняя из сознания дневную суету воспоминаниями острожных лет. Затем решительно поднимался, подходил к столу и доставал грубо сшитую тетрадь в осьмушку листа. Садился, раскрывал чистую страницу и записывал четким, чуть витиеватым почерком:

> «Вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него и всего одна луковица. Что ж, батька, ты меня посылал на добычу; вон я мужика зарезал и всего-то лу-

ковицу нашел. Дурак! Луковица — ан копейка, люди говорят. Сто душ, сто луковиц — вот те рубль.

Инвалидная крыса. Инвалид Петрович. Невалид.

Натрескался я пирога, как Мартын мыла.

Жили — не люди, померли — не покойники.

Ты честный? Нет, брат, ты и не стоял подле честного, да и с виду не знаешь, каков он собой.

Без мыла в ж... лезет.

Выпало мне две тысячи, дали мне пятнадцать кнутиков.

Богат Ерошка, есть собака и кошка.

Жива душа — калачика хочет».

Десятилетия спустя литературоведы эту самодельную книжицу, где пойман и запечатлен живой говор каторжного народа, окрестят «Сибирской тетрадью», будут писать о ней исследования, выяснят, что тетрадь эта, начатая еще в Омске, скорей всего в доме Ивановых, послужила подготовительной работой для «Записок из Мертвого дома». Впрочем, не только для них. Отдельные записи из нее использованы и в семипалатинских повестях, и в «Идиоте», и даже в предсмертных «Братьях Карамазовых».

Но страшно далеко еще до разысканий литературоведов, ничем еще не знаменита самодельная тетрадь. Кончается вечер, а в закопченной комнате уже ночь. Федор Михайлович зажигает огарок сальной свечи и при слабеньком колеблющемся свете все пишет и пишет, пока не займется ранний летний рассвет. Тогда потушит он почти совсем догоревший огарок и уйдет за русскую печь, где стоит кровать и приспособленный под комод простой деревянный ящик...

Впрочем, и расставшись после ухода из казармы с Кацем, Достоевский был не совсем одинок. Бывая в гостях у ротного командира Степанова, Федор Михайлович до некоторой степени сблизился с его женой, видимо, знакомой с первыми произведениями писателя. Жилось молодой женщине несладко, ее муж пил даже по семипалатинским масштабам чрезмерно. Степанова искала утешения в поэзии, сама сочиняла стихи и показывала их солдату-литератору. Достоевский правил стихи офицерши. Но в более прочное чувство эта недолгая дружба так и не выросла.

Возможно, что и еще одна женщина прошла два-три шага рядом с Достоевским в его первые семипалатинские месяцы. Абсолютно достоверных свидетельств тут нет, и обыч-

но достоевсковеды обходят эту историю молчанием, но нет в ней и ничего невероятного.

Сорок лет назад журналист и переводчик казахской поэзии Н. В. Феоктистов опубликовал в «Сибирских огнях» статью «Пропавшие письма Федора Михайловича Достоевского». Суть ее заключалась в следующем. В молодости, бывая в одной семье семипалатинских старожилов, автор статьи познакомился с семидесятилетней старухой, старой девой Елизаветой Михайловной Неворотовой, и узнал, сначала от ее родственников, а потом и от нее самой, что в молодости она была хорошо знакома с Достоевским. «Елизавета Михайловна рано осталась круглой сиротой. Будучи старшей в семье, она вынуждена была заботиться о воспитании своих многочисленных братьев и сестер. Вся ее молодость прошла в этих заботах. С Достоевским она встретилась на базаре, где она с лотка продавала хлеб».

Далее Н. В. Феоктистов со слов старой женщины и ее родственников рассказывает, что Федор Михайлович и Неворотова, редко имея возможность встречаться, довольно часто обменивались письмами и записками. Сам Феоктистов этих писем не читал, хотя видел их в руках Елизаветы Михайловны. Она дала согласие на их опубликование, но только после своей смерти. Затем автор статьи подробно описывает, как погибла во время гражданской войны пачка этих писем.

Следует отметить, что в статье прямо говорится: все родные Неворотовой считали, что Федор Михайлович не испытывал к молодой калачнице никакого другого чувства кроме сострадания. Он сочувствовал ее нелегкой жизни, считал себя обязанным нравственно поддержать ее — и ничего более. Племянница Неворотовой Н. Г. Никитина, якобы читавшая после ее смерти эти письма, так передавала их содержание: «Были в них пояснения и ответы на письма Елизаветы Михайловны, которая, как сирота, одинокая девственница, воспитывавшая большую семью братьев и сестер, считала этот крест непосильным, но, заглушая в себе свои интересы к жизни и возможному счастью, считала жертву необходимой. Мыслила о ней, как о долге... Он подкреплял ее в борьбе и неясности жизни и утешал ее тем, что задача ее велика, назначение свято, что она, как скульптор, может из того детского материала, который в ее распоряжении, вылепить хорошие изваяния... Здесь Достоевский даже увлекался, идеализируя возможность и рисуя бедной тетушке хороший сбор плодов... Скорее, он писал для себя, забывая своего адресата,

писал то, что осталось невысказанным за долгие тяжелые и одинокие дни».

На мой взгляд, в таком виде история этого знакомства не содержит ничего неправдоподобного, ничего противоречащего характеру Достоевского, его гуманности, той его «вере в людей, живой отзывчивости к их горестям», о которой говорил замечательный гуманист иного века Мухтар Ауэзов.

Но вскоре в жизнь Достоевского вошло трое людей, ярко осветивших его казахстанскую эпоху. Они остались — каждый по-своему — в душе писателя навсегда, до последних лет, когда уже совсем стерся в его памяти образ полуграмотной, несчастной и доброй семипалатинской калачницы.

«ВЕЛИКОДУШНЕЙШАЯ ЖЕНЩИНА»

И первой из этих троих мы обязаны назвать Марию Дмитриевну Исаеву.

Сохранилась ее фотография. С нее смотрит на нас глубоким и грустным взглядом молодая женщина с чистым лбом, с тонкими чертами лица, на котором болезнь уже оставила свой след. Сумрачная красота этого лица может нравиться, может не нравиться, но бесспорно, что это лицо незаурядного человека.

Вторая жена Достоевского, Анна Григорьевна, его «добрый ангел», тайно и отчаянно ревновала мужа к памяти Марии Дмитриевны. После его смерти она не жалела труда, тщательно зачеркивая в черновиках писем Федора Михайловича любое упоминание об Исаевой. При активном содействии Анны Григорьевны была создана долго державшаяся легенда об Исаевой — легенда о малообразованной провинциалке со скверным характером, лишь по воле слепого случая ставшей на несколько лет спутницей великого писателя.

Но сам Достоевский думал иначе. Много лет спустя после смерти Марии Дмитриевны, разговаривая в ночной типографии в ожидании гранок с корректором — девушкой другого поколения, семидесятницей, народницей,— он вспоминал о Марии Дмитриевне с глубоким чувством: «Была эта женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста и наивна притом была совсем как ребенок, хотя, когда я женился на ней, у нее был уже сын».

И не только у самого Достоевского оставила Мария Дмитриевна светлый след в памяти. Знаменитый географ П. П. Семенов-Тян-Шанский говорил о ней: «Она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была «хороший человек» в самом высоком значении этого слова». А барон Врангель, на глазах которого разыгрывалась мучительно трудная драма любви Достоевского и Исаевой, так характеризовал Марию Дмитриевну: «Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна».

Жизнь этой женщины, умершей тридцати четырех лет, сложилась поистине трагически. Между тем начало ее пути вовсе не предвещало страданий. Она родилась в обеспеченной семье: ее отец, Констант, сын выходца из Франции, служил начальником карантина в Астрахани. Мария Дмитриевна вышла замуж за человека своего круга, Александра Ивановича Исаева, чиновника, служившего на хорошем месте.

Но несколько лет первого замужества ужасно исковеркали судьбу Марии Дмитриевны. Исаев начал страшно пить и быстро совершенно опустился. Из Западного края, где он служил, Исаеву пришлось переехать в Сибирь, где нужда в мало-мальски знающих чиновниках была так велика, что начальство соглашалось смотреть на поведение подчиненных сквозь пальцы, лишь бы они не переходили самой уж последней грани. Но Исаев уже не мог держаться ни на какой грани. И в Семипалатинске он шатался по грязнейшим грошовым кабакам с настоящими золоторотцами. Со службы его вскоре выгнали окончательно. Средств у семьи не было никаких, и она стояла на пороге нищеты. А у Марии Дмитриевны был на руках маленький сын.

Самым скверным для Исаевой, пожалуй, оказалось то, что пропащий Александр Иванович вовсе не был закоренелым негодяем, эгоистом. Бездельник поневоле, отставной козы барабанщик, он продолжал по-своему любить жену и сына. Полосы запоя и странствий по кабакам перемежались у него периодами искреннего раскаяния, исступленного самобичевания, обещаний начать новую жизнь. Тираном в семье он никак не был, отчетливейше сознавал свою вину перед женой. «Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден»,— вспоминал о нем Достоевский. И несчастная

женщина сотни раз переходила от отчаяния к надежде — до нового запоя мужа. Нервы ее были издерганы невероятно.

К моменту знакомства с Достоевским семья Исаевых семипалатинским «обществом» была отвергнута почти совершенно. Исаев потерял всякие остатки воли. До дна опустившийся пропойца, редкие трезвые дни он просиживал в своем закутке за печью, бессмысленно листая единственную свою книгу — собрание биографий генералов двенадцатого года. Вместе с нищетой пришло одиночество и отчуждение. Лицемерно жалея Марию Дмитриевну, семипалатинские дамы в душе злорадствовали. Они не могли простить ей духовного превосходства, которое невозможно было не почувствовать.

Вероятно, Достоевского особенно поразил трагический контраст между той нищетой, в которой жила Исаева, ее одиночеством и духовным богатством ее натуры. Очень быстро интерес Федора Михайловича к женщине трудной судьбы, женщине, столь не похожей на других чиновниц и офицерш маленького города, превратился в чувство исключительной силы и остроты. Это была первая настоящая любовь, так поздно пришедшая в «действительной жизни» к художнику, с огромным проникновением воссоздавшему уже в своих книгах и робкое обожание Макара Девушкина и глубочайшее чувство мечтателя «Белых ночей».

Кажется, один только раз в его молодости, наполненной мыслью и трудом, промелькнул намек на нечто подобное. Но блестящая красавица, умница, звезда литературного Петербурга, подруга Некрасова Авдотья Панаева так до конца своих долгих дней и не подозревала, как отозвалось в сердце застенчивого и мнительно самолюбивого молодого литератора ее мимолетное дружеское сочувствие.

Здесь, в Семипалатинске, все было иначе. Для Марии Дмитриевны скоро перестало быть тайной то, что испытывал к ней Достоевский. А что чувствовала к нему она?

Федор Михайлович называл ее в письмах «великодушнейшей женщиной». Нет сомнения, что вначале она приветила Достоевского просто по своей душевной доброте, увидев в нем человека еще более несчастной судьбы, чем ее. Однако сила вспыхнувшей любви Достоевского, исключительное богатство и сложность его духовного мира, которые она не могла не оценить, увлекли и ее.

Но чем сильнее разгоралась эта страсть, тем более безнадежной и лишенной будущего казалась она Марии Дмитриевне. На пути к соединению стояло два совершенно неодоли-

мых препятствия — ее замужество и бесправное положение Достоевского.

А между тем об их отношениях по Семипалатинску уже пошли сплетни и пересуды. Мария Дмитриевна делала вид, что они ее не задевают, но в действительности они глубоко ранили ее оскорбленную судьбой и потому особенно взвинченную гордость. Было бы легче, если б сплетницы прямо осуждали ее, но в пересудах был оттенок презрительной снисходительности: конечно, при таком муже да при такой бедности и с солдатом свяжешься...

Глубоко страдал и Федор Михайлович. И его тяготила неопределенность будущего их любви. Он мучительно переживал свою вину перед Александром Ивановичем, для которого тоже не было секретом чувство Достоевского, но который никогда не поднимал речи о нем, словно бы карая соперника великодушием. Описателю «бедных людей» хорошо было понятно это исковерканное, загнанное глубоко-глубоко внутрь и все же живое чувство собственного достоинства, не покидавшее всюду отвергнутого за пьянство маленького чиновника. Через десять лет писатель с потрясающей силой возродил давно уже к тому времени умершего Александра Ивановича в образе Мармеладова.

И все-таки Достоевский верил в счастливый исход своей запоздалой первой любви. Десятки раз, как заклинание, твердил он Марии Дмитриевне, что они еще будут счастливы. Он не плыл по течению, он строил свою судьбу.

К счастью, в это время в Семипалатинск приехал человек, который хоть несколько помог ему в этом.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ОДНОМУ КАРАСАКАЛУ

Звали его Александром Егоровичем Врангелем, происходил он из семьи остзейских баронов, давно осевших в столице империи и принадлежавших к тому кругу обруселых немцев, который составлял костяк петербургской бюрократии. Они пользовались неизменным покровительством Николая, недаром столпами его царствования были такие фигуры, как Клейнмихель, Бенкендорф, Дубельт. Петербургские немцы умело поддерживали друг друга и педантично выслуживались до высоких чинов. Они искренне считали официальную формулу «православие, самодержавие, народность» глубочайшим проявлением государственной мудрости, хотя сами

обычно от Лютера и кирхи не отрекались и не скрывали твердого убеждения, что без германского организующего и цивилизующего начала русское государство давно бы растворилось в своих необъятных просторах.

Как добрый немецкий молодой человек Врангель, разумеется, относился ко всем своим звездоносным родственникам с полной почтительностью; их немецко-петербургское мировоззрение никогда не было для него предметом обсуждения и тем более осуждения. Но сам он все-таки был человеком уже иного времени.

Тогда нарождалось и делало первые служебные шаги чиновничество другой формации, пережившее свой недолгий расцвет в первые годы царствования Александра II. Это были ужасные либералы, полные стремления служить «делу, а не лицам». Причиной всех зол считали они взяточничество, с искоренением его Россия должна была вступить на дорогу прогресса и со временем достичь высот цивилизации, завоеванных Пруссией и Саксонией. Идеологом этого близорукого либерализма был одно время поэт-«обличитель» Розенгейм, блестяще высмеянный Добролюбовым, который создал в сатирическом приложении к «Современнику» — «Свистке» — розенгеймовского двойника, туповато-самодовольного «прогрессиста» Лилиеншвагера.

У Врангеля имелись такие розенгеймо-лилиеншвагеровские черты. Однако он был все же человеком довольно широкого кругозора, живо интересовался наукой, особенно теми ее отраслями, которые тогда собирательно именовались естественной историей, и литературой. Ранние вещи Достоевского он знал и любил, в шестнадцать лет прочел «Бедных людей» и «Неточку Незванову». Однажды, совсем еще юношей, он увидел и их автора. Было это на Семеновском плацу в тот памятный день, когда царь поставил свою гнусную инсценировку расстрела петрашевцев. Нужно думать, что этот спектакль произвел сильное впечатление на юного лицеиста: шестьдесят лет спустя он с исключительной точностью воспроизвел его картину. Он запомнил и снег, время от времени начинавший падать в это хмурое декабрьское утро, и легкую одежду, в которой зябли «преступники» (арестованы они были в апреле, в весенних плащах их и повезли на казнь; это было одним из проявлений мелочного садизма Николая, как известно, даже расходы на инсценировку казни он приказал взыскать с Петрашевского и Спешнева), дву-

конные возки-кареты, доставившие петрашевцев на плац — «в таких возках тогда развозили смолянок и балетных учениц театрального училища»,— и обнаженные сабли в руках у конных жандармов, окружавших эшафот.

Некоторых «преступников» Врангель знал в лицо: ведь и Петрашевский, и Спешнев, и Европеус кончили лицей, где учился юный барон (как и Салтыков — еще не Щедрин,— пострадавший первым из петрашевцев; впрочем, вятская ссылка за крамольную повесть «Запутанное дело» спасла его от эшафота на Семёновском плацу).

Окончив учение, Врангель отказался от возможности сделать быструю карьеру в столице (а такая возможность у него имелась) и после года службы в министерстве юстиции попросился в Сибирь. Он, несомненно, был по натуре путешественником, позже изъездил чуть не весь свет. Подогревалась эта страсть к странствиям и примером великого немца Гумбольдта, некогда совершившего путешествие по России; Врангель вскоре стал корреспондентом знаменитого ученого.

Молодой правовед получил назначение в недавно созданную Семипалатинскую область — «стряпчим казенных и уголовных дел», т. е. областным прокурором. Было ему тогда двадцать два года.

В ноябре пятьдесят четвертого, после недолгой остановки в Омске, молодой прокурор прибыл в Семипалатинск и в первый же день по приезде запиской попросил Достоевского прийти к нему на только что снятую квартиру.

Дело было не только в желании Врангеля побыстрее лично познакомиться с опальным писателем, автором произведений, которые он высоко ценил. Врангель привез Федору Михайловичу из Петербурга письма.

Переписываться с родными Достоевскому было официально разрешено. Но письма эти тщательно просматривались во многих инстанциях, и «табачный фабрикант» Михаил Михайлович, человек не ахти какого мужества, просто боялся писать брату (об этом мы еще будем говорить). Но от оказии в лице Врангеля он отказаться не мог. О том, что тот отправляется в Семипалатинск, узнать Михаилу Михайловичу было не трудно — женатый на немке из Ревеля, он был вхож в немецкий чиновничий круг. Вместе с письмом он переслал брату пятьдесят рублей и немного белья. Привез Врангель и письмо от поэта Аполлона Майкова, хорошего петербургского знакомого молодого Достоевского.

Надо сказать, что письма эти особой радости Федору Михайловичу не доставили. Его коробило, что и в них, не проходивших полицейской цензуры, брат и друг пишут с величайшей осторожностью и даже читают ему нечто вроде нравоучений. В сожалениях о том, что с ним случилось, Достоевский сейчас нуждался менее всего.

Не в передаче этих достаточно пустых посланий состояло значение первой встречи писателя с «господином стряпчим», а в том, что Достоевский сразу же увидел во Врангеле человека искренне расположенного к нему и — в чем, может быть, больше всего нуждался Федор Михайлович — относящегося к нему с глубоким уважением.

Вот как описывает Врангель эту встречу:

«Достоевский не знал, кто и почему его зовет, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно-бледным лицом, покрытым веснушками. Светло-русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими умными серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу,— что, мол, я за человек. Он признался мне впоследствии, что был очень озабочен, когда посланный мой сказал ему, что его зовет «г-н стряпчий уголовных дел». Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письма, посылки и поклоны и сердечно разговорился с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив. Часто после он говорил мне, что, уходя в этот вечер к себе домой, он инстинктивно почуял, что во мне он найдет искреннего друга».

Александр Врангель, дилетант-естественник и либеральный чиновник, сделавший впоследствии неплохую, хотя и не исключительно блестящую дипломатическую карьеру, оказался очень порядочным человеком, и именно своей порядочностью по отношению к Достоевскому, а не учеными и служебными трудами, заслужил право на нашу признательность.

Не в том суть, что он «хорошо отнесся» к Достоевскому. Многие в Семипалатинске к Федору Михайловичу «хорошо относились». И помочь были не прочь — так, между делом. Но именно Врангель первым понял и прочувствовал трагическое несоответствие, трагическую пропасть между личностью писателя и положением, в котором он находился, пре-

ступную непорядочность такой лениво снисходительной «помощи» Федору Михайловичу.

До его приезда расположенные к писателю семипалатинцы (даже Исаева сначала), поддерживая Достоевского, смотрели на него сверху вниз. Врангель сразу же осознал нелепость этого, понял, что писателю, травмированному унижением каторги, это не может не казаться оскорблением, как бы он ни скрывал того даже от самого себя. С немецкой трезвостью он сравнил масштабы — человеческие — свои и своего нового друга. И дружба областного прокурора и рядового солдата стала дружбой младшего со старшим.

Конечно, неравенство и тем более заискивание тут исключались. Самоуважение у Александра Егоровича тоже было немецкое. Но он умел тактично показать Федору Михайловичу: он, Врангель, вполне понимает, что сделано писателем Достоевским и чего от него можно ждать в будущем. Потому-то Достоевский, обычно трудно сходившийся с новыми людьми («право, на каждого нового человека, по-моему, надо смотреть, как на врага, с которым придется вступить в бой»), очень быстро принял дружбу Врангеля. И ему не пришлось разочароваться в ней. За все ее время между приятелями не пробежала ни одна тучка, не появилось ни одного недоразумения.

О степени быстро возникшей между друзьями откровенности можно судить по тому, что Достоевский скоро познакомил Врангеля с Марией Дмитриевной, и тот стал вместе с ним часто бывать у Исаевых. «Джентльменство» чиновного молодого человека из столицы, корректно не замечавшего бедности Исаевых и изгойного их положения в семипалатинском обществе, всячески поддерживало женщину, измученную сплетнями и нищетой.

Впрочем, смиряться и вести себя «как все» Мария Дмитриевна органически не могла даже в эти трудные свои дни. Она сумела опять взбудоражить семипалатинское общество новой «выходкой», как выражались чиновницы и офицерши: приютила у себя девушку, дочь ссыльного поляка, которую избивал пьяница-отец. Дамы возмущались: «а святость родительских прав?» и ехидничали: «самой-то нечего есть...»

В свою очередь, Александр Егорович стал усиленно вводить Достоевского в городской «свет», где перед петербургским гостем, разумеется, немедленно раскрылись все двери. Федору Михайловичу особенного удовольствия это не доставляло («знакомиться терпеть не могу»), но он понимал

необходимость новых знакомств среди высшего городского круга. Ему приходилось держаться в гостиных семипалатинских офицеров и чиновников с постоянной настороженностью, с огромной выдержкой. Ни малейшей лести, ни самого крошечного заискивания не могли заметить его новые знакомцы в этом необычном солдате, всегда сдержанном, суховато вежливом, пристально и внимательно смотревшем на собеседника, говорившем ясно и кратко, тщательно взвешивая каждое слово. Во всем этом чувствовалась такая душевная сила, которая невольно вызывала к себе уважение. И Достоевского действительно скоро стали уважать.

Это не всегда избавляло Федора Михайловича от неприятностей, но и с ними он умел справляться. Будучи однажды в гостях, он после оживленного разговора вышел в переднюю. В это время пришел какой-то офицер, не знавший Достоевского. Увидев в передней солдата, офицер приказал ему принять свою шинель. Мгновенный скачок от положения уважаемого гостя дома до положения денщика был ощутительным. Но Федор Михайлович ничем не выдал волнения. Он принял шинель, повесил ее на вешалку и, прождав несколько минут, прошел с невозмутимым лицом в гостиную, где тут же был представлен хозяевами растерявшемуся офицеру.

Достоевский по-настоящему привязался к своему молодому другу. В письме к П. Е. Анненковой он говорил о нем: «Я с ним очень дружен. Это прекрасная молодая душа; дай бог ему всегда остаться таким». Годом позже, уже прощаясь с Врангелем, он подробно характеризовал его в другом письме: «...Барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лицея с великодушной мечтой узнать край, быть полезным и т. д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень... Два слова о его характере: чрезвычайно много доброты, никаких особенных убеждений, благородное сердце, есть ум,— но сердце слабое, нежное, хотя наружность с 1-го взгляда имеет некоторый вид недоступности». Как видно из этого определения, Федор Михайлович, искренне любя Врангеля, очень хорошо понимает и его слабости, отсутствие у молодого прокурора сколько-нибудь четких общественно-политических взглядов. Он понимает и происхождение этих слабостей: «Круг полуаристократический или на 3/4 аристократический, баронский, в котором он вырос, мне не совсем нравится, да и ему тоже,

ибо он с превосходными качествами, но многое заметно из старого влияния». Но, сознавая недостатки своего друга, Достоевский никогда не забывал о его «благородном сердце» и «превосходных качествах».

И в глубине привязанности Врангеля к писателю-солдату не приходится сомневаться. Писал же он отцу письма, слова которых несколько даже кощунственными, наверно, казались старому фатеру: «Судьба сблизила меня с редким человеком... Я люблю его, как брата, и уважаю, как отца». Во всяком случае, старший Врангель никак не отозвался на вопрос сына о том, нельзя ли «шепнуть слово Дубельту или князю Орлову о Достоевском, неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах? Это было бы ужасно. Горько и больно за него...» Вряд ли старый барон особенно радовался, что сын в своей дали больше всего сблизился с каким-то сочинителем-социалистом, которому лишь по монаршей милости расстрел был заменен каторгой...

Столь тесную дружбу одного из первых областных чиновников с рядовым солдатом из политических преступников вовсе не были склонны одобрять и семипалатинские власти. Губернатор Спиридонов не раз внушал Врангелю, что такое близкое знакомство с «ужасным революционером» может тягостно сказаться на его карьере, Александр Егорович в ответ на внушения неизменно отвечал губернатору просьбой представить ему Достоевского. Спиридонов наконец сдался. Федор Михайлович сумел и ему внушить уважение к себе, и выговоры Врангелю прекратились. Губернатор, видимо, все же опасался слишком часто приглашать к себе политического преступника, но своему адъютанту Демчинскому намекнул, что тому стоит сблизиться с Достоевским. Легкомысленного Демчинского, прозванного «грозой семипалатинских мужей», кроме успеха у женщин интересовало лишь мнение начальства, по желанию же начальства он был готов сближаться с кем угодно. Человек он был, впрочем, не только легкомысленный, но и легкий, услуги Федору Михайловичу оказывал охотно, и это знакомство не раздражало Достоевского. Дружба же его с адъютантом самого губернатора окончательно избавила писателя от придирок военного начальства.

По своим служебным обязанностям Врангель много ездил по степи. Он рассказывал Достоевскому о жизни аулов, которой тот очень интересовался (даже коран начал читать, чтобы понять мировоззрение мусульман), но пока мало знал.

Александр Егорович рассказывал о казахских обычаях, с которыми успел познакомиться сам, говорил, что к русским властям казахи испытывают просто отвращение.

— Да и что же могут испытывать туземцы,— горячился Александр Егорович,— кроме ненависти и презрения к таким, с позволения сказать, представителям власти, как начальник губернского правления господин Малосапожков, помните, Федор Михайлович, вы его еще «жареным скорпионом» прозвали. Грязен, нечесан, скуп, как Гарпагон, а взяточник откровеннейший и отчаяннейший. Соберет налог, а потом говорит: «Прибавьте верному слуге вашего царя».

Достоевский однажды сказал:

— Знаете, на одной из пятниц у Петрашевского я услышал кем-то прочитанные слова северо-американского президента Джефферсона. Примерно они звучат так: «Я трепещу за свой народ, когда подумаю о тех несправедливостях, какие он позволял себе относительно коренных жителей». Я совсем забыл эти слова, но ваши рассказы заставили их воскреснуть в памяти. Разумеется, «жареные скорпионы» — это не русский народ, но страшно подумать, что коренные жители степи по ним могут судить о нашем народе.

Врангель с гордостью говорил о том, что он сумел завоевать в аулах уважение и получил от казахов почтительное прозвище карасакала — чернобородого. Большая черная борода действительно прежде всего бросалась в глаза на его молодом лице.

Достоевский мечтал о времени, когда сам сможет выезжать в степь. Предполагали, что летом этого можно будет добиться. Пока же друзья бывали в гостях у степняков, осевших в городе: у купца Буката Аупаева, хозяина богатого, прочно построенного дома в Татарской слободе, у торгового представителя бека ташкентского Рахимбая Атанбаева (были у него даже на свадьбе его дочери). Много интересного о жизни степи рассказывал и купец Степанов, у которого Александр Егорович снимал квартиру. Мать Степанова была казашка, она жила в доме сына. К ним часто наведывались гости из дальних аулов.

...Неспешно текла жизнь в городе на Иртыше. И порой отсюда казалось, что везде медлительно ее течение. А между тем почву Российской империи уже колебали толчки могучего землетрясения. Эпицентр его находился на известной своей сейсмоопасностью крымской земле — в Севастополе.

Героизм нахимовских матросов всколыхнул всю Россию.

Подъем патриотических чувств заставлял вспомнить о двенадцатом годе. Стихи, прославляющие отечество, заполнили печатные страницы, и первым среди воинственных поэтов стал старый знакомец Федора Михайловича Аполлон Майков...

Но быстро наступило отрезвление. Нет, мужество защитников Севастополя было действительно беспримерным. Но империя проигрывала войну. «Северный колосс» оказался колоссом на глиняных ногах. Банкротство терпела вся внутренняя и внешняя политика Николая Палкина. Война с потрясающей отчетливостью проявила страшную отсталость крепостнического строя. Армия пользовалась оружием более пригодным для парадов, чем для боевых действий. Патриотические оды не мешали отъявленному казнокрадству. Вовсю воровали у всюду прославляемых севастопольцев, «героев-солдатиков». Одним из наиболее отчаянных хапуг оказался столп официальной литературы николаевского царствования, автор печально знаменитой драмы «Рука всевышнего отечество спасла», «русский Гете» Нестор Кукольник. «Великому тормозу», коронованному жандарму Европы, не оставалось ничего, кроме смерти. Он и умер.

Упорно и долго держались потом слухи о самоубийстве Николая. Говорили, что лейб-медик Мандт по приказу царя дал ему яд. Мандт благоразумно бежал за границу.

Николай I умер 18 февраля 1855 года. Три недели весть о его смерти мчалась через равнины и горы до Иртыша. Дошла она в Семипалатинск 12 марта.

В России не сомневались, что настало время перемен. На окраине империи об этом и мысли не возникало.

Врангель и Достоевский были в соборе на панихиде по «почившем в бозе» императоре. Александр Егорович с некоторым удивлением отмечал: «Настроение, правда, было серьезное, но слезы — ни одной».

КАЗАКОВ САД

Весна теплая, дружная. Лед на Иртыше прошел рано.

Начало мая — лучшее время в здешних местах: нет еще летней иссушающей жары, не метут по улицам песчаные метели.

Тихим ранним вечером сидит Достоевский на крыльце дома, где живут Исаевы. Рядом Мария Дмитриевна. В руках

у нее шитье. Возле хозяйки преданно вертит хвостом пес Сурька.

— Я говорил вам, Мария Дмитриевна, что получил письмо от молодого Якушкина?

— Нет, не говорили, Федор Михайлович.

— Да-с, от Якушкина Евгения Ивановича. Достойнейший молодой человек с благородным сердцем. Сын того Якушкина, что был на Сенатской площади четырнадцатого декабря. Судьями, говорят, признан одним из самых закоренелых... Сын был у него в Ялуторовске, передавал мне со слов отца, что когда вели приговоренных на каторгу, то начальство конвоя было очень раздражено его нераскаянным и даже веселым видом. В этом смысле и донесения направляли. Может быть, потому и супруге его решительно отказали — единственной — на просьбу ее за мужем в Сибирь последовать. Да-с... А из Ялуторовска приехал Евгений Иванович к нам в Омск —по служебным делам он по Сибири ездил. Большую услугу он тогда мне оказал. Дал немного денег, взял письмо к брату... Да не в том дело — душой я поднялся после встречи с ним, в том его услуга и была, а то совсем я тогда уныл. Вызывают меня в город снег чистить — посылали нас иногда, с конвойным, разумеется. Прихожу в назначенный дом, выходит молодой человек, спрашивает: «Вы Федор Михайлович Достоевский?» Ну, снег я, конечно, в тот день не чистил. Проговорили мы несколько часов кряду, и пахнуло на меня волей, жизнью, и подумалось: «Может, все же выживу». Веру в будущее поддержал во мне Евгений Иванович. Друзьями расстались. А теперь письмо прислал, прекрасное письмо, и книги... Пушкина первый том нового издания...

Много говорит сегодня Федор Михайлович, но без всякого воодушевления говорит; голос его тих и глух, а в глазах — смертная тоска. Погладил по голове Сурьку и снова повел торопливую речь — словно только для того, чтоб хоть чем-нибудь заполнить яму удивительно сегодня тягостного молчания.

— Собаки — хорошие люди, Мария Дмитриевна. С острога я привязался к собакам. Жил там у нас Шарик, собака умная и добрая. Каждую партию, что с работ идет, у ворот встречала. Вертит хвостом, вот как Сурька ваш, и в глаза всем засматривает, приветливо так — хоть какой-нибудь ласки ожидает. Но, знаете, простой народ у нас собаку считает животным нечистым, так что ни от кого, кроме меня,

ласки Шарик не дождался. Но уж меня он выделял и любил особенно. А в госпитале нашем на Скорбященской улице был пес по кличке Суанго. Он от верной смерти спас меня. Не рассказывал я вам?

— Нет, не рассказывали, Федор Михайлович.

— Лежал я в госпитале не раз, и Суанго знал меня хорошо. Ну, заболел как-то опять, положили меня, а врача нет. Один фельдшер. Очень он меня почему-то невзлюбил. Рядом со мной кровать, на которой лежит огромный такой детина, на лице написано — за печеную луковицу зарежет. Были у нас и такие, не много, но были. А я глупость допустил. Имелась у меня трехрублевая бумажка припрятанная. Как переодевался я в больничный халат, то не сумел ее незаметно переложить, увидел бумажку мой сосед. Отнимет, думаю, украдет иль просто силой отнимет. Однако сосед молчит. Ночью, правда, я проснулся и услышал, что с фельдшером он о чем-то шепчется, и сразу от тревоги сердце заныло. Но пошептались и разошлись... Утром приносят мне молоко — одному мне выписано было. Взял чашку в руки — вдруг неизвестно откуда вбегает Суанго, мордой выбивает из рук моих чашку и лакает пролившееся молоко. Фельдшер кричит, ругается, гонит собаку. И только выскочил Суанго на двор, так страшно взвыл. Те, что у окон лежали, смотрят во двор, все, говорят, окочурился пес. Не иначе, как фельдшер в сговоре с соседом моим из-за этих трех рублей умертвить меня хотели. Плеснул фельдшер в молоко какого-нибудь яда, а как умер бы я, выписал бы справку о естественной смерти — врача-то нет! Но Суанго разрушил преступный план!..

Недавно бы еще долго б волновалась Мария Дмитриевна, выслушав такую историю. Но сегодня она словно мимо ушей пропустила рассказ Федора Михайловича. Да и он, похоже, говорил, не задумываясь над своей мелодраматической повестью. Не до нее им сегодня обоим.

И за длинными торопливыми рассказами Достоевского и за короткими репликами Марии Дмитриевны — горе, большое горе.

Уезжают Исаевы.

Умолил Александр Иванович начальство. Дали-таки ему местечко на службе. В крошечном Кузнецке, рядом с которым и «Семипроклятинск» — столица. Но бедным людям не до привередств, не до выбора. Была б надежда на кусок хлеба.

На переезд денег у Исаевых не было. Заняли у Александра Егоровича Врангеля двадцать пять рублей. Кое-как расплатились со здешними долгами. Перечинила Мария Дмитриевна в дорогу всю одежду — благо труда не много. На днях — в путь.

Местечко-то Александру Ивановичу предоставили «по корчемной части» — трактирами управлять. Случайность или вспомнило в юмористическом настроении начальство о его слабости?

— Надеюсь, что хоть там-то Александр Иванович себя образит,— глухо говорит Достоевский.

— Как вы сказали? Образит?

— Словцо есть такое народное. Образить — значит восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал я это словцо от каторжных... Только б не подобрал Александр Иванович в Кузнецке вашем себе компанию вроде семипалатинской. Зачем ему сброд этот? Он же выше, благороднее...

Федор Михайлович поднимает глаза, и вдруг из груди прорывается отчаянье, которое прятал он весь вечер:

— Боже мой, голубчик, как я-то без вас?.. Ну, не буду, не буду, знаю — вам еще тяжелее...

...Наступил день отъезда. На прощанье Александр Иванович порядком-таки набрался. Заметив, как хочется Достоевскому и Марии Дмитриевне провести последний час перед разлукой вместе и как мешает им пьяный Исаев, Врангель стал усиленно угощать его шампанским. Скоро Александр Иванович не выдержал и свалился окончательно. Его уложили в экипаж Врангеля, а Достоевский сел рядом с Исаевой.

Провожали долго — до границы огромного бора, который тянется до самых Алтайских гор. У первой сосны Федор Михайлович и Мария Дмитриевна последний раз обнялись. Так и не проснувшегося или делавшего вид, что спит, Исаева, переложили из одного экипажа в другой. Лошади тронулись, зазвенел колокольчик.

Достоевский стоял смертельно бледный, не отрывал взгляда от удалявшегося тарантаса.

— Идемте, Федор Михайлович, пора,— тронул его рукав Врангель.

— Подождите. Еще видно.

Скрылся тарантас в лесу.

— Идемте, Федор Михайлович.

— Подождите. Слышно пока.

Наконец растаяли и отзвуки дальнего топота. Тишина.

— Идемте, Федор Михайлович.

— Идемте.

Шли пешком, Врангель держал повод лошади в руке. Слезы текли по худому лицу Достоевского, хотя он поминутно вытирал их. Молчали — Александр Иванович понимал: утешать бесполезно.

У ворот хутора судьи Пешехонова, откуда выехали и где решили заночевать, Федор Михайлович остановился и сказал строго и безнадежно:

— Осиротел я. Совершенно осиротел.

...Он был выбит из колеи и долго не мог прийти в себя. Хандрил, сутками молчал. Часто ходил к домику Исаевых, задумчиво гладил визгливо жаловавшегося на одиночество Сурьку. Знакомому пес радовался, но уходить со двора не хотел — ждал хозяев.

Разыскал Федор Михайлович даже какую-то гадалку, но смутные слова ее облегчения не принесли. К перу не прикасался — а весной с большим жаром начал описывать типы каторжников. Теперь работа замерла.

Врангель видел, что его старшего друга надо как-то отвлечь, что нельзя Федора Михайловича дальше оставлять наедине с тоской. Он предложил Достоевскому переехать к нему за город — Александр Егорович снял на лето дом в Казаковом саду, единственном зеленом уголке в окрестностях Семипалатинска.

Батальонное начальство не возражало. От места фрунтовых учений Казаков сад был недалеко. Фельдфебель роты получил приказ надзирать за тем, как проводит свободное время рядовой Достоевский, но одновременно с приказом получил от барона некоторую мзду и потому приятелям не докучал.

Друзья начали устраиваться на своей даче. На работу по хозяйству уходили все вечера. Дом — Врангель прозвал его «палаццо» — был старый. В самой большой комнате провалился пол; в провале росли странные огромные грибы. Мебели никакой, стали сами сооружать столы и стулья из досок, пустых бочонков.

Посыпали дорожки речным песком, принялись копать землю под гряды и клумбы. Врангелю прислали семена, и друзья усиленно занялись цветоводством — в Семипалатин-

ске ни о каких цветах и не слыхали, лишь подсолнухи поднимали свои желтые головы в палисадниках у казачьих изб. На грядках посадили лук, морковь, огурцы — овощей и в городе тоже и в помине не было.

За работой Федор Михайлович начал постепенно оттаивать. С радостью увидел Врангель, что его хмурый друг стал улыбаться. Если улыбается, значит, оживает. Сам же Достоевский любил повторять, что без смешного нет и жизни.

Ночами мешали спать полчища крыс, мышей и ужей, поднимавших возню в темноте. Они считали себя хозяевами дома и без боя покидать его не собирались.

Впрочем, от ужей были не только неприятности. Кое в чем они выручали новоселов Казакова сада.

В «палаццо» зачастили семипалатинские дамы — ведь других загородных «вилл» в наличии не имелось. Врангель был человек светский и кое-как дамские визиты выдерживал, хотя пустота и жеманство провинциальных львиц отчаянно надоели ему и за зиму. Достоевский же светскостью не отличался и буквально чернел от злости, когда появлялись эти сплетницы. Он хорошо помнил, сколько вытерпела Исаева от их ехидной трескотни.

Но визиты внезапно и навсегда прервались после того, как одна из самых болтливых офицерш на полуслове хлопнулась в обморок, увидев, как из пролома в полу выползает громадная змея.

Обитатели Казакова сада вовсе не были нелюдимами. Две дочери хозяйки дома, где Достоевский снимал комнату, приходили к ним чуть не каждый вечер, возились в огороде, пели, шутили с владельцами «палаццо». Но это были простые веселые девушки, а не ядовитые цветы семипалатинского «света».

Лето стояло на редкость жаркое, еще в конце мая стали купаться, соорудив у самой воды маленький шалаш, где раздевались. Песок накалялся до того, что в нем пекли яйца. Поручик Обух, страстный охотник, добиравшийся во время своих экскурсий до камышовых джунглей на берегах Балхаша, привез однажды в Казаков сад маленьких тигрят, а в другой раз полосатых поросят дикой свиньи (друзья догадывались, что не только страсть к охотничьим приключениям заводила так далеко в глубь степи этого талантливого разведчика). За огородами был проточный пруд, там Достоевский на все лето поселил большого осетра, перегоро-

див деревянной решеткой сток, чтобы «гость» не ушел в Иртыш.

Идиллия в Казаковом саду, естественно, могла занимать лишь вечерние часы и воскресенья, по будним дням Врангель сидел у себя в присутствии, а Достоевский до седьмого пота жарился на плацу. Особенно изводил его парадный тихий шаг в три приема — фрунтовая акробатика, изобретенная прусским Фридрихом. Русские цари, которые, начиная с Павла, все были прирожденными «балетмейстерами военного парада», не могли, конечно, пройти мимо такого замечательного изобретения. Оно измучило не одно поколение русских солдат, но в Крыму, увы, пользы не принесло.

Летом пятьдесят пятого в Семипалатинске на муштру нажимали особенно, потому что ожидали приезда всемогущего Гасфорта, генерал-губернатора Степного края, хозяина и самодержца огромных пространств от тундры до китайской границы.

Достоевский, связывавший с Гасфортом некоторые надежды, расспрашивал Врангеля о всесильном губернаторе. Но Врангель, обиженный холодным приемом, который он встретил у Гасфорта в Омске — от немца, хотя бы и сановного, он ожидал большей теплоты,— отделывался сарказмами насчет глупости и пустоты звездоносного старика. Еще ироничнее он рисовал помощника Гасфорта, военного губернатора области Степных киргизов Фридрихса.

— Генерал-майор Фридрихс — добрый, отличный человек,— здесь Александр Егорович делал несколько театральную паузу,— но глуп как пробка. Представляете, доклады выслушивает, играя на флейте. Принесеные ему для подписи бумаги взвешивает на безмене и потом хвастает, сколько пудов подписал за неделю.

Федор Михайлович от бароновых сарказмов только морщился. Омский коллега семипалатинского губернатора Спиридонова его совершенно не интересовал, пусть он хоть на трубе во время докладов играет. Достоевскому важно было понять Гасфорта. В его одноцветную характеристику, сообщенную милейшим Александром Егоровичем, верилось плохо.

И в действительности Густав Христианович Гасфорт был фигурой куда более сложной, чем это казалось обиженному Врангелю. Он был своего рода произведением николаевской империи, произведением до того совершенным, что

сам «автор», Николай Павлович, иногда с сомнением вглядывался в свое создание.

И образован был Густав Христианович — имел докторские дипломы пяти германских университетов. И храбр — военный ветеринарный врач в трудную минуту на поле брани показал такое мужество и понимание ратного дела, что вопреки правилам тут же был переведен в строевые офицеры. И честен — попавшихся взяточников карал беспощадно. Но все эти добрые качества начисто перечеркивались абсолютным непониманием жизни, нерушимой верой в то, что если ей, жизни, твердо приказать, то она вынуждена будет подчиниться твоему приказу. Гасфорт жил в им самим вымышленном мире видимостей. Недаром непочтительные подчиненные именовали его между собой «опрокинутым книжным шкафом». Просматривая, например, топографические карты, генерал-губернатор вдруг решал, что они составлены неточно, что на них нет гор, которым по каким-то тайным соображениям Гасфорта полагалось быть в данном месте. Топографы пожимали плечами, однако в карты, предназначенные для губернатора, требуемые горы наносили—спорить со старым самодуром не приходилось. Но в действительности равнина, естественно, оставалась равниной. И взяточники при грозе казнокрадов жили вполне вольготно — следовало только не попадаться под леденящий, но чересчур уж прямолинейный взгляд Густава Христиановича.

Понятно, что вера во всемогущество своего приказа привела Гасфорта к весьма преувеличенному представлению о значении собственной личности. Говоря о своих полководческих подвигах (совершенных, в основном, во время подавления венгерской революции), генерал-губернатор Степного края уже свободно оперировал выражениями «Ганнибал и я», «я и Александр Македонский». Собирался также установить себе памятники в Омске и Обдорске.

Венцом волюнтаристской, как бы сейчас сказали, деятельности Гасфорта было сочинение им новой религии для степняков. Мусульманство его не устраивало, православие же плохо вязалось с некоторыми обычаями степи, в частности, с многоженством. И Густав Христианович с немецким педантизмом составил проект новой религии (как человек начитанный, он строил ее не на голом месте — в сущности он приспособил к «местным условиям» иудаизм). Но здесь даже «волюнтарист века» Николай Павлович был шокирован и не признал своего генерала новым Магометом или Люте-

ром, написав на проекте, что религии не сочиняются подобно законам.

С Гасфортом Достоевский связывал надежду хоть каким-нибудь образом прорваться в печать. Еще год назад, вскоре по приезде в Семипалатинск, Федор Михайлович сочинил стихотворение «На европейские события 1854 года» и направил его по инстанциям, надеясь, что оно, может быть, появится в каком-нибудь официальном журнале и послужит предлогом для разрешения печататься вообще. Стихотворение было в барабанно-патриотическом духе, вроде тех, которые сочинял тогда петербургский приятель Федора Михайловича Аполлон Майков, только гораздо хуже по форме — версификатором Достоевский был слабым. Но николаевская империя не нуждалась в том, чтобы ее внешнюю политику одобрял какой-то бывший каторжник, и стихотворение в инстанциях и завязло.

Ныне Достоевский повторил попытку, написав стихи на смерть Николая. В них он обращался к вдове императора:

Как гаснет в небесах зарница,
Угас супруг великий твой.

И эти стихи пошли обычным официальным путем. Федор Михайлович еще не знал, что они добрались уже до генерал-губернатора. Гасфорту объяснили, кто такой Достоевский и чего он хочет. Сначала он заупрямился и сказал, что за врагов правительства, хотя бы и бывших, хлопотать никогда не будет. Потом, однако, добавил, что ежели в Петербурге сами вспомнят о рядовом 7-го линейного батальона и решат облегчить его участь, то с его стороны препятствий не встретится. Затем наконец все-таки переслал стихи в столицу с сопроводительной бумагой за своей подписью. В окружении омского наместника были люди искренне сочувствовавшие писателю-солдату. Обводить же старого упрямца вокруг пальца «придворные» Гасфорта научились давно.

Стихи, сочиненные в Семипалатинске, дошли до вдовы-императрицы. Ей передал их принц П. Г. Ольденбургский, покровитель искусств, большой любитель музыки и сам композитор (бездарный). Вдове стихи, может быть, и понравились, но в печати они все же не появились. Возможно, потому, что сравнивать главного виновника крымской катастрофы с угасшей зарницей было уже не ко времени.

История с сочинением этих псевдопатриотических стихотворений — пожалуй, единственный семипалатинский эпизод

биографии Достоевского, который не может вызвать нашего сочувствия. Положим, Достоевский писал эти стихи искренне, в соответствии со своими новыми политическими взглядами... А все-таки странно было бы увидеть автора «Бедных людей» где-нибудь в «Северной пчеле». Даже Михаил Михайлович Достоевский, оппортунист по всему своему складу, и тот осторожно пожурил брата за эти официозные вирши. Сам Федор Михайлович, видимо, быстро понял ошибку и постарался никогда не вспоминать об этом эпизоде.

Вернемся в Казаков сад к долгим вечерним беседам Достоевского и Врангеля на речном берегу, на веранде «палаццо». Чем ближе узнавал Александр Егорович своего старшего друга, тем более поражался его глубокой начитанности и разносторонней образованности, которую Федор Михайлович никогда не стремился подчеркнуть и даже, наоборот, как бы прятал от малознакомых. Все русские беллетристы и поэты от Ломоносова до Пушкина, перед которым Достоевский благоговел, были перечитаны им многократно. Федор Михайлович мог подолгу читать наизусть не только стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова, но и целые главы «Истории государства Российского» Карамзина. Знать современную литературу не только в лице всех ее видных представителей, но и в произведениях ее «массовой продукции» — вплоть до лубочной, вплоть до бульварной — он считал долгом писателя. Отлично был знаком и с западноевропейской литературой нового времени — с Гете, Шиллером, Стерном, Виктором Гюго, Бальзаком, Беранже, Жорж Занд. Читал он и новейших французских историков — Тьера, Минье, Луи Блана. Прекрасно помнил труды Сен-Симона и Фурье. И на все прочитанное Достоевский имел свой определенный и оригинальный взгляд.

Врангеля мысли Достоевского иногда смущали. Когда Александр Егорович начинал восхищаться современной европейской наукой, которая в лице Гумбольдта, Кювье, Лайеля, Лапласа, Фарадея и других титанов столь полно осветила картину мироздания, что на долю последующих поколений остается лишь уточнение деталей, Достоевский в ответ замечал, что наука человеческая находится еще в младенчестве. Когда Врангель с воодушевлением повествовал о развитии железных дорог и пароходства, Достоевский прерывал его словами о том, что люди, вполне возможно, научатся летать по воздуху и будут пролетать чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем ездят поезда. Однажды

Федор Михайлович сказал, что со временем химия научится создавать живые организмы. Врангелю, поклоннику трезвой науки XIX века, это утверждение показалось отголоском учений средневековых магов и алхимиков.

Серьезно Достоевский интересовался и живописью. Инженер по образованию, он любил рисовать по памяти детали памятников мировой архитектуры. Хорошо понимал музыку, восхищался Глинкой, не раз вспоминал, как слушал однажды исполнение великим композитором своих романсов. Иногда сам напевал на берегу вполголоса алябьевский «Иртыш» — о его собственной судьбе рассказывали мелодия и слова:

Певец младой, судьбой гонимый,
При бреге быстрых вод сидел
И, грустью скорбною томимый,
Разлуку с родиною пел.

Шуми, Иртыш, струитесь, воды,
Несите грусть мою с собой.
А я, лишенный здесь свободы,
Дышу для родины драгой...

Достоевский внимательно читал петербургские журналы. Его очень интересовал автор опубликованных в «Современнике» «Детства» и «Отрочества», но в Семипалатинске некому, разумеется, было сказать Федору Михайловичу, кто скрывается под инициалами, которыми были подписаны эти произведения. Повести Достоевскому очень нравились, но он сомневался, много ли сможет написать молодой писатель. Может быть, ему казалось, что круг наблюдений неизвестного автора ограничен; севастопольские рассказы Толстого до Иртыша еще не дошли. Он признавал огромный талант своего старого знакомца Тургенева, но находил в нем невыдержанность. Нравился ему и Писемский, выступивший на литературном поприще уже в острожные годы Достоевского и привлекший читателей сочной густотой изображения провинциального быта, однако Федор Михайлович с огорчением отмечал многописание и торопливость быстро выдвинувшегося беллетриста*. Зато эстетская болтовня

* Впрочем, уже к концу семипалатинского периода, познакомившись с новыми произведениями Писемского, Достоевский стал смотреть на него как на эпигона, лишенного настоящей творческой самостоятельности, и противопоставлял ему подлинных художников-новаторов, таких, как Гоголь. Интересно, что это, в общем, совпадает с точкой зрения Добролюбова.

столичного сноба, англомана Дружинина его просто раздражала.

Дни становились все длиннее, солнце пекло все жарче, ветер носил песок по плацу, где маршировали солдаты. Из Кузнецка приходили письма — неспокойные, раздраженные. По ним видно было, что Александр Иванович так и не «образил» себя.

Достоевский молил о свидании. Договорились встретиться в Змеиногорске — алтайском городе с большим горным заводом — на дороге от Семипалатинска к Кузнецку. Получить хоть кратковременный отпуск перед самым смотром надежд не было никаких. Врангель распустил слух, что Федор Михайлович внезапно заболел — опасно и, кажется, заразно. Доктор Ламотт, поляк, брезгливо ненавидевший семипалатинское военное начальство, дал справку о болезни. На рассвете, закрыв на ставни окна в «палаццо», тайком выехали из города. Мчались как угорелые. А домчавшись, узнали: приехали напрасно. Мария Дмитриевна лишь прислала записку — болен муж. Не оглядевшись, полетели назад. Когда Достоевский вышел на службу, никто не усомнился, что он перенес тяжелую болезнь. Белихов сказал сочувственно: «Да, вид у тебя, батенька,— краше в гроб кладут».

Приехал наконец и Гасфорт. Достоевский видел генерал-губернатора только из строя. Врангель же с возмущением рассказывал о сцене, свидетелем которой стал: генерал распекал попа, не встретившего конный поезд Гасфорта колокольным звоном. Перепуганный батюшка лепетал, что сие полагается лишь при прибытии царствующих особ. Густав Христианович рычал: «Здесь царь — я».

Принимая областных чиновников, Гасфорт внимательно смотрел, соответствуют ли их вицмундиры сочиненному им (подобно новой религии) покрою. Тем, у кого не соответствовали, приходилось худо. У Врангеля покрой соответствовал — Александр Егорович заказал мундир столичному портному,— но фалды были длиннее запроектированных. Густав Христианович приказал укоротить на два вершка.

После того как великая суета по случаю пребывания Гасфорта завершилась, свободного времени у Достоевского стало больше и появилась возможность осуществить давнее желание — выбраться в степь. Правда, мешало еще то, что по бездорожью требовалось ехать верхом, а Достоевский никогда не садился на коня. Но Врангель уговорил его попро-

бовать проехаться на самой смирной своей лошади. Федор Михайлович потренировался в одиночестве и скоро вошел во вкус. Вообще всяким уменьем он овладевал быстро, если только были условия первые, неумелые шаги в новом деле совершать не публично.

С тех пор длинные верховые прогулки приятели предпринимали часто — то вдвоем, то в большой компании. Они проезжали по начавшей уже желтеть степи, по прибрежным лугам, где трава закрывала лошадям ноги, по светлому сосновому бору. Александр Егорович восхищался своеобразием прииртышской природы и удивлялся равнодушию Достоевского к ее красотам.

Однажды Федора Михайловича вытащили даже на псовую охоту, устроенную полковником Мессарошем. Скакать, однако, за борзыми он наотрез отказался.

— Какой интерес,— недовольно говорил он Врангелю на обратном пути, покачиваясь в седле,— смотреть, как гибнет красивый, благородный зверь.

Зато жизнь людей в степи интересовала Достоевского очень. С Врангелем они часто бывали на летовках, заводили разговор с кочевниками. Скоро среди казахов у них завелись и друзья. Они несколько раз гостили в юртах богатых кочевников Мендыбая и Тенибая. Гостей угощали свежим кумысом, твердым и аппетитным куртом, нежным жирным казы, бараньим пловом. Казахов живо интересовали новости из города. Гостей же удивляло то, как хорошо знали их хозяева о событиях на самых дальних кочевьях. К удивлению русских, в разговоре принимали свободное участие и молодые жены хозяев.

Как-то, возвращаясь в город, Врангель, воздавая должное уму, характеру и гостеприимству степняков, высказал сожаление, что этот народ, видимо, самой природой обречен оставаться на невысокой степени развития. Достоевский резко возразил, что он никак не может понять той мысли, по которой лишь одна десятая доля людей имеет право получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить материалом и средством к тому, а сами оставаться во мраке.

— Я не хочу жить и мыслить,— говорил Федор Михайлович,— иначе как с верой, что когда-нибудь все люди, сколько их ни народится, будут образованны и счастливы. Что же касается до народа, с которым мы теперь знакомимся, то одного такого человека, как омский офицер Валиханов,

достаточно, чтобы доказать, что народ этот очень даже способен к самой высокой степени развития.

Сам герой этого разговора вскоре появился в Казаковом саду. Однажды вечером Врангель увидел в калитке сада невысокого, очень красивого степняка в офицерской форме. В это время на крыльцо вышел Достоевский. Увидев офицера, он стремительно бросился к нему, и они обнялись.

Чокан провел в «палаццо» несколько вечеров. Врангеля поразила и его образованность, и спокойное изящество его манер, и, главное, сильный и своеобразный ум.

В своих воспоминаниях Врангель указывает, что Валиханов гостил в Казаковом саду перед опасной поездкой. «Ехал он с секретным поручением правительства в Ташкент и Коканд, сопровождая торговый караван». Документальных подтверждений того, что такая поездка состоялась, нет, но в описании Кашгарского путешествия Валиханов говорит, что ему приходилось опасаться людей, которые могли ранее видеть его в Коканде.

Тем летом писатель познакомился с полковником Хоментовским, приставом Большой орды, храбрым солдатом и удивительно простым, простецким даже человеком. И он побывал в Казаковом саду и быстро сошелся с солдатом Достоевским. Хоментовский приехал с берегов Иссык-Куля, где находилась его ставка, в Семипалатинск отдохнуть. И отдыхал он вовсю, сообразно своим наклонностям. Обыватели, знавшие образ жизни полковника, не удивлялись, когда их на рассвете будил гвалт, поднятый на улицах города шумной компанией с бутылками в руках, предводительствуемой приставом Большой орды в расстегнутом мундире. С Хоментовским и Федор Михайлович однажды несколько «набрался» — чуть ли не единственный раз в своей жизни. Вообще же Достоевский вина почти не пил, зато любил лакомиться сладостями — кишмишем, кедровыми орешками в меду.

...Как и по всей империи, отпраздновали «день ангела» нового императора Александра II — его «тезоименитство». Достоевский и Врангель смотрели за городской чертой национальные праздники степняков — лихую байгу, яростный кокпар. В этих состязаниях, где испытывались мужество, сила, ловкость, была подлинная красота. И как отличались они от другой «забавы» — кулачного боя, в котором стенка на стенку сошлись казачья и татарская слободки. Казаков умело настраивали против «нехристей», и «забава», как всегда, быстро превратилась в слепой мордобой, где правили

торжество темные чувства, злоба к людям чужого языка, иного образа жизни. Такие «игры» были школой для воспитания будущих «усмирителей» Польши, участников колонизаторских походов царизма.

Во второй половине лета Федор Михайлович предпринял еще одну попытку свидеться с Исаевой. На этот раз он получил официальное разрешение на поездку в Змеиногорск. Слуга Врангеля молчаливый финн Адам, неплохой портной, сшил Достоевскому для поездки «партикулярное» платье — первую штатскую одежду, которую писатель надел после шести лет, проведенных в арестантской двухцветной куртке и солдатском мундире. Врангель, конечно, и на сей раз сопровождал друга.

В этот приезд приятели прожили в «Змиеве» целых пять дней и успели осмотреться в нем. Город у самого древнего в Сибири рудника, открытого еще Никитой Демидовым, был чуть не вдвое больше Семипалатинска и со своими многочисленными каменными зданиями выглядел куда благоустроеннее центра области. Да и змеиногорское «общество», ядро которого составляли горные инженеры, было значительно культурнее семипалатинского. Друзей принимали исключительно радушно. Квартиру отвели им у богатого купца, но там они только ночевали, а днем и вечером их возили то на обед, то на пикник в бор, то на танцы. У управляющего заводом полковника Полетики слушали хороший хор, составленный из служащих завода. Достоевский, щеголявший в сюртуке, сшитом Адамом, в серых брюках, заимствованных у Врангеля, черном атласном галстуке и высоком крахмальном воротничке, углы которого доходили до ушей, несколько оттаял, охотно разговаривал с новыми знакомыми и даже танцевал с змеиногорскими дамами. Но когда поздно вечером приятели возвращались в дом купца, Федором Михайловичем овладевало отчаяние, и он, как всегда в минуты сильного волнения, свирепо теребил волосы на висках.

Исаева все не ехала. Достоевский ждал ее до последнего дня. Даже отказался ехать на экскурсию, устроенную любезными хозяевами, на недальнее Колыванское озеро, которое, по словам Александра Егоровича, сам великий Гумбольдт нашел красивейшим в мире.

На этот раз Мария Дмитриевна не прислала даже записки. Достоевский вернулся в Семипалатинск крайне подавленным. Он изливал свою душу в письмах, адресованных в

Кузнецк. Он писал Исаевой, что чувствует себя таким же одиноким, как в первые дни ареста, яростно честил «поганое» семипалатинское общество, не оценившее благородства ее и честности, перекладывал на него вину за отъезд Марии Дмитриевны.

Недолгая «идиллия» в Казаковом саду кончилась — вскоре после возвращения из Змиева Врангель отправился в двухмесячную служебную командировку по области: в Усть-Каменогорск, Бухтарму, Локтев. Он слал приятелю бодрые и самодовольные письма, хвастаясь числом верст, которые успел проехать.

Но Достоевскому было не до дорожных впечатлений прокурора — из Кузнецка он получил трагическую весть: после короткой болезни Исаев скончался. Последние дни «бедного Иова», как он сам себя называл, были ужасны: даже нестерпимую физическую боль заглушали страшные мысли о судьбе семьи. Без конца повторял он Марии Дмитриевне: «Что будет с тобою, что будет с тобою!» Эта навязчивая мысль жгла его до самой агонии. И действительно, положение вдовы оказалось совершенно безвыходным: у нее не было буквально ничего, кроме старого платья на себе и ребенке и долгов в лавке. Хоронить мужа было не на что. Кто-то из сердобольных кузнецких чиновников прислал ей три рубля, и Исаева эти три рубля взяла, потому что негде было достать куска хлеба для сына. «Нужда руку толкала принять,— писала она Федору Михайловичу,— и приняла... подаяние!» Как мучился, переживал унижение любимой женщины Достоевский! Никогда не мог он забыть об этих трех рублях и десять лет спустя, создавая «Преступление и наказание», ввел их в рассказ о последнем дне «заезженной» свирепой жизнью Катерины Ивановны.

У самого Федора Михайловича в это время не было ни полушки, он не мог даже переслать в Петербург письма Врангеля — нечем было оплатить почтовый сбор. Пришлось, чтобы оказать хоть самую скромную помощь, обращаться к Александру Егоровичу. Достоевский просит Врангеля послать в Кузнецк пятьдесят рублей и считать их вместе с прежними двадцатью пятью, занятыми на дорогу Исаевых в Кузнецк, его, Достоевского, долгом («Я вам отдам непременно, но не скоро»). Он умоляет своего друга проявить при посылке денег предельную деликатность, чтобы не задеть невзначай еще раз бедную женщину: «Я очень хорошо знаю, что вы понимаете, как должно обходиться с человеком, ко-

торого пришлось одолжить. Я знаю, что вы с ним удвоите, утроите учтивость; с человеком одолженным надо поступать осторожно; он мнителен; ему так и кажется, что небрежностью с ним, фамильярностью хотят его заставить заплатить за одолжение ему сделанное». Кому, как не художнику «бедных людей», самому бедняку всю жизнь, было не знать эту особенную щепетильность «благородной» нищеты!

И все же в эти, до краев наполненные тревогой, болью, состраданием, августовские дни пятьдесят пятого года у Достоевского не могла не мелькать мысль о том, что возможность счастливого исхода его мучительной любви стала теперь более реальной.

Жизнь эту мысль в конце концов подтвердила, но до того еще много воды утекло.

«НЕ ИСКЛЮЧАЯ РОДНОГО БРАТА»

По омским улицам от крепости к себе, в Мокринский форштадт, идет молодой человек. Он строен и легок, у него бледно-смуглое лицо, узкий разрез глаз и тонкие губы, всегда готовые сложиться в ироническую улыбку.

Короткие декабрьские сумерки уже перешли в долгую ночь, но на улицах не очень темно — легкий молочно-белый снег щедро засыпал весь город.

Молодой человек хорошо знает этот город. Уже много лет прошло с того дня, когда привезли из Кушмуруна в Сибирский кадетский корпус маленького правнука хана Аблая. Здесь он вырос, здесь зародилась его мечта о путешествиях в дальние земли. А вот любит ли он этот город?..

Знают его здесь почти все. Вот он на ходу обменялся дружеским приветствием с бородатым купцом, вот перекинулся парой задорных слов с молодой румянощекой казачкой, вот остановился и по-приятельски проговорил несколько минут с седым человеком, тяжело припадающим на больные ноги, и пошёл дальше, задумчиво покачивая головой: бедный Сергей Федорович, совсем доняли его болезнь и здешние приказные крючки. Дуров ведь, кажется, одних лет с Достоевским, а насколько старше его выглядит!

Молодой человек любит этот город — город простых и смелых людей, возвращающихся из трудных экспедиций, город тех, кого забросили в снежные пространства Сибири за отважную мысль, за прямое слово.

Но вот раскланивается с ним коллежский советник с лицом, похожим на поношенный вицмундир, с взором, полупогасшим в сумраке канцелярий и чиновничьих гостиных. Молодой человек отвечает ему изысканно вежливым поклоном. Не на что, кажется, обижаться коллежскому советнику, но чудится ему в этой изысканной вежливости какое-то неуловимое пренебрежение к себе, какой-то обидный аристократизм. Долго еще стоит он, глядя вслед прошедшему поручику, и ворошится на неглубоком дне его души спутанный клубок зависти и досады.

Господи, почему так везет человеку? — думает коллежский советник. Как вознесся. Потянул бы лямку с наше. Молокосос ведь, уж не говоря, что инородец. А обласкан начальством, начиная с самого Густава Христиановича. А ведь образ мыслей весьма подозрительный, с ссыльными якшается. И вот — какую карьеру делает.

Тут коллежский советник вспоминает, как царит молодой поручик в гостиных, как сравнивают его омские дамы с Печориным и Чайльд-Гарольдом Байроновым, вспоминает, что язык у него словно бритва. И приходят к нему очень демократические мысли насчет того, как бы все-таки подставить ножку этому степному аристократишке...

Молодой человек ненавидит этот город — город чиновных крючков, канцелярских интриг, грязных взяток и душных сплетен, город невежд и ловцов фортуны.

Он спускается к берегу Оми. Проходит мимо единственного здесь трехэтажного, удивительно нелепого дома купчихи Коробейниковой, прозванного им «Вестминстерским аббатством Мокрого», мимо домика рядом — с прорезями сердечком в ставнях,— здесь обитает Дуров, пламенный фурьерист, знаменитый переводчик гневных ямбов Барбье, оставленный после Мертвого дома в Омске на съедение канцелярским крысам.

Если б возможно было, как в иных фантастических романах, зримо видеть через столетие, увидел бы поручик направо огромный мост через реку, а прямо против себя красный камень областной библиотеки. Но не перепрыгнешь через время, течет оно неразрывно и медленно — особенно медленно для тех, кто его обогнал.

Но вот молодой человек у себя дома. Он сбрасывает шинель с бобровым воротником и проходит в комнаты. Увидел б их коллежский советник, и еще больше разнылось бы от

зависти его сердце. Обстановка в комнатах барская — дорогая мебель, отличные ковры, масса великолепных безделушек и порядок, как у англичанина.

Поручик зажигает свечу, достает папироску из портсигара, на крышке которого причудливый рисунок — крыса с буравчиком, сверлящая земной шар, стучит папироской по длинному, «китайскому» ногтю на мизинце, закуривает. А потом садится и пишет в далекий Семипалатинск письмо, где нет ни «аристократизма», ни гейневского саркастического юмора, который молодому человеку не без основания приписывают, но где так отчетливо слышно биение сердца очень умного и благородного юноши, которому нелегко, совсем нелегко жить, несмотря на все служебные и светские успехи.

Он пишет в Семипалатинск: «Расстаться с людьми, которых я так полюбил и которые тоже были ко мне благорасположены,— было очень и очень тяжко. Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у Вас. Я не мастер писать о чувствах и расположении, но думаю, что это ни к чему. Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю.

...Омск так противен со своими сплетнями и вечными интригами, что я не на шутку думаю его оставить. Как Вы думаете об этом? Посоветуйте, Федор Михайлович, как это устроить лучше».

Достоевский ответил на вопросы своего молодого друга знаменитым письмом, которое стало для нас ярчайшим, почти символическим проявлением дружбы лучших представителей двух народов, духовного братства, торжествовавшего даже в те мрачные времена. В этом замечательном письме прекрасно сказалось и большое сердце Достоевского и удивительный провидческий дар великого психолога, позволявший ему проникать в будущее. Но прежде чем обратиться к этому письму, следует вспомнить о начале дружбы вчерашнего каторжника и юного офицера. Жить вместе, в одном городе, за эти пять лет им не пришлось. Исключительно велико, видно, было тяготение этих двух людей друг к другу, если даже их сравнительно короткие встречи родили такую дружбу!

Как уже говорилось, знакомство Федора Достоевского и Мухаммеда-Ханафии Валиханова состоялось во второй по-

ловине февраля 1854 года в Омске, в доме Ивановых*, где автор «Бедных людей» провел первый месяц после выхода из Мертвого дома. Юного выпускника Омского кадетского корпуса, проглотившего за годы учебы десятки тысяч страниц, кроме любимых своих трудов по географии и описаний путешествий читавшего и лучшие русские журналы той поры — «Современник» и «Отечественные записки», не мог не заинтересовать первый увиденный им в жизни настоящий писатель. И для Достоевского, даже в том нервно-возбужденном состоянии, в котором он тогда находился, оставшегося прирожденным «человековедом», открывателем мира, не могла пройти бесследной встреча с таким новым для него и неожиданным психологическим явлением, как личность молодого степняка, сразу же выделившегося среди своих сотоварищей умом, талантом, неудержимым стремлением к знаниям. Конечно, должна была произвести сильное впечатление на давнего поклонника Шиллера и романтическая мечта юного Чокана о дальних путешествиях, открытиях неведомого.

---

* Здесь необходимо остановиться на следующем обстоятельстве. В воспоминаниях А. Е. Врангеля К. И. Иванов назван офицером жандармского корпуса. Со слов Врангеля это утверждение повторяли многие, повторено оно и в недавней книге Сергея Маркова «Идущие к вершинам». Если принять его на веру, то может возникнуть сомнение в искренности гостеприимства Иванова — офицер-жандарм ведь мог поселить только что выпущенного из острога политического преступника и со служебными, так сказать, целями. Странноватым кажется и брак дочери декабриста, воспитанной, видимо, в отцовских убеждениях, совсем еще юной девушкой помогавшей новому поколению «несчастных» — петрашевцам, шедшим на каторгу, — брак Ольги Анненковой и жандарма.

Все объяснется просто. Константин Иванович Иванов, этот, по словом издателя «Русской старины» Мих. Семевского, «любезнейший, добрейший и постоянно веселый человек», никогда никакого отношения к «голубым мундирам» не имел. Военный инженер по образованию (кстати, судя по первым же его служебным постам, довольно значительным, вполне возможно, что он окончил лучшее тогда военно-инженерное учебное заведение — Главное инженерное училище, где в те же годы учился и Достоевский, и, таким образом, должен был знать писателя с юных лет). К. И. Иванов никогда не изменял своей профессии, став в ней впоследствии крупнейшим специалистом. По «инженерной части», разумеется, служил он и в Омске — адъютантом корпусного инженера генерала Борисовского.

В извинение Врангелю можно сказать, что в его мемуарах память подвела престарелого барона, кажется, только дважды. Второй ошибкой памяти, видимо, приходится все-таки считать загадочные слова о встрече автора воспоминаний с Чоканом Валихановым в Париже.

Когда через полтора года Валиханов в составе свиты генерал-губернатора приезжает в Семипалатинск, они встречаются уже дружески, и Казаков сад становится свидетелем их долгих бесед. В следующем году Чокан вновь останавливается в городе на Иртыше перед своим большим путешествием на берега Иссык-Куля и в Кульджу и на обратном пути после этого смелого предприятия. Дружба путешественника и писателя развивается стремительно.

Очень серьезное письмо Чокана требовало не менее серьезного ответа. Такой ответ и дал Достоевский.

Чтобы глубже оценить его знаменитое письмо Чокану, нужно учесть следующее.

В своих семипалатинских письмах Достоевский пишет слово Степь с большой буквы.

Степь после знакомства писателя с казахами-кочевниками и казахами, жившими в Семипалатинске, стала для него особым, своеобразным и сложным миром, в котором по своим законам, не совпадающим с законами «цивилизованного» мира, живет самобытный и вольнолюбивый народ — казахский народ.

Об этой Степи Достоевский позже трижды говорит в своих произведениях. Впервые — в «Записках из Мертвого дома»:

«На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет с своими двумя баранами. Все это бедно и дико, но свободно».

Через несколько лет в эпилоге «Преступления и наказания» это же впечатление, уточненное и углубленное, передается осужденному в каторгу Раскольникову:

«Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на пустынную и широкую реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здеш-

них, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его».

Наконец, в «Игроке» умный, несчастный и глубоко симпатичный Алексей Иванович, во многом «второе я» автора, тоже вспоминает о Степи.

«— А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке,— вскричал я,— чем поклоняться немецкому идолу.

— Какому идолу?

— Немецкому способу накопления богатств...».

Лейтмотив всех трех отрывков один — противопоставление «бедной и дикой, но свободной», библейски простой жизни степняков неволе и «идолам» общества, где свобода личности подавлена государством.

Достоевский здесь идеализирует Степь, не видит, что в патриархально-родовой строй давно уже проникли феодальные отношения. Но он не мог не понимать, что ее подчинение аппарату классового государства неизбежно. Степь оказалась между активно наступавшей на нее Российской империей и феодальными среднеазиатскими государствами, о которых Чокан Валиханов, надо думать, рассказывал своему другу приблизительно то же, что позже писал в «Очерках Джунгарии»:

«Средняя Азия в настоящем своем общественном устройстве представляет явление крайне печальное, какой-то патологический кризис развития.

...На развалинах многовратных городов стоят жалкие мазанки, и в них живет дикое, невежественное племя, развращенное исламом и забитое до идиотизма религиозным и монархическим деспотизмом туземных владельцев, с одной стороны, и полицейской властью китайцев — с другой.

В Маврель-Нагре (нынешняя Бухара, Хива и Кокан), в самой просвещенной и богатой стране древнего Востока (в XIV и XV веках), теперь господствует невежество более чем где-нибудь. Библиотеки Самарканда, Ташкента, Ферганы (в Коканском ханстве), Хивы, Бухары и проч., обсерватория в Самарканде безвозвратно погибли под беспощадною рукою татарского вандализма и бухарской инквизиции, которая предала проклятью всякое знание, кроме религиозного».

Степь оказалась поистине между молотом и наковальней. Она была дорога русскому писателю, которого судьба породнила с ней. Он много думал о путях ее развития и воз-

лагал главные надежды на степняков, подобных его молодому другу. В Чокане Достоевский видел блистательное сочетание лучших черт национального характера его народа — духовной свободы, отваги, поэтичности, уверенности в своих силах — и европейской образованности, стоящей на уровне высочайших достижений науки своего времени. Достоевскому, всю жизнь думавшему о будущем всесветном единении человечества, был дорог органический интернационализм Валиханова, сочетавшего глубокую любовь к родному народу с искренним братским чувством к лучшим представителям русского народа.

Письмо Достоевского Чокану Валиханову написано 14 декабря 1856 года, сразу же, как только он получил почту из Омска. Оно начинается словами о личном отношении Федора Михайловича к своему молодому товарищу, в которых проявляется исключительная отзывчивость его души ко всему прекрасному в человеке.

«Вы пишете так приветливо и ласково, что я как будто увидел вас снова перед собою. Вы пишете мне, что меня любите. А я вам объявляю без церемоний, что я в вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам, и бог знает, как это сделалось. Тут бы можно многое сказать в объяснение, но чего вас хвалить! А вы, верно, и без доказательств верите моей искренности, дорогой Вали-хан, да если б на эту тему написать 10 книг, то ничего не напишешь: чувство и влечение дело необъяснимое».

Затем Достоевский развертывает перед своим адресатом план того жизненного маршрута, которым, по мнению Федора Михайловича, Чокану идти лучше всего, план, столь тщательно разработанный, что Достоевский даже считает необходимым оговориться:

«Не смейтесь над моими утопическими соображениями и гаданьями о судьбе вашей, мой дорогой Вали-хан. Я так вас люблю, что мечтал о вас и о судьбе вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу вашу. Но среди мечтаний была одна действительность: это то, что вы первый из вашего племени, достигший образования европейского. Уже один этот случай поразителен, и сознание о нем невольно налагает на вас и обязанности».

Будущее, к которому зовет Валиханова Достоевский, это не служебная карьера, а путь литератора и ученого. Зная, что отец Чокана султан Чингис Валиев, управитель Куш-

мурунского округа и полковник русской службы, просто не представляет для сына иного пути, кроме военно-административного, и будет против любых попыток Чокана сойти с него, Федор Михайлович советует, каким образом следует дать понять Чингису, что перед его сыном может открыться более высокая дорога:

«Вы спрашиваете совета: как поступить вам с вашей службой и вообще с обстоятельствами. По-моему вот что: не бросайте заниматься. У вас есть много материалов. Напишите статью о Степи. Ее напечатают (помните, мы об этом говорили). Всего лучше, если б вам удалось нечто вроде своих записок о степном вашем быте, вашем возрасте там и т. д. ... Так было бы ново, а вы, конечно, знали бы, что писать (например, вроде Джона Тенера в переводе Пушкина, если помните). На вас обратили бы внимание и в Омске и в Петербурге. Материалами, которые у вас есть, вы бы заинтересовали собою Географическое общество. Одним словом, и в Омске на вас смотрели бы иначе. Тогда бы вы могли заинтересовать даже родных ваших возможностью новой дороги для вас».

Достоевский считает, что для того, чтобы закончить свое образование, Чокан должен пожить в России и Европе и рекомендует, как это сделать:

«С 1 сентября будущего года вы бы могли выпроситься в годовой отпуск в Россию. Год прожив там, вы бы знали, что делать... В этот год вы бы могли решиться на дальнейший шаг в вашей жизни. Вы бы сами выяснили себе результат, т. е. решили бы, что делать далее. Воротясь в Сибирь, вы бы могли представить такие выгоды или такие соображения (мало ли что можно изобразить и представить!) родным своим, что они, пожалуй, выпустили бы вас и за границу, т. е. года на два в путешествие по Европе».

Федор Михайлович подчеркивает, что молодой друг должен позаботиться о своем будущем не только ради себя, но и ради блага своего народа, что его благо — цель, к которой должен стремиться Валиханов:

«Лет через 7, 8 вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей родине. Например: не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещенным ходатайством за нее у русских. Вспомните, что вы первый кир-

гиз, образованный по-европейски вполне. Судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком».

Удивительно многое из будущей судьбы Чокана предсказано в этом письме — и поездка в Петербург, и связь с Российским географическим обществом, и литературная деятельность, и даже тот жанр научно-художественного очерка, в котором она будет преимущественно проявляться. Нет сомнения, что Валиханов глубоко продумал и принял советы друга.

Лучшим комментарием к письму Достоевского являются замечательные строки Мухтара Ауэзова в его статье «Ф. М. Достоевский и Чокан Валиханов»: «Достоевский советует Чокану выступить с «просвещенным ходатайством» за свой народ. А русские, о которых он упоминает в своем письме,— это, конечно, не колониальный аппарат царизма; несомненно, тут имеется в виду образованная часть русского общества. ...А для своего времени, для той поры, это была самая искренняя и благородная идея — стать заступником своего народа, просвещенным ходатаем за свой народ. Для тех, кто знал в той или иной мере состояние Степи, царившее там невежество, это была самая естественная программа действий.

В этих высказываниях Достоевского нельзя не ощутить общую идею заступничества за все угнетенные, порабощенные народы России, нельзя не услышать отзвук тех идеалов, которыми руководствовались в своих трудах лучшие сыны русского народа. В этих заботливых думах Достоевского о Степи, о долге первого просвещенного сына этой Степи сказалась светлая, благородная роль передовой русской интеллигенции в судьбе народов России. И в этом смысле советы Достоевского, напутствия, данные им молодому сыну казахского народа, формировали самую благородную задачу образованных представителей казахского народа.

По мнению Достоевского, грандиозную роль в судьбе народа должен был сыграть творческий труд его лучших представителей: научно-исследовательские работы, художественные произведения, полно и разносторонне освещающие неведомый для культурных народов быт Степи — своеобразие ее жизни и судьбы минувших поколений одной из колониальных окраин царской России.

Нам бесконечно дорого сознавать, что великий русский писатель Ф. М. Достоевский говорил о своих думах и чаяниях с лучшими представителями казахского народа, что он

мыслил будущее этого народа связанным с русским народом, с его борьбой за светлое будущее».

Трудно что-либо прибавить к этому исчерпывающему анализу.

Мухтар Ауэзов писал свою статью в годы, когда творчество Достоевского еще вызывало недоверие у сторонников «выпрямления» истории литературы. Поэтому автору «Пути Абая» «с досадой», как он сам говорит, пришлось указывать, что порой писатели и исследователи, обращающиеся к жизни и деятельности Валиханова, «зачем-то пытаются неуместно, неуклюже отгораживать Чокана от Достоевского, словно боятся, что эта связь затемнит облик Чокана, прогрессивного деятеля казахского народа». На самом же деле, утверждает замечательный казахский писатель, «эта дружба ни в коей мере не снижает Чокана Валиханова, а наоборот, прибавляет яркие и привлекательные штрихи к его облику. Эта дружба — одно из прекрасных свидетельств исторической дружбы русского и казахского народов».

После обмена этими письмами Чокан и Достоевский встречались еще много раз, и Федор Михайлович окончательно стал для Валиханова «голубчиком Федей», а Чокан до самой смерти его был для русского писателя самым дорогим другом, «не исключая родного брата». Но об этих встречах будет рассказано дальше.

ОТНОСИТЕЛЬНО РОДНОГО БРАТА

Достоевский пишет: «Не исключая родного брата», хотя братьев у него было трое. Однако это не описка. Ни с преуспевающим провинциальным архитектором Андреем, ни с алкоголиком Николаем, о котором Федору Михайловичу пришлось всю жизнь заботиться, духовной близости у него не было. Подлинно родным казался ему лишь старший брат — Михаил Михайлович.

В юности они обменивались длинными романтически приподнятыми письмами, одинаково восхищались Пушкиным, Шекспиром, Шиллером. Затем Михаил Михайлович, рано женившийся на немке из Ревеля, впрягся в служебную лямку. Однако мечты о литературной деятельности еще не покинули его. После первых писательских успехов брата он перебирается в Петербург, начинает активно сотрудничать в «Отечественных записках», пишет статьи и повести в духе

«натуральной школы». Младший брат вводит его в круг петрашевцев. Многими он воспринимается как духовный двойник Федора Михайловича, разумеется, не такой талантливый.

В 1849 году через две недели после ареста Федора был схвачен и Михаил. Но арестованных братьев ждала совершенно разная участь.

Михаил Михайлович был вскоре выпущен на свободу, что еще не особенно удивительно, так как, будучи уже тогда человеком осторожным, он ни в какие предприятия заговорщиков не входил, ограничившись лишь посещением «пятниц» у Петрашевского. Удивительнее то, что III отделение сочло необходимым компенсировать Михаилу Михайловичу «беспокойство», выплатив ему — единственному из освобожденных — некоторую денежную сумму (впрочем, весьма небольшую — двести рублей серебром).

Довольно долго не утихали слухи, что один из братьев Достоевских (арестован был и третий — Андрей) на следствии, чтобы спасти себя, дал чрезвычайно «откровенные» показания. Этим братом не мог быть, естественно, ни Федор, приговоренный к расстрелу, ни Андрей, которого вообще взяли по ошибке: об обществе Петрашевского он понятия не имел.

После смерти старшего брата Федор Михайлович неоднократно по разным поводам печатно защищал его добрую память, подчеркивая его честность и «джентльменство».

Петрашевцы на следствии держались по-разному. Были и такие, что очень «откровенничали» о товарищах. Смягчению их участи это способствовало мало. Так что странное «воспомоществование» Михаилу Михайловичу со стороны III отделения остается загадкой. Ясно только, что арестом он был напуган чрезвычайно.

Брата Михаил Михайлович любил искренне, хорошо понимал размер его дарования, восхищался им, соперничать с ним в творчестве и не пытался. Но себя и свое маленькое благополучие он любил еще искреннее.

Кибитка, в которой закованного в кандалы Федора Михайловича, повезли в Сибирь, выехав из крепости, проехала мимо дома Краевского, где была квартира брата. В его окнах Достоевский увидел нарядную елку, — было рождество. О том, что приговоренных к расстрелу «помилуют» каторгой, никто заранее не знал. Значит, даже казнь брата не мог-

ла заставить старшего Достоевского отказаться от праздника.

Веселиться в эти дни Михаил Михайлович, конечно, не мог. Видимо, он просто боялся, как бы отказ от празднования не был кем-нибудь истолкован как «протест», демонстрация сочувствия осужденному.

В каторжные годы Достоевский был отчужден от всего мира. Единственная ниточка, которая могла бы хоть как-то связать острожника с настоящей жизнью, находилась в руках Михаила Михайловича. Но она была неподвижна. Старший брат ничего не писал заключенному Омского острога.

В последнем письме из Петропавловской крепости, накануне отправки в Сибирь, Достоевский советовал: «Брат, береги себя и семью, живи тихо и предвиденно». Михаил Михайлович с лихвой выполнил братский совет: тише и «предвиденнее» провести последние годы николаевского царствования, чем провел их он, было невозможно. Литературу старший Достоевский бросил, стал коммерческим человеком. Забился в не очень удобную, но безопасную щель и боялся из нее хоть чуть-чуть высунуться — даже ради своего великого брата, которого, повторяю, он искренне любил. Очень остерегался Михаил Михайлович высовываться из своей щели и в первые семипалатинские годы Достоевского.

В первом письме после каторги, отправленном еще из Омска, из дома Ивановых, Федор Михайлович взволнованно спрашивает: «Скажи ты мне, ради господа бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в уединенном замкнутом положении моем я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете... Другой раз, когда я узнавал наверное, что ты жив, меня брала даже злоба (но это было в болезненные часы, которых у меня было много), и я горячо упрекал тебя».

Достоевскому все еще кажется, что молчание брата вызвано каким-нибудь недоразумением, он широко делится с ним своей духовной жизнью, своими планами и замыслами, надеется на его помощь: «Хлопочи за меня, проси кого-нибудь... Брат, не забывай меня!»

Но через несколько месяцев ему приходится вновь спрашивать, уже из Семипалатинска: «Но скажи мне, отчего ты молчишь? Сколько писем уже послал я тебе! Ты же... ответил мне только на одно, на первое».

Михаил Михайлович помалкивал, изредка посылал на

берег Иртыша немного денег, несколько книг, что-нибудь из одежды и белья, насчет же просьб о хлопотах отвечал, что брату «лучше» пока пожить вдали, а может, и совсем не возвращаться в Россию.

Достоевский наконец понял Михаила Михайловича, письма к нему стали короче и суше, писатель пытается как бы даже психологически объяснять охлаждение брата, извиняя его: «Мне кажется, что время мало-помалу берет свое, старая привязанность слабеет и прежние впечатления тускнеют и стираются. Мне кажется, что ты начинаешь забывать меня. Иначе чем же объяснить такие долгие сроки между письмами?» Но сам Федор Михайлович не может расстаться со «старой привязанностью»: «Читаю 4-ю страницу газет — не увижу ли хоть твоих объявлений?»

Федор Михайлович, разумеется, был обижен на брата, и, как он ни старался сдержать обиду, порой в письмах к другим адресатам она все же прорывалась. Своей сестре В. М. Карепиной он говорил о «брате Мише», что «тот, кажется, дал себе честное слово мне писать по одному письму в год; ни больше, ни меньше».

Уезжавшему в Петербург Врангелю Достоевский передал несколько писем. Одно из них предназначалось брату, относительно другого он предупредил барона, что оно ни в коем случае не должно попасть в руки Михаилу Михайловичу — там имелись довольно резкие слова в его адрес. Врангель письма перепутал и оставил у старшего Достоевского как раз то, которое для него не предназначалось. Прочитав его, Михаил Михайлович страшно расстроился и поспешил оправдаться довольно жалкими словами: «Милый брат, единственный друг, потому что у меня нет друзей... Разве всегда я не делился с тобой по-братски, именно по-братски. Как часто, почти всегда, особенно в первое время, я посылал тебе последнее и на другой-третий день бегал по знакомым и канючил себе несколько рублей до жалования... Чтобы не скомпрометировать наших сношений, я тщательно скрывал их от всех, и на меня начали смотреть как на дурного брата. Меня за глаза обвиняли в эгоизме и равнодушии... Я просто дрожу над каждым рублем, ограничиваю себя во всем, даже платье ношу такое старое, что почти стыдно... Не воображай себе, что я сделался коммерческим и практическим человеком. Увы! Все такой же последний из романтиков, худой и бледный. Зато Эмилия очень пополнела».

Сочетание в письме табачного фабриканта жалоб на бедность и определения себя как «последнего из романтиков» выглядит почти пародийно. Михаил Михайлович не был особенно богатым человеком, но насчет «канючания» нескольких рублей в долг он уж слишком перехватил. Конечно, он мог помогать ссыльному брату не в таких мизерных размерах, как он это делал. Мог и хотел, вероятно... Но рядом была семья, фабрика, пополневшая Эмилия, и у него просто рука не поднималась оторвать лишний червонец от благоприобретенного.

Он был лучший для своего времени переводчик Шиллера, и он первым придумал вкладывать в сигарные ящики недорогие сюрпризы. Романтизм его был удобным — он немедленно стушевывался, когда этого требовала проза практической жизни.

Но прошло время. Брат в Семипалатинске был произведен в офицеры, брат в Семипалатинске начал писать новые романы,— а может быть, никто тогда лучше Михаила Михайловича не понимал, что еще в силах создать Достоевский. К тому же воздух времени ощутительно менялся, и родство с «политическим преступником» уже не могло скомпрометировать.

И снова не стало у Федора Михайловича более преданного и верного друга, чем старший брат. Глубочайшим образом преданного. Он бегает с рукописями Достоевского по редакциям, вдумчиво и умно говорит и о композиции новых повестей и о том, как их лучше продать, усиленно хлопочет о возвращении брата в столицу, кротко сносит раздраженные и почти всегда несправедливые замечания Федора Михайловича. Ради брата он совершает даже удивительный, невероятный для себя поступок: ставит на кон материальное благополучие свое, детей, Эмелии, продает фабрику и начинает издавать литературный журнал. Шаг весьма рискованный, но Михаил Михайлович верил в звезду брата, в силу его таланта. Чего-чего, а этого у него не отнимешь.

Он ведь был в сущности не плохой человек. Только очень испуганный.

В сороковых годах братьев Достоевских считали как бы духовными двойниками. В первой половине шестидесятых Щедрин писал: «Есть настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей») и есть Псевдодостоевский (М. М., автор «Старшой и меньшой» и предприниматель журнала «Эпоха»)».

Надо думать, Михаилу Михайловичу было крайне обидно читать про себя такое (Щедрин умел бить в самое больное место). Но он не мог не понимать, что экзамена на настоящего Достоевского — пусть второго, пусть маленького, но настоящего — он не выдержал. Чтобы стать настоящим, ему не хватило не таланта, а характера. Не хватило в годы разлуки с братом.

Так Псевдодостоевским и остался для нас «джентльмен» Михаил Михайлович.

СЕРДЦЕ ОСТАЕТСЯ ОДНО

Какие бы важнейшие для Достоевского события ни происходили в те годы в его личной жизни, какие бы страсти ни сотрясали его душу, все это не могло надолго отвлечь его от того сложного, противоречивого и мучительного процесса перестройки мировоззрения, который был главным в духовной жизни писателя в его «солдатский период». Процесс этот начался еще в Омском остроге, если не в Петропавловской крепости, продолжался и по возвращении в Петербург, так, в сущности, никогда и не закончившись. Но Достоевский с основанием относил вершину «кризиса всей жизни» ко времени, когда он в военном мундире маршировал по пыльному плацу прииртышского города.

О том, что общественно-политические взгляды писателя претерпели очень сильное изменение в годы каторги и солдатчины, много писали издавна. Для представителей реакционного лагеря, особенно для тех, кто оказался житейски близок к великому писателю в последний период его жизни, дело обстояло просто: после недолгого и неглубокого сочувствия идеям петрашевцев, которые, впрочем, и сами-то были лишь безобидными мечтателями, Достоевский навсегда вернулся к монархическим и религиозным идеям. Был период, когда эту версию (с некоторыми оговорками и изменив, разумеется, формулировку «к счастью» на противоположную — «к глубокому сожалению») приняли и отдельные наши исследователи.

Сейчас, кажется, никто из советских литературоведов не сомневается, что в действительности все обстояло неизмеримо сложнее.

Еще из Семипалатинска Достоевский писал Аполлону Майкову, что его увлечение социализмом и революцией «не

более, чем случай». Не раз повторял он это и позже. Ему поверили, а верить его словам было нельзя. Достоевскому тогда искренне хотелось, чтобы так было. Но прошлого нельзя переделать, и не только потому, что оно невозвратимо, но часто и потому, что оно продолжается в будущем.

В эпоху своей наибольшей близости к лагерю реакции, в годы, когда он редактировал официозный «Гражданин», Достоевский счел своим долгом защитить честь своих давних товарищей от нападок рептильной печати, во весь голос сказать об их убежденности и твердости: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений.

...Приговор смертной казни расстрелянием, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно свою, столь юную еще жизнь,— может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих... но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом,— представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!»

От чего же не мог и не хотел отречься на эшафоте молодой Достоевский?

И современников и людей, живших много позже, поражала удивительная даже для Николая свирепость расправы с петрашевцами. В самом деле, смертная казнь за ничуть не поколебавшие трона утопические мечты о грядущем счастье человечества, за невероятные планы раздела земного шара между фурьеристами и «коммунистами» * на предмет выяснения, кто полнее может обеспечить это счастье!»

Но царь и назначенные им судьи знали, что делали. Материалы следствия и суда ясно показывают, что петрашевцы

* Имеется в виду утопический коммунизм в духе общины Э. Кабе и т. п.

были осуждены не столько за социалистические утопии, сколько за революционные планы, не за мечту о фаланстере, а за проекты революционного уничтожения крепостнического строя и свержения самодержавия, проекты, к практическому выполнению которых они успели приступить.

Л. Ф. Достоевская пишет: «Мой отец утверждал всегда, что дело шло там о политическом заговоре для низвержения царя и создания в России республики интеллигентов». Очень многому в полубульварной книжке «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» поверить совершенно невозможно, но в данном случае она, вероятно, точна. Говоря об истории дела петрашевцев, изданной в 60-е годы в Лейпциге, Достоевский указывал, что в книге «пропал целый заговор». Теперь мы знаем об этом заговоре, знаем, что внутри общества Петрашевского выделилась тайная революционная «семерка», возглавляемая Спешневым. От пропаганды в узком кругу петербургской интеллигенции «семерка» намеревалась перейти к широкой агитации среди крепостных крестьян, раскольников, солдат; с этой целью была организована подпольная типография. Только донос и арест оборвали начавшуюся деятельность заговорщиков.

Федор Михайлович был активнейшим членом «семерки», ближайшим помощником Спешнева.

Вот от какого пункта началась эволюция мировоззрения писателя.

Отрекся ли уже в Омске и Семипалатинске Достоевский от своей программы, раскаялся ли в ней? Мне кажется, что это не те слова. Каторга убедила писателя в том, что народ не готов к революции, что революционный переворот в России в данное время неосуществим. Врангель, ссылаясь на беседы со своим другом, утверждает, что Достоевский в Семипалатинске считал: «политический переворот в России *пока* немыслим, преждевременен». Слово «пока» подчеркнуто Врангелем. Нет сомнения, что он передает логическое ударение Достоевского. Это не было еще ни отречением, ни раскаяньем. Но это было крушением политической программы молодого Достоевского, и оно несло в себе зерна отречения и раскаянья.

Писатель был прав в том, что в начале 50-х годов народ, т. е. крестьянство, был не готов к выступлению против самодержавно-крепостнического государства. Катастрофической ошибкой было то, что он роковым образом переоценил степень этой неготовности.

Оторванный от идейной жизни столиц, отданный во власть часто случайных и искажавших историческую перспективу впечатлений каторги, Достоевский гиперболизировал царистские и религиозные настроения русского крестьянства, не смог предвидеть, что всего лишь несколько лет отделяют Россию от революционной ситуации.

Да, революционная ситуация на этот раз не разрешилась революцией, костры крестьянских бунтов и выступлений молодых разночинцев не слились в большое пламя всероссийского восстания, но возможность такого исхода была вполне реальной. Как указывает В. И. Ленин, «...самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной...».

Основным впечатлением Достоевского от острожных лет стало ощущение огромной пропасти между народом и образованной частью общества.

И с обычной своей невероятной страстностью Достоевский счел своим долгом разделить с народом все его верования, в том числе веру в «доброго царя» и религиозность. Он не понял, что именно эти черты крестьянского мировоззрения порождены его отсталостью, принадлежат прошлому и будут в процессе исторического развития изживаться. Ему они показались составной частью той «почвы», на которой должен укрепиться оторвавшийся от народа интеллигент.

В доброго царя, заступника мужика от дворянских притеснений, Достоевский заставил себя поверить и, в общем, придерживался этой веры до конца своих дней. С богом дело было сложнее.

И до сих пор еще можно встретиться с утверждением, что отступление писателя от социализма и революции шло одновременно с его приходом к религии. Однако это совсем не так.

Будущий писатель вырос в глубоко религиозной семье, один из первых его биографов Д. Аверкиев сообщал, что мальчик учился читать по книге «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета». А его соученик по инженерному училищу А. И. Савельев указывает: «Достоевский был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. У него можно было видеть и евангелие, и «Часы молитвы» Цшокке, и др. После лекций из закона божия о. Полуэктова Федор Михайлович еще долго беседовал со своим законоучителем. Все это настолько бро-

салось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием».

Ортодоксально верующим был Федор Михайлович и в годы первых литературных успехов. На отношении к религии и к Христу он разошелся с Белинским.

Но атеистическая проповедь великого критика не пропала даром. Именно в конце 40-х годов Достоевского начинают одолевать сомнения, которые так и не оставили его до смерти. Писатель не раз вспоминал о минутах, проведенных на эшафоте в ожидании смерти, и характерно, что во всех этих воспоминаниях нет и намека хоть на какой-нибудь отблеск религиозного чувства, которое, казалось бы, должно было проявиться у верующего человека в такой момент. Наоборот, Достоевский говорит о предстоящем растворении умершего в природе, о слиянии его с космосом. Это представляется свидетельством того, что даже в 1849 году у Достоевского не было веры в личное бессмертие. Вряд ли обрел он ее всерьез и позже.

Широко известно письмо Достоевского декабристке Фонвизиной, написанное в том же доме Ивановых тоже в феврале 1854 года, вскоре после выхода из Мертвого дома. В нем писатель так выражает свои взгляды: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных... Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью себе говорю, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

По этому поводу В. Б. Шкловский тонко замечает, что само противопоставление Христа истине — антирелигиозно.

В последние годы жизни в откровенном разговоре Достоевский назвал себя «деистом, философским деистом». Деизм — это мировоззрение первых французских просветителей, мировоззрение Вольтера и Руссо, мыслителей и писателей, которых Достоевский знал очень хорошо. Деизм допускал бога как первопричину мира, но отрицал мифы о божественном откровении и промысле, о существовании бога

как личности. Мне кажется, что Достоевский очень точно охарактеризовал сущность своих религиозно-философских воззрений. Религиозным фанатиком он не был ни в коей мере. Создавая в последние годы жизни туманную и реакционную утопию церкви, объединяющей человечество, писатель даже в этой слабейшей части своего мировоззрения был очень далек от православной ортодоксии. Известный реакционер, злой горбун Леонтьев язвительно указывал, что «праведники» Достоевского никогда не молятся, не участвуют в церковных обрядах. Не свою душу спасают они, а думают о спасении и счастье всего человечества.

В «учении Христа» Достоевскому дорога прежде всего этическая сторона. Христианская мораль смирения и сострадания, казалось писателю, может объединить отчужденных друг от друга людей, противодействовать тому процессу духовного разобщения, к которому неизбежно ведет развитие буржуазной цивилизации.

Ее лозунгам — «каждый за себя», «человек человеку волк» — Достоевский противопоставляет идеал христианского всечеловеческого братства кротких, красоту самопожертвования. Достоевский хватался за Христа потому, что перестал верить в революцию, социализм, разум.

Он писал Аполлону Майкову с берегов Иртыша: «Идеи меняются — сердце остается одно». Он хотел сказать, что как бы ни менялись его взгляды, сердце по-прежнему полно любовью к бедным людям, глубочайшим сочувствием к ним, страстным желанием облегчить их участь, привести к счастью.

Так оно и было: сердце Достоевского всегда оставалось сердцем великого гуманиста.

Но фраза непроизвольно получилась двусмысленной, и второй смысл ее был зловещим.

Сердце действительно оставалось одно. Оно отвергало разум, видело в нем, вчерашнем союзнике, врага, хитрого противника, который лишь обманно поманил картиной «золотого века» на земле — и предал, оставив сердце биться в бесконечной тоске и боли. Трагический парадокс заключается в том, что Достоевский, величайший художник-мыслитель, потрясающий нас невероятной глубиной и пронзительностью мысли, отрекался от разума, цепляясь за евангельскую заповедь о блаженстве нищих духом.

Он хотел верить в это, заставлял себя верить. Христос приходил на страницы его романа в облике обедневшего от-

прыска старинного княжеского рода, ничему, кроме каллиграфии, не учившегося, но наделенного сердцем такой доброты и кротости, которое делает его проницательнее и мудрее всех умников. Художник вложил в свое создание всю душу, и его князь Мышкин действительно прекрасен. Но Достоевский был гениальным реалистом и вопреки своему желанию вынужден был показать в «Идиоте» не торжество христианской морали, а ее бессилие и крушение в мире собственников. Мышкин не может спасти Настасью Филипповну, воплотившую красоту мира. Даже больше — он становится невольным виновником ее гибели. Нового Христа неизбежно ждет мрак безумия.

Достоевский упрямо доказывал себе, что он-то знает путь к счастью человечества, и строил карточные домики своей реакционной утопии, но сила его же собственного реализма каждый раз сметала их.

Не надо только думать, что эволюция мировоззрения писателя вела его к одним потерям. Наоборот, критическая сила его творчества во время этой эволюции выросла в огромной степени, ибо влияли на писателя не только реакционные идеи, но и — против его воли — ветер революционной практики, носившийся, не стихая, над Россией до самой смерти Федора Михайловича. Отвергая революцию, он не мог уйти от ее притяжения, подобно тому, как Луна не может преодолеть земного тяготения. Достоевский все прозорливее видел своего врага — мир собственников, все глубже проникал в его античеловеческую сущность, все яснее прозревал, куда ведет философия индивидуализма. Случай совершенно исключительный в истории мысли: Достоевский яростно и глубоко критикует фашистскую философию «сверхчеловека» задолго до того, как она была оформлена. Чуда здесь нет: «просто» Достоевский видит, что буржуазия идет к этой человеконенавистнической идеологии, не может не прийти к ней.

Союзниками писателя в этой критике могли стать только революционеры. Но, перестав верить в возможность революционного преобразования мира, Достоевский этих союзников потерял.

Впрочем, поздний Достоевский, последовательно отрицая революцию, к носителям революционных идей относится крайне непоследовательно. Наряду с грубыми выпадами против них и в сочинениях и в письмах его содержится много отзывов о русских революционерах прямо противоположных

по тону. Пользуясь своим положением редактора «Гражданина», Достоевский на страницах этого реакционного издания с уважением и сочувствием говорит о ссыльном Чернышевском, чье имя вообще было запретным в печати. В годы пребывания за границей писатель ближе, чем с кем-нибудь, сходится с революционным демократом, другом и соратником Герцена Огаревым. Многолетняя горячая дружба связывает его с русской героиней Парижской коммуны Анной Васильевной Корвин-Жакляр. Из записи Суворина известно, как, по замыслу Достоевского, должна была сложиться дальнейшая судьба его последнего «праведника» — Алеши Карамазова: «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили *. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...».

Лучшие люди эпохи были с революцией. А сердце Достоевского оставалось одно. Десятилетия ближайшим единомышленником писателю казался Николай Николаевич Страхов, поп без рясы, после смерти Достоевского грязно оклеветавший его. Людей же духовно наиболее близких новые взгляды писателя от него отодвигали. Чокан Валиханов, например, первый журнал братьев Достоевских читал и отозвался о его философии неодобрительно и иронично: «...я что-то плохо понимаю их *почву, народность*, то *славянофильством* пахнет, то западничеством крайним, примирения что-то не видать, или не удается им это примирение... Образование должно быть общечеловеческое. И оттенок народности оно получит само собою, под влиянием местности, под влиянием языка и нравов наших».

В последних фразах своего отзыва Валиханов очень осторожно — зная, что его адресат, Майков, видимо, разделяет в данном вопросе взгляд Достоевского,— критикует ту веру в мессианское предназначение русского народа, которая начала овладевать писателем еще в Семипалатинске и свидетельством которой служит письмо Федора Михайловича к тому же Аполлону Майкову: «Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? —

---

* По новейшим текстологическим исследованиям это слово в записи Суворина следует читать скорее «пытали» или «мучили».

да! Я всегда был истинно русский — говорю вам откровенно... Да! Разделяю с вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия».

Достоевский восхищается строками из «Клермонтского собора» своего друга-поэта, выражающего ту же мистическую веру в особую историческую миссию русского народа:

И, может быть, враги предвидят,
Что из России ледяной
Еще не виданное выйдет
Гигантов племя к ним грозой,
Гигантов — с ненасытной жаждой
Бессмертья, славы и добра,
Гигантов — как их мир однажды
Зрел в грозном образе Петра.

Прошли десятилетия, и русский пролетариат, возглавляемый партией большевиков, сыграл всемирно-историческую роль, показав трудящимся всех стран путь к подлинному освобождению... Но это произошло потому, что Россия угнетенных, вопреки стремлениям Достоевского, прошла путем революции и претворила в жизнь высочайшее достижение человеческого разума — научный социализм.

ГРОЗНОЕ ЧУВСТВО

В самом начале 1856 года произошли два события: Достоевский был произведен в унтер-офицеры; Врангель навсегда уехал из Семипалатинска. Первое из них, разумеется, обрадовало Федора Михайловича, однако переоценивать его было нельзя: унтер-офицерство имело значение лишь как шаг на пути к офицерскому чину, правового же положения Достоевского оно никак не меняло. Разлука же с другом, естественно, огорчила Федора Михайловича, но горечь смягчалась надеждой, что в Петербурге бывшему семипалатинскому прокурору, возможно, удастся через влиятельных знакомых как-то улучшить участь своего старшего товарища. Кроме того чувство Достоевского к Исаевой в это время настолько поглотило его, настолько измучило, что тут уже мало могло помочь чье бы то ни было дружеское утешение.

Вести из Кузнецка шли самые тревожные. Мария Дмитриевна устала от бесконечной борьбы с нищетой, теряла надежду, что ей удастся когда-нибудь соединить судьбу с Достоевским. Единственным выходом ей представлялось новое

замужество в Кузнецке. Она осторожно спрашивает совета у Достоевского, как ей поступить в случае, если будет к ней свататься пожилой обеспеченный человек.

Говоря о своем предполагаемом женихе, Исаева была намеренно неточна, но Федор Михайлович ей поверил и пришел в отчаянье, представив в качестве будущего мужа своей любимой этакого таежного медведя, богача, «который, может быть, про себя и побои считает законным делом в браке». «Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

Но создатель Девушкина совсем не походил на своего героя, и его «страшное, грозное чувство» ничем не напоминает безнадежного обожания Макара Алексеевича. Достоевский не собирается сдаваться: «Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается 2 года, слышите, 2 года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости». И он уверен: «Само собой разумеется, что, если б уладились дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому».

Через несколько месяцев Федор Михайлович убедился, что аналогии с ситуацией из «Бедных людей» в Кузнецке вообще нет: добрый, но предельно бесцветный уездный учитель Вергунов совершенно не походил на грубого и сильного «господина Быкова». Он был значительно моложе и духовно слабее Марии Дмитриевны. Не имелось у него и быковского богатства: брак с ним был бы для Исаевой лишь переходом от отчаянной нищеты к бедности, еле сводящей концы с концами.

Драма была в том, что Достоевский не мог предложить ей и этого.

И Федор Михайлович с невероятной энергией предпринимает новые решительные попытки «уладить» свои запутанные дела.

Некоторые надежды он возлагал на предстоящую амнистию, которой по традиции отмечалась коронация нового императора. Однако Достоевский на сей счет не особенно обольщался и оказался прав: Александр II решился вернуть из Сибири состарившихся на каторге и в ссылке декабристов, но «политических преступников» следующих поколений амнистия почти не коснулась. Предчувствуя это, Федор Михайлович решается на «обходной маневр».

С первым же письмом Врангелю в Петербург (тем самым, где он вспоминает финал «Бедных людей») Достоев-

ский отправляет и другое, адресованное герою Севастопольской обороны Эдуарду Ивановичу Тотлебену,— в те месяцы, пожалуй, самому популярному человеку в России.

То, что унтер-офицер непосредственно обращался к генерал-адъютанту, было серьезным дисциплинарным проступком, который в случае неблагоприятного исхода мог очень дорого обойтись Достоевскому.

Правда, Федор Михайлович был знаком с Тотлебеном, тоже учившимся в Главном инженерном училище, но знакомство это было давнее и неблизкое (Тотлебен кончил училище намного раньше), и Достоевский никак не мог знать, «в каких мыслях» сейчас находится прославленный генерал, приближенный к себе новым царем (на эту близость Федор Михайлович и возлагал надежды). Словом, он шел на немалый риск и понимал это: «Он теперь стоит так высоко, а я кто такой? Захочет ли вспомнить меня?»

Достоевский тщательно наставляет Врангеля, которому предстояло передать письмо: «Отправляйтесь к нему лично (надеюсь, что он в Петербурге) и отдайте ему письмо мое наедине. Вы по лицу его тотчас увидите, как он это принимает. Если дурно, то и делать нечего; в коротких словах объясните ему положение и, замолвив словечко, откланяйтесь и уйдите, попрося наперед у него на счет всего этого дела секрета. Он человек очень вежливый (несколько рыцарский характер), примет и отпустит вас очень вежливо, если даже и ничего не скажет удовлетворительного. Если же вы по лицу его увидите, что он займется мною и выскажет много участия и доброты, о! тогда будьте с ним совершенно откровенны; прямо, от сердца войдите в дело; расскажите ему обо мне и скажите ему, что его слово теперь много значит...».

К счастью, Эдуард Тотлебен был не только храбрым солдатом и талантливейшим инженером, но и действительно благородным человеком, и Врангель вскоре смог сообщить Достоевскому, что оправдалось второе его предположение и что его дело «на хорошей дороге».

Дорога, однако же, оказалась неблизкой, хотя слово Тотлебена в те дни на самом деле много значило.

Основной задачей, которую ставил перед собою Федор Михайлович, отправляя письмо в Петербург, было добиться разрешения выступать в печати. Он писал Тотлебену: «Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь позволение печатать.

...Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным...».

После ходатайства за ссыльного писателя на личной аудиенции у императора Тотлебен собственноручно записал царскую резолюцию: «Его величество приказать изволил написать представление в форме записки к г. военному министру, ходатайство о производстве Федора Достоевского в прапорщики в один из полков 2-й армии. Если же это признано будет неудобным, то с чином 14-го класса уволить его для определения к статским делам, в обоих случаях дозволить ему литературные занятия с правом печатания на узаконенных основаниях».

Это было именно то, чего добивался Достоевский. Но Александр II с иезуитством, достойным его отца, тут же ликвидировал свое разрешение, приказав установить за писателем тайный надзор до полного убеждения в его «благонадежности» и лишь тогда ходатайствовать о разрешении ему печатать свои труды. Это означало, что вопрос о печатании сочинений писателя откладывается на неопределенное время.

Вопрос же о производстве Достоевского в офицеры попал в громоздкий механизм бюрократической машины самодержавия и месяцы переползал с одного департаментского конвейера на другой.

Федор Михайлович Достоевский был живым человеком — умным, страстным, сильным, но отнюдь не маньяком. Беспокойство за судьбу своих хлопот о будущем, «грозное чувство» к Исаевой, где надежда чередовалась с отчаяньем, бесконечно волновали его, несли бессонные ночи. Но не нужно даже в эти исключительно тревожные месяцы представлять его угрюмо сосредоточенным на одном. И тогда у него бывали радостные или во всяком случае спокойные часы. По праздникам он бывал в гостях, даже танцевал (о чем семипалатинские дамы-сплетницы поспешили донести Исаевой; Исаева оскорбилась). Он поселился на одной квартире с образованным офицером А. И. Бахиревым, читал журналы, которые получал Бахирев. Писал, насколько позволяло время, набрасывая и «Записки из Мертвого дома», и теоретическую статью об искусстве, и роман.

Но, естественно, главными для Достоевского в те месяцы оказывались мысли о Марии Дмитриевне, опасения, что «гадость Кузнецкая ее замучает». Увидеть Исаеву, понять, как и чем она сейчас живет, стало необходимостью. И Федор

Михайлович вновь идет на весьма рискованный шаг. Направленный по служебной командировке в Барнаул, Достоевский самовольно приезжает в Кузнецк и после тринадцати месяцев разлуки встречается с любимой женщиной. Радости, однако, эта встреча не принесла. Вернувшись в Семипалатинск, Федор Михайлович так рассказывал о ней Врангелю:

«Я был там, добрый друг мой, я видел ее! Как это случилось, до сих пор понять не могу! У меня был вид на Барнаул, а в Кузнецк я рискнул, но был!.. Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провел два дня. В эти два дня она вспомнила прошлое, и ее сердце опять обратилось ко мне...

Она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не все еще решено; ты и я, и более никто!» ...К концу второго дня я уехал с полной надеждой. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие все же виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня!»

Трудно, конечно, теперь, через век, точно сказать, была ли эта, вторая, любовь. Автор книжки «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» приписывает вдове маленького чиновника чуть не демоническую страсть к «красавцу учителю». Л. Ф. Достоевская объясняет эту страсть «африканским происхождением» Исаевой, которую далее, увлекаясь, уже попросту называет «негритянкой». Но думается, что эти африканские страсти в алтайском уездном городишке не более чем миф. Учитель Вергунов был, по словам Врангеля, «личностью вполне бесцветной» и, если говорить только о чувствах, соперником Федору Михайловичу не являлся. Суть-то выражена в словах Достоевского «отсутствующие виноваты». Одинокой женщине просто не на кого было опереться в своей кузнецкой нищете.

Но вполне вероятно, что Мария Дмитриевна, воспитанная на романтических повестях Марлинского, невольно несколько «марлинизировала» положение и даже себе, не только Федору Михайловичу, внушила мысль о женском сердце, разрываемом чувством пополам,— трудно ведь даже себе признаться, что выбор всего будущего решается вопросом об обеспеченном куске хлеба. Во всяком случае, возможность брака с Вергуновым Марией Дмитриевной не исключалась, и это-то и страшило Достоевского — не только за себя, но и в еще большей степени за любимую женщину: «Ей 29 лет; она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей,

страдавшая, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастья, и она — готова выйти замуж теперь за юношу 24 лет, сибиряка, ничего не видевшего, чуть-чуть образованного... Как сойтись в жизни с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями?.. Будь он хоть разидеальный юноша, но он все-таки еще не крепкий человек. А он не только не идеальный, но... Все может быть впоследствии. Что если он оскорбит ее подлым упреком, что она рассчитывала на его молодость, что она хотела сладострастно заесть его век, и ей, ей, чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать! ...Что-нибудь подобное да случится непременно. ...Я написал письмо длинное ему и ей вместе. Я представил все, что может произойти от неравного брака. ...Она отвечала, горячо его защищая, как будто я на него нападал. А он истинно по-кузнецки и глупо принял себе за личность и за оскорбление — дружескую, братскую просьбу мою (ибо он сам просил у меня и дружбы и братства) подумать о том, чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему 24 года, а ей 29, у него нет денег, определенного в будущности и вечный Кузнецк».

Вергунов написал Федору Михайловичу «ответ ругательный». Несмотря на это Достоевский просит Врангеля («ради бога, ради света небесного») похлопотать об уездном учителе у Гасфорта (Александр Егорович собирался в Омск). «Хвалите его на чем свет стоит» — для того, чтобы выхлопотать ему более обеспеченное место.

Эту просьбу нужно оценить правильно, иначе мы не поймем Достоевского, выдумаем ему фантастический характер.

Достоевский тут вовсе не отрекается от своего чувства, не собирается отступать от борьбы за него, не жертвует собой ради соперника (которого он, вдобавок, не считает достойным любимой женщины). Но если все же выбор будет сделан не в его пользу, Федор Михайлович находит необходимым добиться для Марии Дмитриевны хотя бы материального благополучия: «Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь... Хоть бы в бедности она не была, вот что!»

Здесь нет юродства, нет всепрощения. С соперником Федор Михайлович целоваться не собирается, напротив, говорит о нем с еле сдерживаемой злостью. Но он не переносит обиды на женщину, которую любит.

Кроме перевода Вергунова Федор Михайлович хлопочет о выплате Марии Дмитриевне причитавшегося ей после смерти мужа, но почему-то задержанного единовременного пособия в 285 рублей серебром: «Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страдание». Достоевский боится, «чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж», так как после нового замужества Исаева лишилась бы права на пособие.

Но после свидания в Кузнецке Мария Дмитриевна решила не спешить с выбором будущего. К этому времени ее положение несколько улучшилось: в семье окружного исправника Ивана Мироновича Катанаева она нашла людей, искренне к ней расположенных и готовых поддержать. Теперь она уже не так остро чувствовала свое одиночество в алтайском городке.

А в Семипалатинск 5 августа прибыл магистр ботаники Петр Семенов, молодой петербургский ученый, отправлявшийся в большое путешествие к неизведанным «Небесным горам» и берегам Иссык-Куля. В городе на Иртыше ему предстояло пробыть только сутки. Он представился губернатору, потом адъютант губернатора Василий Демчинский отвел его на свою квартиру. Пройдя в комнату хозяина, магистр ботаники увидел ожидавшего его худого человека в мундире унтер-офицера. Лицо его показалось Семенову странно знакомым. Секунду он простоял, не веря своим глазам, потом бросился к унтер-офицеру и обнял его.

Достоевский и Семенов были знакомы с молодых лет. Позже они встречались и у Петрашевского, хотя молодой ученый и не был активным участником общества. Особой близости, однако, между ними раньше не было, но встреча в Семипалатинске вышла неожиданно горячей. Психологически это понятно: для Федора Михайловича Семенов был первым знакомым из столицы, увиденным за семь лет, а магистр ботаники ничего не знал о судьбе автора «Бедных людей» после Семеновского плаца, и для него Достоевский словно воскрес из мертвых. Эта встреча превратила хороших знакомых в близких друзей.

Остаток вечера прошел в торопливых, сбивчивых и все же крайне интересных для обоих разговорах. Семенов расспрашивал Федора Михайловича о годах каторги и солдатчины, о его планах и надеждах. Достоевский рассказывал о пережитом с полной откровенностью, упомянул, что на-

брасывает книгу об остроге, хотя и плохо верит, что она сможет в ближайшие годы стать достоянием публики. Сказал, что положение свое здесь считает вполне сносным, благодаря хорошему отношению к нему областного начальства, и надеется, что скоро оно еще более улучшится. Недоверчиво качал головой, слушая повествование столичного гостя об оживлении общественной жизни, о том, что крупные государственные реформы образованная часть русского общества в создавшихся после военного поражения условиях находит неизбежными. Трудно было поверить в это человеку, вырванному из большой жизни семь лет назад, в ледниковый период николаевского режима.

Семенов сказал, что зиму он, по-видимому, проведет в Барнауле, который он считал наиболее интеллигентным из всех сибирских городов, аттестуя как «сибирские Афины». Достоевский, подумав, заявил, что он, пожалуй, сможет зимой выбраться в Барнаул. Договорились встретиться.

Назавтра Достоевский и Демчинский провожали путешественника. Переправа через Иртыш летом долгая. Переплыв через старое русло, они стояли в ожидании лодок на Полковничьем острове под лучами утреннего августовского солнца. Трое приятелей, сблизившихся за последний день. Трое людей, ничего не знающих о своем будущем. О том, как разнится оно.

Первый войдет в судьбу человечества как великий его художник, чьи произведения бессмертны.

Второй проживет долгую, очень долгую жизнь. К фамилии его прибавится другая — «Тян-Шанский»,— по имени исследованных им гор. Он станет замечательным организатором научных сил, и страна сохранит о нем память как о человеке мудром и мужественном.

А третий... Пройдет немного лет, и наденет милейший Василий Демчинский жандармский мундир и будет сопровождать партии «политических преступников» в сибирскую каторгу, удивляя и ко всему привычный конвой изощренностью своих издевательств над беззащитными людьми. А потом сопьется, пойдет нищенствовать, и будет Семенов доставать для него грошовую службу на глухом полустанке где-то между Воронежем и Козловом. И останется от него в людской памяти слабый-слабый след только потому, что стоит он вот сейчас, смеясь и оживленно разговаривая, под нежарким солнцем августовского утра рядом с Достоевским и Семеновым.

Подходят лодки к Полковничьему острову...

Как ни медленно скрипела бюрократическая машина Российской империи, но 30 октября Гасфорт получил из Петербурга «высочайший приказ», коим Федор Достоевский производился в прапорщики.

Через несколько дней узнали об этом и в Семипалатинске.

Радость Федора Михайловича была неполной, потому что он не знал, разрешено ли ему печататься. Он справедливо предполагал худшее и горько сетовал в письме к Врангелю: «Ведь это средство к существованию моему и карьере, потому что я уверен в себе и надеюсь быть известным и составить себе значение, участь, обратить на себя внимание, наконец». Без этого он видит единственный смысл производства в том, что оно делает возможным брак с Исаевой: «Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть ее». И буквально через две недели он отправляется в Кузнецк — на этот раз уже с официального разрешения.

Здесь было новое и решительное объяснение с Марией Дмитриевной, объяснение с Вергуновым, которого Федор Михайлович, вернувшись домой, всячески расхвалил в письме к Врангелю, хотя превозносить его, собственно, было не за что: молодому учителю ничего другого не оставалось, как потихоньку стушеваться.

Все было решено. Дело оставалось за малым — за деньгами. Их же совсем не было ни у Исаевой ни у Федора Михайловича. Ему не на что было экипироваться после производства в офицеры, выручил вечный Врангель, приславший каску, полусаблю и офицерский шарф.

Нехватка денег преследовала Достоевского всю жизнь. Но, вероятно, никогда он так остро не ощущал ее, как в декабре пятьдесят шестого года. Однако Федор Михайлович жил в эти дни на таком душевном подъеме, что препятствий для него не существовало. В Семипалатинске ему удается занять весьма солидную сумму в шестьсот рублей серебром у горного инженера Ковригина, исследователя недр Баян-Аула и Каркаралов, спутника Чокана в путешествии 1856 года. Но и этих денег едва могло хватить на дорогу в оба конца, оплату свадебных обрядов да на возвращение долгов Марии Дмитриевны. А требовалась и квартира, и одежда, и хотя бы самая скромная меблировка. Приходилось просить у родственников. В основном Федор Михайлович рассчитывал на

Куманиных — свою тетку и ее мужа, людей весьма состоятельных.

Впрочем, и Михаил Михайлович и старшие сестры Достоевского к бедноте тоже никак не могли быть причислены. Но уж чем дети штаб-лекаря, получившего потомственное дворянство, никогда не отличались, так это дворянским пороком расточительства. Бережливы они были по-мещански, вели счет каждой копейке, порой теряя на этом рубли. По своей социальной психологии эти дворяне во втором поколении были стопроцентными российскими мещанами. Мещанином по своему внутреннему складу был и их великий брат. Об этом хорошо сказала его современница Е. А. Штакеншнейдер, знавшая писателя в зените славы: «Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского, не пошлого, нет, пошлым он никогда не бывает, и пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель».

Творческий гений охранял мещанина Федора Достоевского от мещанских пороков. Накопительство было ему органически чуждо и избавлялся от денег он настолько же легко, насколько трудно они ему доставались. Но братья и сестры Федора Михайловича гениальными не были.

Ведь в конце концов и убило-то Достоевского или уж, во всяком случае, ускорило его смерть именно мещанское скопидомство его родни — спор с сестрой Верой относительно раздела теткиного наследства. А Вера Михайловна была вполне обеспеченным человеком и любимой сестрой Достоевского. Но таков уж вечный закон мещанской психологии: когда на сцену выступает копейка, все чувства уходят за кулисы.

Если же говорить о мещанской морали, то с ее точки зрения одним из наиболее безнравственных поступков издавна считалась женитьба бедного мужчины на бедной женщине, т. е. то, что собирался совершить Федор Михайлович. Тетушка Куманина выразилась по этому поводу наиболее прямо: «Сам только что вышел из несчастья беспримерного, не обеспечен и тянет в свое горе другое существо, да и себя связывает вдвое, втрое». Михаил же Михайлович как человек образованный говорил это же тоньше. Он писал брату: «Я даже отговаривать тебя не стану, потому что сам был влюблен, потому что сам задумал жениться и меня тоже все

взапуски отговаривали, а я все-таки женился. Разве можно отговаривать? Это, по-моему, преступление».

Он не отговаривает, он опасается: «Я боюсь за тебя, мой милый. Я боюсь за тот путь, на который ты вступаешь, путь самых мелких прозаических забот, грошовых треволнений, одним словом, за эту мелкую монету жизни, на которую ты размениваешь свои червонцы». И заканчивает свою братолюбивую тираду софистикой, достойной такого мастера житейского оппортунизма, каким он был: «Я никогда не раскаивался в своей женитьбе, много в ней радости было у меня, много радостей от детей, но, если б мне приходилось переделывать свою жизнь, право, я бы переделал ее».

Михаил Михайлович мерил великого брата своим аршином — и грубо ошибался. Свои «червонцы» Достоевский разменивать не хотел, да и не мог.

И все-таки, испытав все виды психологического давления — от грубого до нежного,— родственники Федора Михайловича вынуждены были примириться с его решением. Поняли: судьбу свою он строит сам и пытаться ему противодействовать бесполезно.

Нужные деньги были высланы в Семипалатинск.

* * *

«Командира 7-го Сибирского линейного батальона № 167 1 февраля 1857 г. Семипалатинск. Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви священно-церковнослужителям.

Прапорщик вверенного мне батальона Достоевский сговорил за себя в законное супружество проживающую в г. Кузнецке жену умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева Марию Дмитриевну, имеющую от роду 29 лет; почему покорнейше прошу священно-церковнослужителей, ежели со стороны невесты не будет предстоять законных препятствий, то г. Достоевского свенчать, от роду он имеет 34 года, холост, как он, так и невеста, вероисповедания православного, г. Достоевский у исповеди и св. причастии ежегодно бывал, при чем прилагаю подписку невесты и свидетельство о смерти мужа ея,— по свенчании же не оставить меня уведомить.

Подполковник Г. Белихов».

На пути в Кузнецк Федор Михайлович остановился в Барнауле у Семенова. Находился он, как свидетельствует

ученый, в самом лучшем расположении духа и был проникнут твердой верой в счастливое будущее.

Эта встреча знаменательна тем, что во время ее Достоевский впервые «опробовал» на слушателе начатые им «Записки из Мертвого дома». Семенов был потрясен силой и правдой нарисованных его другом картин каторги, психологической глубиной выведенных автором характеров. Петр Петрович любил первые повести Достоевского, но сразу почувствовал, что в новом своем создании писатель поднялся на более высокую ступень искусства.

Из Барнаула через станции Повялихинскую, Богатскую, Карайгалинскую Федор Михайлович помчался в Кузнецк.

* * *

«Обыск брачный № 17.

1857-го года февраля 6-го дня. По Указу Его Императорского Величества Одигитриевской церкви священно- и церковнослужители произвели обыск о желающих вступить в брак и оказалось следующее:

1) Жених. Служащий в Сибирском линейном батальоне № 7 прапорщик Федор Михайлович Достоевский, православного вероисповедания, жительствует в Семипалатинске в приходе Богородской церкви.

2) Невеста. Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя, служащего по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедования, жительствовала доныне в г. Кузнецке в приходе Одигитриевской церкви.

3) Возраст к супружеству имеют совершенный и именно — жених тридцати четырех лет, а невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме.

4) Родства между ними духовного или плотского родства и свойства, возбраняющего по установлениям св. церкви брак, никакого нет.

5) Жених холост, а невеста вдова после первого брака.

6) К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению, как жених, так и невеста родителей в живых не имеют.

7) По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви, препятствий к сему браку никакого никем не объявлено.

8) Для удовлетворения беспрепятственности сего брака

представляются письменные документы: дозволение жениху от командира Сибирского линейного батальона № 7 от 1 февраля сего года за № 167-м.

9) Посему, бракосочетание означенных лиц предложено совершить в вышеупомянутой Одигитриевской церкви сего месяца 6 дня в указанное время, при посторонних свидетелях.

10) Что все показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют своею подписью как они сами, так и по каждом поручатели, с тем, что если что окажется ложным, то подписавшие повинны за то суду по правилам церковным и законам гражданским.

Жених, служащий в Сибирском линейном № 7 батальоне прапорщик Федор Михайлович Достоевский.

Невеста, вдова коллежского секретаря Мария Дмитриевна Исаева.

Поручатель по невесте коллежский асессор Иван Миронов Катанаев.

Поручатель по женихе чиновник таможенного ведомства Петр Сапожников.

Поручатель по женихе чиновник Кузнецкого училища учитель Николай Вергунов.

По невесте поручатель волости Нелюбинской государственный крестьянин Михаил Дмитриев Дмитриев же.

Обыск производили сей же церкви:

Священник Евгений Тюменцев.

Диакон Петр Лашков.

Дьячок Петр Углянский.

Пономарь Иван Слободский».

В список «поручателей» попали чуть не все немногочисленные кузнецкие знакомые Исаевой, в том числе и неудачливый соперник Федора Михайловича Вергунов.

Заботы по устройству свадьбы взяла на себя жена исправника Анна Николаевна Катанаева, очень расположенная к Марии Дмитриевне. Благодаря ее хлопотам (да и не только хлопотам — Анна Николаевна приняла на себя и значительную часть расходов) церемония получилась весьма пышной. В церковь собрался чуть не весь Кузнецк, а праздничный стол отличался исключительным изобилием даже по масштабам сибирского хлебосольства.

Короткие дни, проведенные молодоженами в Кузнецке до отъезда, принадлежат к немногим безоблачно светлым в жизни Достоевского. Федор Михайлович был спокойно счастлив, угрюмость и хмурость его словно испарились; кузнец-

кое «общество» было им очаровано. Он постоянно бывал с женой на вечерах, много танцевал (танцором он был превосходным), шутил, охотно играл в карты по маленькой. Днем возился с Пашей Исаевым, который заметно подрос и превратился в изрядного озорника. Много гулял с Марией Дмитриевной по городским улицам, накинув военный плащ, и никак не мог с ней наговориться.

На обратном пути было решено погостить у Семенова. В дороге Федор Михайлович рассказывал жене о своем друге, о старожилах Барнаула, с которыми успел познакомиться, обещал сводить в театр, где ставились недурные любительские спектакли — на них блистали горные инженеры Самойловы, братья знаменитой актрисы Александринки.

Но в жизни писателя за светлым всегда шло черное.

Праздник кончился в Кузнецке. В Барнауле стало не до театра.

Там Достоевского свалил сильнейший припадок. Несколько дней после него Федор Михайлович находился в почти полной прострации. Врач констатировал несомненную эпилепсию, сказал, что припадки, безусловно, повторятся, и если не будет предпринято самое энергичное лечение, то один из них может кончиться смертью больного от горловой спазмы. И тут же добавил, что в Сибири о сколько-нибудь эффективном лечении не может быть и речи.

Испуганная и подавленная Мария Дмитриевна не отходила от постели больного мужа. Уехали в Семипалатинск тотчас же, как только Федор Михайлович смог встать.

ЗАБОТЫ СЕГОДНЯШНИЕ И ЗАВТРАШНИЕ

Некоторые биографы Достоевского именно этому злосчастному припадку приписывали чуть ли не роковое значение, им объясняли то, что брак писателя, которого он с таким железным упорством добивался, очень скоро оказался несчастливым. Дескать, Мария Дмитриевна была настолько напугана болезнью мужа, что испуг убил в ней всякое чувство к нему, и от супружества она уже не ждала ничего хорошего. Порой к этому прибавляется и такой, весьма романтический, мотив: Достоевский, мол, узнав, как тяжко он болен, сознательно решил отдалить жену от себя, чтобы его возможная смерть не принесла ей особенной боли.

Эти версии не учитывают того хорошо известного каче-

ства человеческой натуры, которое Федор Михайлович называл приживчивостью, того здорового инстинкта жизни, что не позволяет человеку сосредоточивать внимания на несчастьях и болезнях, если они не угрожают немедленной смертью. Духовная травма, несомненно, перенесенная Достоевским после припадка, скоро более или менее зарубцевалась, да и здоровье — особенно после двухмесячного отдыха в форпосте Озерном, недалеко от Семипалатинска — значительно окрепло. Надо сказать, что со временем Федор Михайлович научился смотреть на свою неизлечимую болезнь, как на неизбежное зло, на которое нужно по возможности не обращать внимания. В отличие от многих эпилептиков он не стыдился болезни, не скрывал ее, но и не носился с ней. Каждый припадок причинял ему страшные страдания, на несколько дней выводил из рабочего состояния, но, когда болезнь отступала, Достоевский, сильный человек, умел заставить себя забыть о ней до следующего приступа.

Нет у нас и никаких оснований думать, что Мария Дмитриевна приняла болезнь мужа чересчур трагически. Конечно, в Барнауле она была потрясена, однако это вовсе не зачеркнуло ее любовь. На будущее она смотрела отнюдь не безнадежным взглядом. Об этом лучше всего свидетельствует ее письмо сестре В. Д. Констант, написанное вскоре после приезда в Семипалатинск: «Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем,— даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трын-травою. Столько я получила подарков, и все один другого лучше». Можно сомневаться в искренности «приветливости» родных Федора Михайловича, так противившихся его браку, но что Мария Дмитриевна пишет искренне — это, видимо, несомненно.

Но тем не менее факт остается фактом — размолвки и разлад в семейной жизни молодоженов начались весьма скоро и так никогда и не сгладились. Уже через несколько месяцев Достоевский пишет той же В. Д. Констант очень мрачные строки: «Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть. Такие предчувствия бывают почти всегда от мнительности; но уверяю Вас, что я в этом случае совершенно не мнителен и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться».

Странно, что никто, кажется, из писавших о первом браке Достоевского, не указал на истинные причины того, почему он оказался неудачным. Федор Михайлович — и в этом-то, может быть, ярче всего проявились те его мещанские черты, всосанные с материнским молоком, о которых говорила Штакеншнейдер и которые в сфере мысли и творчества совершенно подавлялись глубиной его гения,— равенства в семье не признавал. Рыцарское преклонение перед любимой женщиной парадоксально сочеталось у Достоевского с требованием безусловного духовного подчинения женщины ему, даже растворения, так сказать, ее личности в нем. В многочисленных своих позднейших выпадах против женской «эмансипации», духовной самостоятельности женщины писатель теряет даже остроумие, которое вообще-то отличает его полемическую борьбу против враждебных ему взглядов даже когда он явно несправедлив.

Ведь второе супружество Федора Михайловича потому и оказалось счастливым, что Анна Григорьевна Сниткина очень охотно «растворилась» в заботах о муже и семье, от всяких самостоятельных взглядов начисто отказалась и в конце концов, по чьему-то остроумному замечанию, «превратилась в контору по изданию сочинений Достоевского».

Когда же Федор Михайлович встречал женщину иного душевного склада, происходила драма. Так позже было с Аполлинарией Сусловой, так было и с Исаевой.

Мария Дмитриевна к «кроткому» типу никак не относилась. Она и по характеру была человеком сильным, гордым, а тяжелая жизнь приучила ее особенно и даже навязчиво подчеркивать свою самостоятельность. «Растворяться» даже в человеке, которого она искренне любила, она не могла. И когда Достоевский убедился в этом, он наглухо отгородил ее от главного в себе — от своей духовной, творческой жизни.

Будь Мария Дмитриевна просто недалекой и малообразованной провинциалкой (образ, создавшийся в воображении второй жены Достоевского), она бы просто не заметила этого. Будь ее духовный мир хоть как-то сомасштабен интеллекту писателя, может быть, ей хватило бы силы войти в грандиозный творческий мир писателя. Этого не произошло. И в то же время Мария Дмитриевна была достаточно умна, чтобы понимать, что мир этот огромен, что для ее мужа он главный и что ей входа в него нет. И здесь источник муче-

ний Марии Дмитриевны, порой страшно ожесточавших ее против мужа.

И все-таки после смерти Марии Дмитриевны он вспоминал о ней с пронзительной болью, горчайшим сожалением о том, что так страшно исковеркало себя сильное и глубокое чувство: «Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры,— пишет Достоевский старому другу Врангелю,— жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чахотки. О друг мой, она любила меня беспредельно, и я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе... мы не могли перестать любить друг друга: даже, чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу... Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что́ хороню с нею,— но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею».

Однако далеко пока до этого трагического письма.

Как бы ни отличалась реальная семейная жизнь Федора Михайловича от той идеальной, которую он представлял себе до женитьбы, быт его все же вошел в определенную и с течением времени устоявшуюся колею. Сравнительно спокойный «темпоритм» последних семипалатинских лет Достоевского заметно отличается от судорожного первых. Эти годы почти лишены внешних драматических моментов. Писатель наконец получает возможность отдавать свои силы преимущественно главному делу жизни — литературному творчеству.

Молодожены сняли под квартиру второй этаж небольшого дома почтальона Липухина на Крепостной улице. В трех очень скромно меблированных комнатах Достоевский теперь проводил почти все свободные от службы часы. Внизу кроме хозяев жил денщик прапорщика Достоевского Василий, немолодой и рассудительный человек, которого Федор Михайлович полюбил и который сам очень привязался к писателю.

Хорошие отношения установились у Достоевских и с хозяевами дома. Вскоре Липухин помог Федору Михайловичу и Марии Дмитриевне в одном немаловажном деле. Нужно было определить на учение Пашу Исаева, который рос мальчиком добрым, неглупым, привязчивым, но довольно распущенным: отчим с тревогой видел в нем задатки

безалаберности, искорежившей жизнь Александра Ивановича. В Кузнецке ребенок почти не учился, негде ему было получить образование и в Семипалатинске. Достоевский решил поместить Пашу в Омский кадетский корпус — в те годы действительно едва ли не лучшее учебное заведение в Сибири. Достоевский был знаком с инспектором корпуса Ждан-Пушкиным, помогавшим писателю еще в острожный его период. Ждан-Пушкин знавал и Александра Исаева, и хлопоты об определении Паши увенчались успехом. Но мальчика надо было еще доставить в Омск. За это и взялся охотно семипалатинский почтальон, часто ездивший в центр края. Перед одной из его служебных поездок мать и отчим простились с Пашей.

Федор Михайлович рассчитывал, что его пребывание в Сибири теперь не задержится, и вроде бы имел на это основание: летом 1857 года ему были возвращены дворянские права. Об этом знали люди, интересовавшиеся судьбой писателя-изгнанника. Герцен сообщал из Лондона Н. М. Щепкину, сыну великого актера: «Спешнев и Достоевский прощены». Но и «прощенный» Федор Михайлович пока не имеет еще права оставить службу, покинуть Сибирь. Надежда вновь — в который уже раз — сменяется разочарованием, и Достоевский подумывает о том, не начать ли искать в здешних краях какую-нибудь доходную частную службу — например, у золотопромышленников.

Бедность продолжалась. Федор Михайлович благодарит брата Михаила за присланные фрак и брюки, но жалеет, что прислан фрак, а не сюртук — сюртук практичнее, он необходим, а денег на то, чтобы сшить его в Семипалатинске, сразу не наберешь. Писатель надеется на будущие литературные заработки («Я могу заработать без труда большого несравненно больше шестисот рублей в год»), но вопрос о разрешении печататься все еще не совсем ясен. Правда, в августовской книжке «Отечественных записок» за 1857 год появляется неожиданно для автора его «Детская сказка», написанная восемь лет назад в Алексеевском равелине и тогда же переданная Краевскому. Но появилась она под измененным названием «Маленький герой» и подписана псевдонимом «М-ий». И вовсе не сочувствие к так много перенесшему писателю заставило издателя-коммерсанта Краевского опубликовать этот рассказ при первой возможности: просто он помнит, что Достоевский с докаторжных времен должен ему некоторую сумму, и долга списывать не собирается.

Кстати, Федор Михайлович свою работу на Краевского с полным основанием на то называл тоже каторжной. Вечно нуждавшийся молодой писатель не вылезал из долгов у умелого «журнального предпринимателя».

Бедняк Достоевский, не имевший возможности сшить сюртук, был человеком, всегда готовым помочь еще более нуждающимся. Несколько месяцев он содержал семью слепого старика-татарина, впавшего в нищету, оказывал денежную помощь ссыльному поляку Нововейскому.

Продолжалась и служба — теперь ни для чего не нужная, только отнимавшая драгоценное время. А им Достоевский страшно дорожил. Назначая какое-нибудь свидание, он всегда точно указывал часы и минуты встречи и неизменно прибавлял: «Ни раньше, ни позже» и сам с педантичной аккуратностью выполнял это условие. С подчиненными, которые еще недавно были его сотоварищами, прапорщик был предельно мягок, всячески избегал малейших конфликтов с солдатами, охотно уступал им, если даже был прав.

Часть своего досуга Федор Михайлович посвящал археологии и собрал целую коллекцию древних монет, украшений и утвари. Составлял он и минералогическую коллекцию.

Разъезжались из Семипалатинска старые знакомые. Приезжали новые люди, но с ними Федор Михайлович, поглощенный творческой работой, сходился мало. Дружеские отношения у него возникли лишь с новым ротным командиром Артемием Гейбовичем, человеком благородным и образованным.

Зато настоящим праздником бывал приезд старых друзей — Семенова и Валиханова. «Министр ботаники», как называли Петра Петровича сопровождавшие его казаки, из своих экспедиций к Иссык-Кулю вынес смелый замысел проникнуть в таинственную, много веков закрытую для европейцев Кашгарию. Единственным человеком, который мог осуществить этот дерзкий план — в этом Семенов не сомневался,— был Чокан Валиханов. Талант молодого путешественника был уже оценен по достоинству: в феврале 1857 года по рекомендации Семенова двадцатидвухлетнего поручика «султана Валиханова» заочно избирают действительным членом двенадцать лет назад созданного Русского географического общества. В том же году Чокан останавливался в Семипалатинске перед новой своей поездкой к «дикокаменным киргизам» — прологом его кашгарского рейда, одного

из самых дерзостных предприятий мировой географической науки XIX века.

Значение этой экспедиции придавалось исключительное. С ее планом сочли необходимым познакомить императора. Для того чтобы собрать торговый караван, с которым мог бы незаметно пройти офицер-ученый, в Семипалатинск специально поехал товарищ (т. е. по нашей терминологии — заместитель) губернатора области Сибирских киргизов К. К. Гутковский — человек, не просто ценивший Чокана, подобно Гасфорту, но и дружески любивший его.

Знал ли Достоевский о замысле Кашгарской экспедиции? Трудно точно ответить на этот вопрос. Зиму 1857—1858 гг. Валиханов провел в Семиречье и сам рассказывать о своих планах Федору Михайловичу не мог. Официально же они, естественно, хранились в большом секрете. Однако с пятьдесят пятого года Федор Михайлович бывал в татарской слободке в доме купца Букаша Аупаева. А Букаш и был владельцем каравана, который сопровождал «Алимбай» — Чокан Валиханов. Букаш отлично знал «секрет каравана» и, как было сказано в официальных документах, лишь по «старости лет» сам не возглавлял его. Вполне возможно, что, провожая из Семипалатинска этот караван, Федор Михайлович думал и беспокоился о своем молодом друге.

Если это было так, то сердце не обманывало Достоевского. Начало Кашгарской экспедиции Чокана было сумбурным и тревожным. Валиханов попал в сложное положение. Он должен был ожидать караван на берегу Аксу в юрте некоего Гирея, знавшего об его планах. Но шли дни и недели, а караван не появлялся — сборы в Семипалатинске затянулись. Оставаться у Гирея более было невозможно. Вернуться в Семипалатинск Чокан не мог — у него не было ни документов, ни форменной одежды, для него одинаково опасной могла оказаться встреча и с казачьим пикетом, который задержал бы его как бродягу и тем нарушил бы конспирацию, и со степными разбойниками, которых было довольно много в пограничной зоне. Из юрты Гирея Валиханов пишет письмо, где есть слова: «Сегодня я исчезаю»,— и после этого действительно исчезает на двадцать четыре дня, в полном одиночестве скрываясь в скалах, не решаясь развести огня, голодая — и так до тех пор, пока не показался все-таки вдали этот долгожданный караван!..

Два последних семипалатинских года были для Достоевского временем напряженной подготовки к окончательному возвращению в литературу. Это возвращение помимо всех прочих причин было нелегким и потому, что оборвались связи писателя со столичными редакциями и восстанавливать их было непросто. «Не знаю куда послать. Редакции журналов теперь для меня большей частью не знакомы»,— пишет он Евгению Якушкину.

Это не очень точно. Людей, которые стояли во главе двух крупнейших журналов того времени — «Современника» и «Отечественных записок»,— Федор Михайлович знал хорошо. Но к Краевскому, на которого он работал до ареста, возвращаться страшно не хотелось: «журнальная каторга» была свежа в памяти Достоевского. А в возможность сотрудничества в «Современнике» он не особенно верил, потому что между ним и людьми «Современника», прежними соратниками Белинского, лежала пропасть разрыва.

Федор Михайлович присматривался к московскому «Русскому вестнику», который будущий вождь реакции Катков начал весьма либерально (репутацию журнала составили в первую очередь «Губернские очерки» Щедрина). По просьбе Достоевского его товарищ по обществу Петрашевского Плещеев из Оренбурга пишет о нем Каткову, которого поэт лично знает. Завязываются переговоры. Но еще до их окончания Достоевский получает через Михаила Михайловича предложение от некоего Моллера, доверенного лица богача и литератора-дилетанта графа Кушелева-Безбородко, собравшегося с пятьдесят девятого года издавать журнал «Русское слово». Достоевский запродал «на корню» Моллеру одну из своих будущих вещей, получив скромную полистную оплату,— вчетверо меньше той, которую получал Тургенев. Опять начиналось беличье колесо редакционных авансов и долгов журналам...

Что же мог предложить столичным редакциям писатель, почти на десять лет вычеркнутый из литературной жизни?

В Семипалатинске работа Достоевского над «Записками из Мертвого дома» уже вышла из первоначальной стадии фиксации материала и предварительных набросков. П. П. Семенову писатель читал уже законченные главы и пересказывал содержание ненаписанных. И естественно, что в первую очередь просилось на бумагу именно увиденное, пережитое и передуманное на каторге. Но было ясно, что прорваться в печать с таким произведением литератору, которому

только что «возвратили имя»,— дело безнадежное, и Федор Михайлович на время откладывает «Мертвый дом». В письмах своим корреспондентам он упоминает о романе, «величиною с Диккенсовы романы», над которым он работает. «Это длинный роман, приключения одного лица, имеющие между собой цельную, общую связь, а между тем состоящие из совершенно отдельных друг от друга и законченных само по себе эпизодов. Каждый эпизод составляет часть. Так что я, например, очень могу помещать по эпизоду, и это составит отдельное приключение или повесть. ...Роман состоит из 3-х книг, каждая листов в 20 печатных и из нескольких частей». Именно о публикации этого романа сначала и шла речь в переговорах с Катковым.

Но постепенно Достоевский оставляет и этот замысел. Причин он называет две: не хочется торопливой работой портить хороший план и не хватает знания деталей современной жизни России — их на берегах Иртыша не получишь. От этого романа не осталось вроде бы никаких следов, однако вполне возможно, что его части вошли в другие произведения писателя, в частности, может быть, и «Дядюшкин сон», и «Село Степанчиково» представляют собой его фрагменты, «отдельные приключения» (в конце «Дядюшкина сна», например, говорится, что повесть является «первым отделом» «летописи»).

Во всяком случае, в скором времени Достоевскому становится ясен план двух повестей — «листов в 5 печатных» («Дядюшкин сон») и «длинной повести» или «небольшого романа» («Село Степанчиково»). Обе они были завершены на Иртыше.

ХРОНИКА ГОРОДА МОРДАСОВА

Начат «Дядюшкин сон» был еще в 1856 году, если не в конце 1855-го. Во всяком случае уже в январе пятьдесят шестого Федор Михайлович писал А. Майкову: «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц, и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно, для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни».

Вряд ли можно сомневаться, что речь идет о будущем

«Дядюшкином сне»: именно эта повесть носит совершенно явные следы «драматургического происхождения» — действие здесь движет диалог и пространные монологи героев, а повествовательные куски произведения являются совершенно незамаскированными ремарками: «Десять часов утра. Мы в доме Марии Александровны, на большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном... В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет» и т. д.

Некоторых исследователей, правда, приводило в смущение замечание Федора Михайловича, что герой повести, т. е. князь К., ему «несколько сродни». Но в этом комическом образе Достоевский действительно сатирически гиперболизировал некоторые черты своего характера. Для Л. Ф. Достоевской несомненно, что в князе ее отец «изобразил себя» (это преувеличено: «изобразил себя» и «несколько сродни» — вещи разные), а А. Г. Достоевская свидетельствует: «Федор Михайлович принимал на себя роль «молодящегося старичка». Он мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя из «Дядюшкина сна».

Затем повесть была на долгое время оставлена, завершает ее писатель в конце 1858 года, уже определенно предназначая для «Русского слова».

И в это время автор был не очень доволен своим созданием, находя, что оно намного хуже «Села Степанчикова», позднейшие же отзывы о «Дядюшкином сне» просто убийственны. В 70-х годах он пишет: «15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры... А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности».

Эта самооценка «Дядюшкина сна» безусловно несправедлива. Конечно, по сравнению с «Преступлением и наказанием», «Идиотом» и «Бесами» эта повесть могла казаться писателю «невинной». Но только — по сравнению. Сам же по себе «Дядюшкин сон» отнюдь не отличается «голубиным незлобием». Повесть действительно начинается иронической, но сравнительно добродушной характеристикой провинциального «света» и его «львиц», однако с каждой страницей смех автора становится все более жестким и горьким,

добродушие окончательно покидает его, и наконец внезапная смерть князя К., жалкого маразматика, буквально растерзанного «львицами», решительно превращает «комический роман» в трагический фарс. Маяковский, кстати, очень внимательно читавший Достоевского, одну свою незаконченную пьесу назвал «Комедией с убийством». Такой «комедией с убийством» является и «Дядюшкин сон».

До ареста Достоевскому нигде не доводилось наблюдать русский провинциальный «свет», и совершенно очевидно, что бытовой материал для повести писателю дала «светская жизнь» Семипалатинска. В городе на Иртыше он светских сплетниц, одно время усиленно травивших М. Д. Исаеву, узнал очень хорошо. Но «Дядюшкин сон» — это не просто «картины провинциальных нравов». Рассказывая об этих нравах, писатель затрагивает вопросы куда более серьезные и общие. Губернский город с выразительным названием Мордасов становится моделью мира «наполеоновской» морали, мира людей-волков.

За несколько лет до «Преступления и наказания» в «Дядюшкином сне» фигура Наполеона выступает как символ бесчеловечной собственнической морали. Первую мордасовскую даму Марию Александровну «сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном». После знакомства с ней князю снится Наполеон.

Сюжет повести строится на неудачной попытке Марии Александровны выдать свою дочь Зину за князя К., и этим вроде бы сравнение с Наполеоном комически снижено. Но трагическая развязка зачеркивает комизм сравнения. Оказывается, что Мария Александровна на самом деле так же безжалостна, как знаменитый полководец, и война, которую она ведет, отличается от наполеоновских войн масштабами, но не своей сущностью.

Мария Александровна — личность по-своему незаурядная. В мордасовском обществе «все ее боятся», и поделом: она настоящая хищница, ничем не стесняющаяся при достижении своих планов. Обдумывая свой замысел уловления полусумасшедшего князя в брачные силки, она понимает, «что все это походило несколько на разбой на большой дороге; но Мария Александровна и на это не слишком-то обращала внимания».

Зина саркастически, но верно называет мать «женщиной-поэтом». Она «женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством». У Марии Александровны неукроти-

мая энергия, хищничество для нее действительно стало как бы поэзией и творчеством.

Цель Марии Александровны — власть, первенство, которое достигается богатством и знатностью. Ее средство, ее козырь — дочь, красавица Зина, которая «хороша до невозможности». Вместе с тем Мария Александровна по-своему, искаженно, но горячо любит Зину («Зиночка! ты плоть и кровь моя!»), желает ей счастья, но счастья в своем понимании, т. е. опять-таки богатства, власти, первенства, и если для достижения этого Зине придется отказаться от своих стремлений, то это, по мнению Марии Александровны, сущий пустяк.

Марию Александровну не останавливает любая пакость, любая подлость, потому что ведь «все на свете можно сказать благородным образом», и, «главное, с какой точки смотреть».

Первая дама города Мордасова — настоящий поэт лицемерия, такой мастер софизма, что порой невольно вызывает восхищение. Вот она, уговаривая Зину на замужество, весьма убедительно доказывает полное ничтожество влюбленного в нее Мозглякова. Через несколько минут выясняется, что Мозгляков подслушал этот разговор; взбешенный, он требует у Марии Александровны объяснений. Казалось бы, положение у Марии Александровны безвыходное, но сложность ситуации не только не обескураживает даму-Наполеона, но вроде бы даже вдохновляет, и она ухитряется «благородным образом» вдолбить в голову Мозглякова, что она действует в его же интересах.

Зину ей удается уговорить дать согласие на брак тем, что Мария Александровна указывает ей на возможность после выхода замуж помочь тяжело больному любимому человеку, согреть старость несчастного старика и т. д.: «А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт!.. Ты, красавица, жертвуешь старику свои лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься вокруг его старости». И не вина Марии Александровны в том, что дочь мало похожа на нее, что у Зины не хватает сил выдержать грязь обмана.

В самой риторике Марии Александровны, в ее «потребности красноречия» для сокрытия грязи есть нечто наполеоновское.

В нужных случаях лицемерие Марии Александровны не столько скрывает, сколько сознательно обнажает бесчеловечный цинизм ее планов, лишь чуть придавая ему необходимый декорум: «Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку! Я первая со слезами и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери! Но, увы! кажется, здоровье князя ненадежно! К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох, боюсь, чтоб это окончательно не довершило его!»

Мария Александровна в своем кругу вовсе не выродок, не моральный урод. Она просто наиболее крупный хищник среди других хищников. Для мордасовских дам, ненавидящих и боящихся ее, она тем не менее «своего поля ягода». В «благородное общество мордасовских дам» входит и некая полковница — «зловещая и мстительная сплетница» и госпожа с выразительной фамилией Паскудина. Все это — свои люди, и ненависть к Марии Александровне со стороны этих дам и их страх перед ней густо перемещены с завистью к ее своеобразной храбрости бесстыдства.

А кто жертвы этих хищниц?

Казалось бы, аристократический дегенерат князь К. никак не может вызвать сочувствия читателей. В этой фигуре Достоевский с исключительной остротой, не боясь такого резкого гротеска, к какому он раньше никогда не прибегал, показывает искусственность, невсамделишность современной ему русской аристократии, ее чуждость жизни. Князь — это «мертвец на пружинах», «полукомпозиция», «воспоминания о человеке», он, «казалось, был весь составлен из каких-то кусочков». «Смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится». У него накладные усы, бакенбарды, шевелюра, искусственый глаз, нога тоже вроде искусственная; вообще трудно понять, что же у него настоящее.

Писатель замечательно воспроизводит речь своего героя, полную алогизмов, скачущую, тоже как будто «на пружинах», очень хорошо передающую и «широту кругозора» и «благородство взглядов» (хотя от них остались лишь обломки) этого отпрыска высокого рода. Вот князь говорит о своем швейцаре Терентии: «Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет,— такой важный вид! Одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк». Или

вспоминает о какой-то знакомой старухе: «При ней еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вы-шел: свою дворовую девку, осердясь, убила и за то под судом была».

И все-таки чем дальше развивается действие, тем больше испытываем мы к несчастному старику жалость и даже симпатию. Он детски доверчив к людям, он различает в них только хорошее, он еще способен чувствовать красоту и поэзию. «Благородному обществу мордасовских дам» все это кажется проявлением старческого слабоумия, но читатель не склонен с ними соглашаться. Беспомощность князя среди мордасовских «львиц» трогательна, она сродни беспомощности одинокого беззащитного ребенка.

Такое же сочувствие вызывает у нас и Зина, чей образ воплощает «поруганную красоту» и предсказывает грядущее появление в творчестве Достоевского гениального образа Настасьи Филипповны, и ее возлюбленный, бедняк-учитель, мечтавший о будущем поэта. Но это только жертвы, не способные на борьбу со злом, даже на протест. В отличие от Настасьи Филипповны Зина и не пытается противопоставить себя миру несправедливости, бросить ему вызов. В эпилоге она предстанет перед нами женой важного чиновника, пожилого генерала. Житейская пошлость не коснулась ее души, мордасовской дамой она не стала, но ее ледяное одиночество — свидетельство не победы, а поражения.

Еще меньше борец учитель Вася. Он разночинец, но не принадлежит к тому боевому отряду, который выдвинул своими вождями Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Его романтические порывы беспочвенны и заранее обречены на поражение.

А жертва ли Павел Александрович Мозгляков? По сюжету вроде бы да, он тоже немало теряет во время «наполеоновских походов» Марии Александровны. Но у него нет морального права быть жертвой, вызывать наше сочувствие. Мозгляков, в соответствии со своей фамилией, слишком духовно ничтожен, чтобы его поражение в житейской борьбе могло нас взволновать. Этот образованный столичный молодой человек (в первом же монологе он вспоминает Гейне и Фета, перефразирует слова Пушкина), если разобраться повнимательнее, лишь модернизированное воплощение гоголевского поручика Пирогова, который ведь тоже страдал, когда его секли пьяные немцы-ремесленники (образ поручика Пи-

рогова очень интересовал Достоевского, ему посвящено несколько блестящих страниц в «Дневнике писателя»). Но так же, как Пирогов быстро утешился после порки пирожком в кондитерской, так и Мозгляков не способен долго задерживаться на каких-либо переживаниях.

Мотивы гоголевских произведений отчетливо чувствуются в некоторых других местах первой семипалатинской повести Достоевского. Мордасовские дамы, конечно, находятся в духовном родстве с дамами города Н. из «Мертвых душ» (даже знаменитое восклицание «орёр» вкладывается в уста одной из мордасовских сплетниц); временно торжествующая Мария Александровна почти повторяет вознесшегося Сквозник-Дмухановского: «Я сама буду княгиня; меня в Петербурге узнают. Прощай, городишка!»

«Дядюшкин сон» писался в годы, когда устоявшийся быт крепостнической России зашатался, строившееся на века здание николаевского режима обнаружило свою предельную неустойчивость. О веянье угрожающих мордасовцам «новых идей» опасливо говорят и Мария Александровна и князь К. Правда, откуда придет угроза, они пока не знают. Князь с обычным глубокомыслием ждет ее даже от своего кучера: «Нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось... Одним словом: коммунист, в полном смысле слова!» Не на много проницательнее в данном случае и Мария Александровна, подозревающая в приверженности к «новым идеям» Мозглякова. Но в том, что эти идеи действительно проникают в атмосферу эпохи, мордасовцы не ошибаются.

Как обычно бывает у Достоевского, «Дядюшкин сон» прочно прикреплен к определенному историческому периоду, но его значение шире характеристики каких-то черт только данной эпохи. Он говорит о безжалостном эгоизме собственнической морали — говорит выстраданно и гневно.

Трагический фарс Достоевского — произведение правдивое и глубокое. И, право же, лишь величайшая взыскательность гениального художника к своему творчеству заставила его найти в этой резкой и горькой вещи «замечательную невинность».

«ДВА ОГРОМНЫХ ХАРАКТЕРА»

«Село Степанчиково» тоже писалось с особой оглядкой на цензуру. Окончив повесть, автор отмечал, что в ней «цензура двух слов не вымарает». Так оно и оказалось, но именно это стремление к полной внешней благонадежности и привело к тому, что публикой «Село Степанчиково» было принято весьма равнодушно. Приближалось падение крепостничества, отношения между крестьянами и помещиками особенно волновали общество, литературное произведение на эту тему принималось или отвергалось читателями в зависимости от того, насколько глубоко и остро изображались эти отношения. Между тем в селе Степанчикове они носили почти идиллический характер. Владельца Степанчикова, полковника Ростанева, мужики любили, как отца, и единственное, что их волновало,— это как бы не сменился у них владелец.

Цензуру Достоевский обманул, но заодно обманул и читателей-современников. И они не заметили, что внешняя благонадежность повести, небрежно и мельком нарисованная идиллия мужичьего житья под управлением доброго помещика — лишь кость, брошенная цензуре, что она только прикрывает яростную антикрепостническую внутреннюю направленность «Села Степанчикова». Правда, взыскательный художник и во второй повести находил «величайшие недостатки», «очень много гадкого и слабого».

Но автор вместе с тем говорил в письме к брату: «Я уверен — хоть зарежь меня! — что есть и прекрасные вещи. Они из души вылились. Есть сцены высокого комизма, сцены, под которыми сейчас же подписался бы Гоголь». В последней фразе, как мы увидим дальше, есть и второй, скрытый, смысл.

Значение «Села Степанчикова» писатель видел прежде всего в том, что «там есть два серьезные характера и даже новые, небывалые нигде». И в другом письме: «В нем есть два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению),— характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой».

Эти два характера — юридический владелец Степанчикова помещик Егор Ильич Ростанев и фактический хозяин села и его обитателей Фома Фомич Опискин.

Опискин действительно, на первый взгляд, фигура в русской литературе совершенно небывалая. Это монументальное воплощение ханжи-святоши. В поисках его литературных предков указывали на «Тартюфа». И на самом деле сюжет «Села Степанчикова» кое в чем напоминает великую комедию Мольера; Достоевский, создавая повесть, безусловно, помнил о творении французского комедиографа. Но есть и колоссальная разница: если Тартюф лицемерит сознательно, преследуя свои личные корыстные цели, то Фома, так сказать, бескорыстный идеолог ханжества.

Когда вконец измученный им Егор Ильич Ростанев предлагает ему большую сумму денег, с тем чтобы Опискин навсегда покинул Степанчиково, Фома устраивает истерическую сцену, оскорбленно отвергая деньги. Рассказчик, от имени которого ведется повествование, с недоумением передает эту сцену неглупому Мизинчикову. Мизинчиков предполагает сначала, что Опискин просто набивает себе цену. Но, подумав, выдвигает иное объяснение: «Я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... Гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться».

Фома — лицедей. В прошлом, служа у больного отчима Ростанева, генерала-самодура, «в качестве чтеца и мученика», «Фома... изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины». Продолжает он лицедействовать и теперь, превратившись из мученика в тирана. Он только сменил амплуа: ныне он увлеченно играет «учителя жизни», «духовного пророка». Но лицедейство давно проникло ему в кровь, маска приросла к лицу, снять ее Фома уже не может даже тогда, когда это было бы ему выгодно.

Фома стал деспотом в Степанчикове, он изощренно издевается и над хозяевами села и над мужиками; и странно — его издевательство не только не встречает отпора, но и принимается чуть ли не с благоговением большинством обитателей села. Больше того: чем чудовищнее, чем нелепее капризы Опискина, тем сильнее становится его влияние. Сосед Ростанева помещик Бахчеев в начале повести говорит о нем с негодованием. В финале же Бахчеев с умилением повторяет: «Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и просто герой». Старого дворового Гаврилу, без памяти преданного господам, Опискин, издевательски заставляя учить француз-

ские «вокабулы», довел однажды даже до какой-то попытки протеста, но в конце повести и Гаврила смотрит на своего истязателя с «благоговением».

Длинные речи Фомы сначала могут показаться пустопорожними, как у Иудушки Головлева, но скоро читатель замечает в них определенный смысл. Все поведение Опискина, все его капризы подчинены определенной идеологической задаче, имеют определенную политическую направленность. И вот как раз эта-то направленность и устраивает помещиков и холопов — тех, которые признают свое холопство законным и гордятся даже им,— и заставляет их переносить все неудобства, вызванные экстравагантностью проповедника.

Суть проповеди Фомы — законность и неприкосновенность существующего порядка вещей, т. е. крепостнического и самодержавного строя. Смысл жизни помещика, по Опискину,— «забота перед богом, царем и отечеством». Крестьян же Фома наставляет так: «Любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью». Этот порядок вещей охраняется религией, и с языка Фомы не сходят призывы к молитве.

Соответствующие требования Фома, сам литератор-неудачник, предъявляет и к литературе: «Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях — я и на это согласен,— но преисполненного добродетелями, которым — я это смело говорю — может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский... Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач в умилении души принесет ему, наконец, свое золото; пусть даже при этом случае произойдет слияние добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются, наконец, в добродетелях,— это высокая мысль!»

Требование к литературе изобразить мужика «голодного, но довольного, не ропщущего» — это совершенно четкий социальный заказ дворянской реакции.

Фома — бедняк, он жил нахлебником и шутом у богачей-помещиков, но он дворянин и это подчеркивает, упоминая о «нашем сословии».

Чем больше говорит Фома, тем все более знакомыми читателю становятся его речи, тем отчетливее за его спиной, как тень, вырисовывается другая фигура.

«Он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества».

Вот Фома с пафосом восклицает: «Я знаю Русь, и Русь меня знает». Вот он разговаривает «с умным русским мужиком»: «Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?»

Это пародия на ярчайший документ крепостнической реакции — на гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями» (и на примыкающую к ним «Авторскую исповедь»), пародия настолько убийственно точная, что трудно понять, почему ее адрес не был узнан читателями-современниками.

Не всеми, впрочем. Краевский, прочитав «Село Степанчиково», сказал, что Фома Фомич «напомнил ему Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни».

Много времени спустя текстуальная точность пародии была убедительно доказана Юрием Тыняновым в его блестящей работе «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)».

Когда Достоевский говорил, что Гоголь мог бы подписаться под некоторыми сценами «Села Степанчикова», то он, можно думать, имел в виду не только Гоголя-писателя, но и Гоголя-человека, героя своей повести.

Достоевский был осужден на каторгу, в частности, за пропаганду знаменитого письма Белинского к Гоголю — манифеста революционной демократии конца 40-х годов. Десять лет спустя он продолжает страстно разоблачать реакционную идеологию «Переписки», и это убедительнейшее свидетельство того, как сложна и неоднолинейна была миро-

воззренческая эволюция Достоевского в семипалатинские годы.

Преклоняясь перед Гоголем «Шинели» и «Мертвых душ», Достоевский совершенно не щадит Гоголя «Переписки». Пародируются не только взгляды писателя, но и принятая им на себя роль «учителя жизни». Намеки на личность писателя разбросаны по повести. Фома упоминает о Гоголе, как о «писателе легкомысленном, но у которого бывают иногда зернистые мысли». Крик Фомы: «О, не ставьте мне монумента! Не ставьте его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!» — пародирует не идеологию «Переписки», а общественное поведение ее автора. Наивность практических хозяйственных советов читателям «Переписки», изложенных патетическим тоном, также собезьянничана Фомой, который, не умея отличить «овса от пшеницы», тем не менее дает Ростаневу глубокомысленные советы: «В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой... Вы хотели, я знаю это, рубить зыряновский участок лесу; не рубите — другой совет мой. Сохраняйте леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли...».

Порой и внешний облик Фомы, его одежда заставляют вспомнить о Гоголе предсмертных лет: «Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстука».

Есть мемуарный рассказ о том, как однажды в доме Аксаковых Гоголь ничего не ел и не пил за ужином и наконец после настойчивых просьб хозяев попробовать хоть что-нибудь, попросил рюмку малаги (которой как раз в доме не оказалось). Малагу требует и Фома, вернувшись в дом Ростанева. Подобные сопоставления продолжать можно было бы долго.

Ю. Тынянов объясняет такую степень остроты пародии следующим образом: «Когда говорят о «литературной традиции» или преемственности, обычно представляют некоторую прямую линию, соединяющую младшего представителя известной литературной ветви со старшим. Между тем, дело много сложнее. Нет продолжения прямой линии, есть скорей отправление, отталкивание от известной точки,— борьба. А по отношению к представителям другой ветви, другой традиции, такой борьбы нет: их просто обходят, отрицая или

преклоняясь, с ними борются одним фактом своего существования».

Это утверждение при всей своей тонкости не объясняет, однако, исключительной ожесточенности пародии Достоевского. Продолжая гоголевскую традицию, развивая ее в своем творчестве на новом, высшем уровне, Достоевский тем самым действительно боролся с исходной точкой традиции, но это не мешало ему высочайшим образом ценить Гоголя и помнить, что «все мы вышли из «Шинели».

Жестокость пародии в «Селе Степанчикове» объясняется только тем, что Гоголь эпохи «Переписки» был для Достоевского 1858 года идейным врагом.

Второй «огромный характер» — это полковник Ростанев. Но если Опискин как литературный тип был всецело открыт автором «Села Степанчикова», то у Ростанева были предшественники в русской литературе,— такие как пушкинские Белкин и Гринев, лермонтовский Максим Максимыч. Обращались к изображению этого типа и современники Достоевского — Тургенев, Гончаров, Лев Толстой. Ростанев не стал наиболее ярким воплощением его в литературе.

Будущий друг и журнальный соратник Федора Михайловича критик Аполлон Григорьев первым назвал этот тип «кротким».

Григорьев противопоставлял представителей «кроткого типа», хранителей лучших черт русского национального характера (в его, григорьевском, понимании), «хищному типу» — Онегину, Печорину.

Предполагалось, что христианское смирение и безграничная доброта «кротких» нравственно победят эгоизм «хищных» и все в мире устроится к лучшему без всяких революций.

Достоевскому в это тоже хотелось верить, но зрение у него было хорошее, и ничего с этой верой у него не получилось.

Человек на самом деле исключительной доброты Егор Ильич Ростанев — фигура даже не трагикомическая, а просто комическая.

О Егоре Ильиче в повести сказано: «Душою он был чист, как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не

могло». Трудно было представить человека смирнее и на все согласнее».

Кротость Ростанева сначала трогает, но затем начинает все сильнее вызывать раздражение. Как над ним издеваются Фома, и дура мать, и ее злыдни-приживалки, а он, большой, сильный, только хлопает ушами, кается в любых грехах, которые ему вздумают приписать, и радуется жизни, когда мучители на минуту оставляют его в покое.

Отношение полковника к Фоме—это «добровольное рабство». Нельзя сочувствовать человеку, добровольно идущему в рабы.

«Кротость» Ростанева приносит мучения не только ему самому. От нее еще больше страдает искренне любящая его Настенька. То, что полковник не хочет и не может огорчить неповиновением своих мучителей, чуть не приводит Настеньку к гибели.

Правда, в решающий момент, когда Фома грязно оскорбил девушку, полковник вдруг выбрасывает его из дома. Но уже через час он готов просить у своего тирана прощения.

Фома «устраивает счастье» полковника и Настеньки подобно тому, как рабовладелец, повинуясь капризу, может «устроить счастье» двух своих рабов. Большего, чем это «счастье» из чужих рук, Ростанев и не заслуживает.

Может быть, Достоевский и собирался образом Ростанева воспеть величие кротости. Но объективно он показал им опасность «согласия на все», эгоистичность смирения.

Вокруг двух основных фигур повести писатель размещает целую галерею действующих лиц, обрисованных смело и ярко. Некоторые из эпизодических образов повести перейдут затем в более углубленном и разработанном виде в его великие романы. Так, полупомешанная старая дева Татьяна Ивановна, чье сознание живет почти исключительно в вымышленном, романтическом, «испанском» мире, и которая в то же время добра и сердечна,— несомненно, предшественница «хромоножки» Марьи Тимофеевны из «Бесов». Отец Настеньки Ежевикин, добровольный шут, с его девизом: «польсти, польсти», через десять лет воплотится в многогранный образ Лебедева в «Идиоте». Фаворит Фомы лакей Видоплясов с его презрением к «простому народу» — первый набросок гениального воплощения сущности лакейства в Смердякове.

В «Селе Степанчикове» так много элементов пародии, как, пожалуй, ни в каком другом произведении Достоевского (хотя его творчество без стихии пародии вообще представить невозможно). Не говоря уже о пародийности всей линии Фомы, и ряд других персонажей пародирует речи и поступки третьих, обнажая их грязь и никчемность. Например, Мизинчиков проектирует «романтическое похищение» Татьяны Ивановны и на замечание рассказчика, что этот план гнусен, серьезно отстаивает его «целесообразность» и даже «благородство». В действительности «похищение» совершается дураком Обноскиным. Пойманный за руку Обноскин повторяет в пародийном виде доводы Мизинчикова: «Я бы употребил с пользою капитал-с... я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете».

М. М. Бахтин указывает в книге «Проблемы поэтики Достоевского» на традицию, воплотившуюся в особенностях композиции и образов «Села Степанчикова», традицию, идущую через множество литературных опосредствований, от народного карнавала, действующие лица которого выступают в масках, карнавала, где вывернут наизнанку «здравый смысл» действительности с ее иерархическим порядком: «Вся жизнь в Степанчикове сосредоточена вокруг Фомы Фомича Опискина, бывшего приживальщика — шута, ставшего в усадьбе полковника Ростанева неограниченным деспотом, то есть вокруг карнавального короля. Поэтому и вся жизнь в селе Степанчикове приобретает ярко выраженный карнавальный характер. Это жизнь, вышедшая из своей нормальной колеи, почти «мир наизнанку». ...Все действие этой повести — непрерывный ряд скандалов, эксцентрических выходок, мистификаций, развенчаний и увенчаний».

Как говорилось выше, «Село Степанчиково» прошло почти не замеченным публикой и критикой. Федору Михайловичу пришлось удовлетвориться отзывом брата, правда, восторженным. Михаил Михайлович писал: «Не умею сказать тебе, как нравится мне твое произведение. У меня постоянно стояли в глазах слезы от какого-то душевного благополучия при чтении второй части. Прекрасно. Полковник вышел чудно хорош. Все, все лица обаятельно свежи и новы. Но чем я всего более дорожу, это то, что все твое здание, как в целом, так и в малейших деталях, оригинально до чрезвычайности».

Но братские восторги заменить внимания читателей, естественно, не могли, Михаил Михайлович передавал брату слова Краевского, который вместе с комплиментами говорил, однако, о том, что юмор — не сфера Достоевского, что его сила «в страстности, в пафосе».

Дело было, однако, не в том, что юмор будто бы чужд автору «Двойника». Здесь Краевский ошибался, и десятки блестящих комических сцен и реплик, вкрапленных в трагический поток великих романов позднего Достоевского, опровергают его. Но комический роман был не ко времени. Эпоха шла серьезная, эпоха прямой борьбы, и из большой литературы смех уходил в фельетоны, уступая место пафосу. Между периодом «Губернских очерков» и периодом «Истории одного города» легла короткая, но яркая эра «Что делать?» и писаревских филиппик — время революционной ситуации.

После «Села Степанчикова» Достоевский написал «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома» — книги совсем иного плана. Вообще он больше никогда не возвращался к комическому роману. Семипалатинским повестям было суждено остаться в его творчестве особой и не продолженной главой. Но с годами оригинальность и глубина этой главы были оценены по достоинству.

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ № 2030

Грузно и стремительно несется через темные волны мирового пространства шар земной, попеременно подставляя солнечному светилу то один, то другой круглый бок свой, в то время как на противоположный, по удачному выражению дипломата и стихотворца Федора Ивановича Тютчева, небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины.

Земная жизнь кругом объята снами, как говорил сей славный поэт, и спит в эту мартовскую ночь огромная империя с неустановившимися еще, как бы непрерывно шевелящимися границами. Спят солдаты в казармах и палатках полевых лагерей, спит в избах крещеная собственность — помещичьи мужички российские, спят господа обер- и штаб-офицеры, спят коллежские регистраторы, коллежские асессоры и коллежские советники. Спит в своем Зимнем дворце сорокалетний полнеющий мужчина гвардейского сложения —

хозяин земли русской, ровно дыша и созерцая соответствующие положению его царственные сны. Все, в общем, в порядке; дуют, правда, некие новые ветры, и фрегату монархии приходится лавировать, но оснастка его надежна и слишком уж волноваться не хочется. И далеко еще до метательного снаряда Кибальчича.

В том же странном северном городе спит, отодвинув ненадолго корректуры «Современника», невысокий человек с усталым лицом, с недавно отпущенной рыжеватой бородкой, чем-то неуловимо похожий на другого — того, кому предстоит родиться — тоже на берегах Волги — через одиннадцать лет. Пройдет два года, и кормчие имперского фрегата сообразят, что в рукописях рыжебородого редактора журнала страшная взрывчатая сила, способная поднять на воздух Зимний дворец со всеми его обитателями. Сообразят — и на все пойдут, вплоть до мелкого шулерства, до подделки подписей, чтобы вырвать близорукого человека с рыжей бородкой из людской массы и загнать его в лютую мглу вилюйского одиночества.

Пока никто не знает о грядущей судьбе этого человека. Никто, кроме него самого. Нет, конечно, он надеется на победу. Но, ученый, человек трезвого расчета, не исключает и противоположного варианта.

А за тридевять земель от Петербурга, в далеком Кашгаре, уставший от вчерашнего четверга — здешнего базарного дня — спит молодой кокандский купец, родственник караванбаши Мусабая. Купцу снится странный сон: берег большой реки, за которым раскрывается степной простор, мальчики в казенной форме и сам он, простирающий патетически руку вдаль и с волнением сердечным произносящий наивную клятву: пройти, обязательно пройти древним путем прославленного венецианца Марко Поло. Купец просыпается и долго в рассветной полутьме с недоумением всматривается в лежащую рядом девочку с полуоткрытым влажным ртом. Потом тихонько смеется: ну да, он же Алимбай, вот рядом спит его молодая жена... О аллах, как все это далеко — Омск, Гасфорт, Семипалатинск, голубчик Федя. Другой мир, другая планета. Но он прошел путем старого венецианца, и он вернется в свой мир, как бы ни принюхивались к нему ищейки хакимбека, недавно выследившие немецкого путешественника Адольфа Шлагинтвейта, чья отрубленная голова месяцы возвышалась на башне из других человеческих голов.

...А вот Федор Михайлович не спит. Тихонько бродит по комнате, курит. За последнее время сдружился он с бессонницей. Еще в пятьдесят седьмом твердо надеялся он быть в Москве, даже газет по этому случаю не выписал, но и пятьдесят седьмой прошел, и пятьдесят восьмой, и пятьдесят девятый идет, а он все в Семипалатинске, словно заколдовал его этот город и стал Иртыш магической чертой, через которую умри — не переступишь.

И оттого, должно быть, становится противен город, где ведь, что ни говори, и хорошего было немало, и кажется он пустым. Ни одной симпатичной личности не осталось: храброго вояку Хоментовского за отсутствие особого почтения ко всякому начальству отправили аж во Владимир на столь странную для старого рубаки должность провиантмейстера (через несколько месяцев Федор Михайлович встретится со старым приятелем во Владимире и выпьет с ним доброй вишневой настойки), Белихов, упокой господи его душу, лежит в могиле, Врангель, бог его знает, то ли в Индии, то ли на Амуре, Обух — в Верном, милый Вали-хан — вообще в неизвестности и жив ли? С одними Гейбовичами еще можно отвести душу, но и то ходят слухи, что назначают Артемия Ивановича городничим в Аягуз.

Жена — жена рядом. Спит в соседней комнате. Рядом — и далеко. Нет с ней лада, покоя, счастья. Он любит ее, да мало радости в этой любви. В выдуманном мире живет Мария Дмитриевна, и нехорошо ей там, вечно какие-то нелепости происходят в том мире: самые благородные помыслы оборачиваются драмой иль фарсом, иль тем и другим вместе. Вот спасала она Марину, ту дочь поляка, от отца-тирана, воспитывала, а кончила тем, что стала ревновать ее к Федору Михайловичу. Между тем уж очень небрезгливым нужно быть, чтоб польститься на эту девицу. Выдали ее наконец замуж, но нрава ее это не изменило. Теперь муж ее, казачий хорунжий, уходя из дому, косы ее прищемляет ящиком комода, ящик запирает, а ключ уносит с собой, оставляя жену к комоду прикованной. Грязь и варварство...

Все так, да не об этом надо думать. Федор Михайлович знает, что подходит его семипалатинское сидение к концу, что вышел указ об его отставке, но все равно свобода еще не полная — в столицах ему жить запрещено. Однако и это не главное; конечно, снять запрет будет хлопотно, но вряд ли уж долго запрещение продержится, по обстоятельствам общественным видно — нет, не долго. Другое больше беспо-

коит. Он надеялся разом блистательно вернуться на писательское поприще, одним ударом восстановить свое авторское имя. А вот тут-то вроде и не получается...

* * *

«Дядюшкин сон» был принят издателями «Русского слова» почти с благоговением и опубликован незамедлительно. Тут ничего другого и ожидать не приходилось — еще б недоставало, чтоб этот сомнительный журнальчик, затеянный барином-дилетантом с полумиллионным годовым доходом, не ухватился обеими руками за вещь самого автора «Бедных людей» (через несколько лет яростный демократ и вместе с тем журнальный предприниматель складки не мягче, чем у Краевского, репетитор детей Герцена и член Центрального комитета подпольной «Земли и воли», на старости лет заведший у себя в доме негра-лакея, Григорий Евлампиевич Благосветлов поставит «Русское слово» на железные деловые рельсы, а гениальный юноша Дмитрий Писарев блистательными статьями, написанными в одиночке Петропавловской крепости, превратит журнал в первый по популярности орган русского радикализма)...

Но Федор Михайлович очень беспокоился, как будет встречена эта первая после десятилетнего перерыва повесть, подписанная его именем, просил брата сообщить ему не только печатные отзывы на нее, но и малейшие толки, вызванные ею в обществе. В то время Михаил Михайлович уже вновь любил брата без оглядки и любое его поручение выполнить был готов во что бы то ни стало. А вот это не смог: не то, что печатных отзывов (ну хоть бы самой кратенькой рецензийки в каком-нибудь еженедельнике — расплодилось их в тот век гласности, что грибов), но и устных — ни-ни... А ведь только о том, что некая статская советница Толмачева на каком-то губернском литературном вечере осмелилась прочесть пушкинские «Египетские ночи», написаны и наговорены горы. Урал. Кавказ. Гималаи. И в посрамление статской советницы и, преимущественно, в одобрение ее прогрессивности и свободы от предрассудков.

А вот «Дядюшкиного сна» будто и в природе не было. Чертог журналистики сиял. Но не для него.

А «Село Степанчиково» еще предстояло пристроить.

Переговоры с Катковым шли вроде бы и мирно. Неспешно. По-джентльменски (в ту пору редактор «Русского вест-

ника» английские обычаи обожал). Каткову спешить некуда. Достоевскому остается делать вид, что ему тоже, хотя без гонорара за «Село» просто трудно выехать в Россию. Но гонор приходится выдерживать — ведут переговоры два литератора.

Только у одного за плечами — контора преуспевающего издания, а у другого — каторга и солдатчина. Только впереди у одного — гениальные романы и между ними злость, иногда легкая, иногда отчаянная, что приходится работать на «джентльмена» Каткова, тяжелой и неуклюжей редакторской дланью выбрасывающего порой из гениальных романов в небытие великие страницы. А у «джентльмена» в будущем одноцветно мрачная слава первого ретрограда страны, цепного пса трона (о продавшемся реакции цинике Суворине, вероятно, можно бы написать небезынтересный психологический этюд; да вот его и в пьесы вставлять начали. А что напишешь о Каткове? Целен и сер, как гранит).

Позже редактор «Русского вестника» за Достоевского, как автора своего журнала, держался отчаянно. Но в 1859-м он еще не понимал, как ему коммерчески выгоден Федор Михайлович, и переговоры зашли в тупик. Достоевский пишет брату почти с отчаянием: «Гончаров, например, взял 7000 за свой роман, по-моему, отвратительный, и Тургеневу за его Дворянское гнездо (я, наконец, прочел. Чрезвычайно хорошо) сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с листа) давал 4000 рублей, т. е. по 400 рублей с листа. Друг мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и, наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб, а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я принужден торопиться и писать для денег, следовательно, непременно портить».

Тут все верно, кроме того, конечно, что «Обломов» — отвратительный роман, и такой частности, что и ста рублей за лист Достоевскому пока никто не давал.

Забрезжила новая надежда. Панаев и Некрасов вроде бы заинтересовались новым произведением сибирского изгнанника и вообще с большой теплотой вспоминали о нем и проявляли живое желание возобновить с ним отношения, давно и резко прерванные. Так оно, вероятно, и было, и надо думать, что у Некрасова подобные намерения возникали (у Панаева, как известно, самостоятельных от Николая Алексеевича желаний не появлялось). Ведь как-никак их на всю

жизнь связала та светлая ночь, когда Некрасов с Григоровичем, прочитав рукопись «Бедных людей», прибежали на квартиру начинающего автора, чтобы немедленно, не откладывая до утра, сказать о своем восторге. Уже в старости вспоминал Федор Михайлович об этой ночи, как об одном из самых счастливых мигов своей жизни... И, конечно, возобновлению отношений с редактором «Современника» он только обрадовался.

Но, получив рукопись «Села Степанчикова», Некрасов повел себя очень уклончиво, а затем предложил условия, равносильные отказу.

Поведение редактора «Современника» может показаться просто загадочным — ведь инициатива тут исходила от него, идеологически в повести Достоевского не было ничего явно противоречащего позиции журнала; предположим даже, что Некрасову она совершенно не понравилась, однако ж печатались ведь и в «Современнике» вещи куда более слабые художественно и значительно расходившиеся с направлением журнала.

И все-таки, как это ни странно, «Село Степанчиково», по-видимому, было отвергнуто Некрасовым именно по эстетическим мотивам, как произведение, лежащее ниже максимально допустимых пределов художественной слабости. Странно это потому, что вкус и редакторская прозорливость его безукоризненны и огромны. Сколько писателей и книг, оставшихся навсегда, первым довел до читателя Некрасов-редактор — не перечислишь! Чернышевский уже в конце жизни не переставал удивляться, вспоминая о том, что на первом же свидании, прочитав рецензию в несколько страничек, написанную им, совершенно никому не известным молодым учителем, редактор первого журнала страны спокойно заговорил с ним как с будущим руководителем «Современника». Но вот в отношении повести Достоевского Некрасов и совершил единственную свою редакторскую ошибку.

Так это воспринимали и современники. Писатель П. М. Ковалевский писал о Некрасове: «Ошибся он один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся с повестью Достоевского «Село Степанчиково»... Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше,— произнес Некрасов приговор — и ошибся...».

Странно, разумеется, но иного объяснения не подберешь. Личные трения между двумя писателями в последние годы перед арестом Достоевского, безусловно, были перечеркнуты

царским приговором. О Достоевском-каторжнике Некрасов думал, создавая в поэме «Несчастные» героический образ Крота. Об эволюции мировоззрения Достоевского вправо поэт ничего не мог знать. Через шестнадцать лет даже серьезные идейные расхождения не помешали ему заказать автору «Преступления и наказания» роман для «Отечественных записок». Человек сильного и тонкого ума, Некрасов отлично понимал то, что порой оставалось непонятным менее прозорливым его соратникам: какие бы взгляды ни декларировал Достоевский, творчество его в своей основе остается бунтарским и гуманистическим.

Очевидно, при оценке «Села Степанчикова» над Некрасовым довлел критический авторитет его великого учителя; Белинский же, как известно, после «Двойника» не принял ни одного произведения Достоевского («надулись же мы... с Достоевским-гением!»)

Уже переехав в Тверь, Достоевский возобновил хлопоты с пристройством повести. Пришлось-таки через брата обратиться к ненавистному Краевскому. Тот повесть взял, кое-что снисходительно в ней похвалил, но, в общем, заметил, что вещь порядочно растянута. Это был сильный удар по авторскому самолюбию.

Наконец с отставкой все стало ясно — указ о ней дошел до Семипалатинска. Да, в столицах жить запрещено. Надо выбрать губернский город для жительства. Во времена второй герценовской ссылки в таких случаях выбор делили между Тверью и Новгородом — лишь эти два губернские центра лежали между столицами. С тех пор как была проложена Николаевская железная дорога и древнейший русский город оказался в стороне от маршрута «чугунки», выбирать стало не из чего. Федор Михайлович, разумеется, назвал Тверь.

Последние недели семипалатинского жития Достоевского были скрашены встречей с дорогим другом. 12 апреля 1859 года после опаснейшего путешествия, длившегося десять месяцев и четырнадцать дней, едва уйдя от погони кашгарских властей, заподозривших в конце концов неладное, Чокан прибыл в Верное, а вскоре по пути в Омск остановился в Семипалатинске.

Чокан возвращался, собрав ценнейшие сведения. Возвращался победителем, героем, совершившим подвиг. Его ждали высокие награды, слава, признание. Скоро в официальной бумаге сам директор азиатского департамента министерства иностранных дел выдающийся путешественник Е. П. Кова-

левский назовет двадцатичетырехлетнего поручика «гениальным молодым человеком», «замечательным ученым». Свою причастность к подвигу молодого ученого, а следовательно, и право на свою долю наград начнут доказывать многие сановники разных степеней значительности. Сам Гасфорт пожелает «округлить» слог валихановского отчета (к счастью, с отправкой отчета в Петербург торопились, так как и без того сильно задержали его к неудовольствию азиатского департамента, у бывшего военного ветеринара не осталось времени на задуманную операцию, и своеобразный стиль Валиханова не был выхолощен).

Скоро, всего через три года, Чокан Чингисович узнает, как может Российская империя отблагодарить своего подданного, совершившего подвиг. Но сейчас, что скрывать, он рад этой надвигающейся славе, приближение которой он чувствует уже в Семипалатинске. Однако куда больше рад Валиханов сделанному. Это бескорыстная радость исследователя, открывателя, и она очень понятна Федору Михайловичу, который откровенно гордится своим молодым другом.

Чокан Чингисович — постоянный гость в домике на Крепостной улице. Да нет, гость — не то слово. Он здесь свой человек. Мария Дмитриевна всегда рада ему, а Федор Михайлович светлеет лицом, когда на скрипучей лесенке слышатся быстрые шаги поручика-путешественника. Денщик Василий раздувает самовар. Дымят трубки, и до утра длятся рассказы Валиханова о таинственном Кашгаре, о долгом и опасном пути, о краях, известных европейцам никак не более внутренней Африки.

Наконец Чокан Чингисович уезжает в Омск. Но друзья расстаются ненадолго. Вскоре Достоевский получает на руки «проездной билет за № 2030», подписанный новым командиром 7-го Сибирского линейного батальона майором Скоробогатовым: «...Ныне прапорщик Достоевский по высочайшему приказу, состоявшемуся в 18 день марта сего 1859, уволен за болезнью от службы подпоручиком, который по отставке изъявил место жительства в Твери. Для чего и дан сей временный билет на проезд впредь до получения паспорта в областном городе Семипалатинска июня 30 дня 1859 года».

К сборам готовились давно, и они недолги. Куплен большой тарантас — неуклюжая, но прочная и быстрая в дорожной починке колымага. Вещи собраны, благо их совсем не много. Артемию Гейбовичу Достоевский дарит свои коллек-

ции минералов и старинных вещиц, свою «полусаблю», свою фотографию в мундире офицера 7-го линейного батальона. Уговорился он с Артемием Ивановичем о том, что возьмет к себе денщика Василия,— Достоевский уверен, что в семье Гейбовичей к нему будут относиться по-человечески.

А будущий аягузский городничий подносит бывшему прапорщику флягу в плетеном чехле, наполненную померанцевой.

— Разопью, когда перееду через Урал,— говорит Достоевский, принимая подарок.

В пять часов пополудни 2 июля 1859 года тарантас выехал за городскую черту Семипалатинска.

Погода до Омска стояла бесподобная, и дорога показалась легкой. В Омске предстояло забрать из корпуса Пашу Исаева. Пробыли там Достоевские дня три или четыре. Побывал Федор Михайлович у некоторых старых знакомых — у коменданта крепости де Граве, у Ждан-Пушкина (Ивановых в Омске давно уже не было). Но столица края нагнала на Федора Михайловича тоску. Совсем еще, оказывается, не зарубцевались в памяти острожные дни, стена крепости наводила на мысли и воспоминания невыразимо грустные...

Оживила Достоевского лишь новая встреча с Валихановым. Выяснилось, что и теперь они расстанутся ненадолго; через месяц Чокана Чингисовича вызывали в Петербург, а Федор Михайлович твердо надеялся, что Тверь окажется лишь кратковременной станцией на пути в столицу.

К этой встрече, видимо, и относится знаменитая фотография двух друзей.

Правда, Борис Герасимов уверенно датировал ее 1858 годом и даже указывал, что сделана она семипалатинским фотографом Н. Лейбиным. Однако в том году Валиханов в Семипалатинске не был вообще и, значит, не мог посещать заведение Н. Лейбина. Относили фотографию и к 1856-му, но в том году Федор Михайлович еще не мог носить офицерского мундира.

Мне кажется, что датировать снимок позволяет кинжал, который Валиханов держит в правой руке.

Этот маленький кинжал, пригодный лишь для разрезания книжных листов, подарил Достоевскому Врангель, уезжая из Семипалатинска. Теперь же, при прощании с Валихановым, Федор Михайлович поднес его на память молодому другу. Об этом Достоевский совершенно определенно пишет Врангелю из Твери 31 октября 1859 года: «Малень-

кий кинжал... я почел своей собственностью... и, уезжая, подарил в свою очередь между прочим кинжалик Валиханову...».

* * *

Тяжелый тарантас остановился на Березовой горе у каменного столба. Федор Михайлович вышел, подошел к столбу, прочитал вслух на правой его стороне надпись: «Азия». И на левой: «Европа».

Почти десять лет прошло с того дня, как проехал он в кандалах мимо этого столба. Боже мой, десять лет! И каких!

Он достал флягу в плетеном чехле, налил жене, возчику, инвалиду, сидевшему в будке у столба, себе. Чокнулся со всеми. Выпил. Посмотрел вокруг внезапно построжавшим взглядом, коротко бросил:

— Ну — в путь.

Десять лет.

Все равно, впереди — больше.

* * *

Он был уверен, что самое тяжелое позади, что если не счастье, то уж покой и волю, пушкинскими словами говоря, он завоевал.

Но я-то, живущий через век после, знаю, что ничего этого не будет. Ни покоя, ни воли.

Будут прежде всего хлопоты, огромные и разнообразные, чтобы выбраться в столицу из Твери, которая ему покажется куда хуже и скучнее Семипалатинска. А когда завершатся хлопоты, пойдут года лихорадки торопливой журнальной работы, оставившей в конце концов горький осадок после себя, будут могилы близких, будет долговая кабала...

Предстоит Федору Михайловичу и неделями голодать в немецких гостиницах, ожидая аванса от какой-нибудь редакции. И выпрашивать крошечные суммы у людей, которые неприятны. И годы скитаться по Европе из города в город, тоскуя по родине и боясь вернуться на родину. А когда вернется он все же в дорогое отечество, встретит его один из многочисленных кредиторов и издевательски скажет: «Вот вы талантливый литератор, а я хочу показать, что я, маленький немецкий купец, могу знаменитого русского литератора запрятать в долговую тюрьму». Сколько их будет, таких унижений, бьющих прямо в сердце!

Удастся все-таки Федору Михайловичу расплатиться с долгами — за год до смерти, словно специально для того, чтобы умереть, не слишком уж беспокоясь о будущем семьи.

Тревожная, напряженная, бедная жизнь. И вряд ли было у него время часто вспоминать край, где он провел пять лет. Разве что в русском посольстве в Копенгагене, прогостив несколько дней у старого друга Врангеля (заехал Федор Михайлович к нему, конечно же, для того, чтобы занять немного денег), поговорил он о прежних годах, о Семипалатинске, о «милом Вали-хане» — где-то он, как-то он? К тому времени пройдет уже полгода со дня смерти Чокана, но Достоевский еще не будет знать о ней. Да позже, редактируя «Гражданин» и попав на гауптвахту за публикацию статьи «Киргизские депутаты в С.-Петербурге» (оказывается, для напечатания ее требовалось согласие министерства двора), он подивился наверно, как причудливо его жизнь связана со Степью.

Но ему, надо полагать, было бы интересно взглянуть сейчас, век спустя, на тот город на Иртыше, где маршировал он в солдатском мундире, где встречался с благородными людьми, где любил, где творил.

Недавно он, этот город, отпраздновал свое двухсотпятидесятилетие. За прошедший век он вписал немало страниц в летопись истории и в летопись литературы.

Когда Достоевский уезжал отсюда, мальчику-степняку, кочевавшему со своей семьей в отрогах Чингистауских гор, было четырнадцать лет. Он вырос. Он часто приезжал в Семипалатинск и сроднился с ним. Он стал великим поэтом и мыслителем на берегах Иртыша. Его звали Ибрагимом Кунанбаевым, но народ навсегда запомнил его под именем Абая.

Он любил Пушкина, и любимой героиней его — как и Достоевского — стала Татьяна. И он перевел слова, вложенные гением в ее уста, на родной язык, и нежная и прекрасная песня Татьяны зазвучала во всех уголках необъятной Степи.

Он стал мудрецом, учившим своих земляков тому, как искать путь к свету. Он прожил долгую и трудную жизнь. Он еще жил, когда в его родных местах появился на свет другой мальчик, который потом десятилетия посвятил созданию вдохновенного рассказа о жизни Абая. И рассказ этот обошел все страны, покорил людей всех племен и наречий своей поэзией и правдой.

И его, Мухтара Ауэзова, помнит Семипалатинск — и молодым, ищущим правильного пути, пробирающимся к нему силой огромного своего дара и неподкупной любви к народу, и зрелым человеком в расцвете таланта и славы, художником и философом, к чьему слову прислушиваются миллионы людей...

...Да, тревожное будущее ждало Федора Михайловича. Но он создал гениальные романы, которые стали достоянием и духовной пищей многих поколений. Его вдохновенная и дерзостная мысль достигла огромных высот, открывая законы жизни, беспощадно разоблачая неправоту мира, где человек человеку волк.

Для нас девизом стали другие слова: «Человек человеку друг». И тут он с нами.

Достоевский любил и искал факты жизни, которые могут становиться символами. Мне кажется символичным, что, когда на его любимый город напали те, кто хотел на тысячу лет утвердить на планете волчье право «сильных», среди защитников города оказался его внук. Вместе с другими, миллионом других, Андрей Федорович голодал 900 дней, потерял счет бомбежкам и артобстрелам — и выстоял, и победил этих самых «сильных», утвердив достоинство человека.

Наш двадцатый еще — и намного — посложней его непростого девятнадцатого. Многое сплелось в его исполинском клубке — такой взлет человеческого разума, который даже Достоевский не мог представить, и безумие, достойное самых слепых эпох средневековья. Времена проникают друг в друга, и часто современниками оказываются люди разных эпох, а живущие в одном календарном году принадлежат разным периодам истории.

В этом смысле Достоевский — наш современник.



ВРЕМЯ И СЕРДЦЕ

Невские эпизоды

ОТЕЛЬ «ВИКТОРИЯ»

За полночь — и далеко, но в дешевом номере одной из гостиниц славного города Висбадена совсем не темно — смотрит сквозь окно в него круглая, сытая, равнодушная немецкая луна. Да что толку от такого света — только не заснуть, а так — ни читать, ни писать. А в новой свече вечером отказали, слуга сказал, дескать, у вас от вчерашней довольно осталось. Какое там довольно — едва на час огарочка хватило. Но возразишь теперь разве? Кто возражения слушать-то будет? Слуги на зов нейдут, обувь и платье чистить и думать забыли, отмахиваются словно от мухи какой назойливой.

Стыд от унижения жжет самым натуральным образом, причиняет физическую боль. Напрасно Федор Михайлович успокаивает себя, твердит мысленно, что глупо и смешно сердиться на лакея — у лакея и душа лакейская. Но вспомнишь, сколько презрения, откровенного, наглого, громкого презрения у них в глазах — и головой о стенку колотиться хочется, выть на эту самодовольную, блистающую, как полицейская бляха, луну.

Нет у немца выше преступления, как быть без денег и не заплатить в срок.

Все в гостинице отлично знают, что у него ни крейцера. Тем не менее он выдерживает амбицию: каждый день в три часа уходит и гуляет до шести, чтоб не видели, что вовсе не обедает. Зачем? Ведь и посуднице известно: голодом сидит этот заезжий «русский боярин» (князьком, поди, промотавшимся считают). А вот подкатит три пополудни — и выходишь с независимым видом (удается вид этот, надо думать, как худому провинциальному актеру в роли шиллерова героя). Какая хлестаковщина...

Которые, однако ж, сутки пошли, как хозяин отеля отказал в еде: «Ви не заслужиль ваш обетт»? Да-с, не заслужил. Как школьник. Не заслужил, ибо нищ!

Странно, но есть теперь не так уж хочется. Перетерпелось, должно быть. Он старается меньше двигаться, бережет силы, ходит только на эти якобы обеденные прогулки. Да и куда идти в этом проклятом городишке, на который и смотреть-то тошно.

Чай утром и вечером, правда, еще дают. Прескверный чай, совсем спитой.

Удивительно — два месяца назад он считал, что хуже

положения, в каком тогда был, и представить нельзя. Обстоятельства складывались действительно ужасно нехорошо. Кредиторы собирались описать имущество (много бы они получили, описав его имущество!), грозились тюрьмой...

Ямы он боялся. Не столько даже позора — привычной квартирой стала долговая тюрьма для российских литераторов; вон год назад лишь за два дня до своей внезапной смерти вышел из нее Аполлон Григорьев, друг, один из первых критиков русских (да и что яма в сравненье с каторгой, чрез которую прошел) — сколько того, что не сможет там работать, сочинять. Он навещал бедного Григорьева, видел те обширные пыльные камеры, переполненные до отказа обтрепанным, шумящим, как мушиная куча, петербургским людом третьей руки. Если Григорьев с его крепостью и силой не мог в этакой камере неделями хоть на пять минут забыться, заснуть, то что уж о нем говорить. Припадки бы пошли подряд. А на сочинительство только и надежда, других способов продержаться не видать — нового журнала сейчас не затеешь (хотя есть в этом смысле одна мысль, довольно любопытная и обещающая). А за спиной — «семейство», после кончины брата Михаила не знающее, как дальше жить, пасынок Паша, брат Николай. Все цепляются за него, для всех в нем последняя надежда. А что может он?

Пришлось выйти из комитета Литературного фонда, ибо члену руководящего комитета самому ссуды брать неприлично, а он брал — и крупные. Уже и газетные сплетни о том начались (денег этих Федор Михайлович не видел, видел только расписки кредиторов — в их руки ссудные суммы переходили немедленно).

Старому же знакомцу Андрею Александровичу Краевскому, антрепренеру журнальному, он буквально в рабство предлагался. И сейчас еще, в ночном Висбадене, его всего передергивает, когда вспоминает он свое июньское письмо к этому кулаку. Он просил три тысячи вперед, обещал к октябрю доставить новый роман размером с «Униженных и оскорбленных». Зная, с кем имеет дело, писал: «На случай моей смерти или на случай недоставления в срок рукописи романа в редакцию «Отечественных записок» представляю в заклад полное и всегдашнее право на издание *всех* моих сочинений, равномерно право их продать, заложить, одним словом, поступить с ними, как с полной собственностью».

Далее в проекте договора следовали еще более жестокие и унизительные пункты. Плату Федор Михайлович просил

на сто рублей за лист, меньшую, чем он получал раньше,—и подчеркивал это. Ежели б рукопись не понравилась, то хозяин «Отечественных записок» мог возвратить сочинение автору, оставив за собой заклад — право на бесплатное издание всех прежних его сочинений — до тех пор, пока Достоевский не вернет трех тысяч да еще с десятью процентами. Имел бы Андрей Александрович до выкупа залога право на гонорар за все новые статьи Федора Михайловича, где б они ни появились.

Условия, конечно, чисто каторжные, но ведь для избавления от долгов он и в настоящую каторгу бы снова пошел. С радостью и на такой же срок. И алебастр бы на плечах таскал и щи с тараканами хлебал. Только чтоб отбыл четыре года — и нет больше долгов, нет кредиторов — свобода в самом полном смысле сего понятия. Да, пошел бы.

Почему ж Краевский и на такие каторжные условия не согласился? Очевидная ведь выгода, а ее Андрей Александрович редко упустит. Действительно, свободных денег не оказалось? Вполне возможно, разумеется, при нынешнем всеобщем и необыкновенном падении подписки на журнальные издания — уж кому-кому, а экс-редактору покойной «Эпохи» это небывалое охлаждение публики отличнейшим образом известно, на собственной спине испытано. Вполне возможно; однако вряд ли. Трудно поверить, чтоб такой выжига, как любезнейший Андрей Александрович, на прибыльную аферу денег не сыскал. Вернее другое: не счел Краевский сделку выгодной, решил, что литератор Достоевский ныне уж битая карта. Ну да, авторская репутация его в сей момент не очень высока — год не печатал ни строки, возился со своим журналом по девятнадцать часов в сутки и за редактора, и за корректора, и за типографщика. А публика забывчива, за год начали позабывать и его; вдобавок многие из публики решили (и не только в провинции, но и в столицах), что умер не брат Михаил, а он; от мертвого чего ж новых сочинений ждать... А когда напечатал в самом последнем номере «Эпохи» эту фельетонную штучку про пассаж в Пассаже, то, надо признаться, она его литературную репутацию отнюдь не возобновила, а скорей уронила. Эти либеральные господа стали явственно намекать в критике, что, мол, его невероятная история о крокодиле, проглотившем чересчур самонадеянного молодого чиновника, в комических тонах изображает арест и заключение Чернышевского. Фу, какая чепуха! Да, ему порой смешны, а порой враждебны глубокомыслен-

ные теории господина Чернышевского относительно будущего хрустального дворца. Но как не понять, что никогда не станет бывший каторжник смеяться над каторжником сущим!

Но, кажется, Андрей Александрыч-то поспешил с выводом. Новый роман задумывается так, что публику за душу схватить должен, и все неблагоприятные толки о нем враз схлынут. О пьянстве нынче говорят и пишут всюду. Один из самых больных наших вопросов. Недавно еще либерально полагали, что зло исключительно в откупщиках, а коли откупа уничтожить и начать выпускать для мужиков дешевые книжки о том, что такое гром, о князе Олеге и т. п., то в народе немедля воцарится всеобщая трезвость. Вот откупов нет, а кабаков не меньше.

Роман он назовет «Пьяненькие». Не только сам вопрос разберет в нем, но и представит читателям все его разветвления в быту общественном и семейном,— нищета, жены пьяниц, воспитание детей в этой обстановке и проч. Сколько таких типов и сцен видал он в недавнюю пору, когда квартировал на Средней Мещанской в самом средоточии того мелкого петербургского люда, что поставляет жильцов для тюрьмы да ямы или просто гибнет на улицах. И с каким сердцем напишет он об этом! Брат Николай из головы нейдет. Тридцать лет с небольшим, образован, инженер, добр, а служить уж нигде не под силу, ибо пьянством превращен в расслабленного калеку, а семья нищенствует, бьется. И нечем, нечем помочь.

И Александра Ивановича Исаева покойного приведет он в романе на столичные улицы — оборванного, жалкого, благородного и бесконечно несчастного. Нет, счастливый замысел, высокий замысел. И думается над ним легко. Правда, последнее время стал внезапно отвлекать другой, о молодом человеке, студенте с одной *идеей*... Это должна быть небольшая повесть, но, может, окажется лучше всего, что он раньше написал, если... если дадут ее докончить!

Боже мой, да о будущих ли шедеврах сейчас думать?! Может быть, утром уже придут, заберут вещи, а самого вышвырнут на улицу. Или арестуют. С них станется. Будет яма, да не петербургская, а немецкая. Из нее никто не выкупит. Просто никто из русских не будет знать, где он, и он пропадет, сгинет без следа. Такие случаи бывали, бывали.

А Поля, Поля? Она-то, может, уже пропала. Уехала она отсюда почти без денег, вполне могло у нее в Кёльне не хватить на билет третьего класса до Парижа, где знакомые.

Надо же в Кёльне — ну, хоть голодом — на отель, извозчиков и могло не достать. Появляется полиция и уводит ее в комиссариат. И от кого ей ждать тогда помощи?

Он Поле ничем не поможет. Наоборот, сам надеется — только уж очень слабая надежда — на ее помощь. Написал наугад в Париж, просит занять для него где-нибудь сто пятьдесят гульденов. И клянется любимой женщине, что непременно отдаст, уж ей-то отдаст, не подведет. Ужасно, а что делать? К кому обратиться, куда пойти? Не к кому, некуда; все перепробовано. Но надо же, чтоб человеку было можно хоть куда-нибудь пойти!

А Поля, возможно, не в Париже, а в кёльнской полиции.

Когда он вырвался за границу, взяв в Литературном фонде еще одну ссуду (в глазах либерально добродетельных господ это был предел неприличия; он их взгляды кожей ощущал) и кинув ее, как кость, самым разъяренным кредиторам, то хоть на долгий покой не надеялся, но рассчитывал все же на маленькую передышку, на два-три месяца без каждодневных воспаленных мыслей о выходе из тупика, куда так прочно попал. Европу, города и народ ее смотреть он любил, хотя виденное не принимал и спорил с ним. А в этот раз и не увидел ничего: примчался в Висбаден, выбрал для жительства отель с многозначительным названием «Виктория» (хозяин был догадливая стерва, многие селились тут только из-за названия) и за пять дней проигрался в пух; дотла — даже часы заложил.

На выигрыш в Висбадене он очень рассчитывал. Суеверие отчасти: именно здесь несколько лет назад налетел он на тот счастливый случай, после которого на долгие годы заболел рулеткой. Он тогда выиграл 12 000 франков, выиграл шутя, в один час. Эту цифру — 12 000 — Федор Михайлович не мог и не хотел забыть (о том, что в следующие недели почти все выигранные франки ушли обратно на игорный стол — и очень кружным и страшно неприятным путем,— он, напротив, постарался позабыть поскорее). Тут не было слепого везения: он выработал свою совершенно надежную и правильную систему игры. При спокойствии нервов и хладнокровии она непременно приносила выигрыш — иногда довольно крупный, иногда маленький, но непременно. Англичанин бы с ней капитал уже сколотил. Беда заключалась в том, что как раз спокойствия и хладнокровия-то он и не мог обрести — и отчаянно проигрывал, попадая при этом в пренеприятнейшие и унизительные положения. Уте-

шал он себя тем, что приключения бывают разные, и если б их не было, то жить стало бы скучно.

Федор Михайлович посмеивался над соотечественниками, кто видел — издали — в этих рулетенбургах нечто романтическое: не одни барышни представляли дело так, будто в роскошно освещенных и обставленных залах над сверкающими грудами золота с не лишенной благородства страстью в глазах склоняются английские лорды, французские маркизы и германские принцы. Между тем, в натуре, на удивление неряшливые зальцы освещались худо, золотые груды на столах, конечно, не возвышались — тускло желтеет несколько монет — и все, а остальное бумажки, да и тех не слишком. Лорды, маркизы и принцы встречались; среди них, очень возможно, изредка попадались и настоящие, но игра как бы усередняла всех, и благородный блеск в глазах был одинаково фальшив и у поддельных и у подлинных. Монеты из выигрыша соседа пытались таскать, разумеется, далеко не все, но он бы не удивился, если б среди склонных к тасканию вдруг обнаружились лица с непридуманными гербами.

Азарт его влек, как и всех здесь, однако притягательная сила рулетки для него заключалась главным образом в том, что был тут шанс сразу, в полчаса, сосредоточив в огромном напряжении волю и ум, обрести ту чеканенную свободу, которой не мог он десятилетия добиться самым отчаянным, самым острожным трудом.

(И еще — он отчетливо чувствовал, что все его волнения в полутемных игорных залах, все его выигрыши, проигрыши, заклады и унизительно бодрые письма родным с просьбами поскорей прислать немного денег постепенно складываются где-то в глубине его сознания в какую-то композицию с уже намечающимися характерами и событиями. Рано или поздно, завтра или через пять лет, она властно заявит о себе, заставит думать над ней, высветлять фон, резко очерчивать контуры и в конце концов прикажет взять в руки перо.

Так было во всю его жизнь. Он жил полной мерой, радуясь и страдая, но приходили редкие и неизбежные минуты, когда он вдруг взглядывал на себя со стороны и с неясной тревогой осознавал, что все так остро и жадно пережитые им радости и горести лишь топливо для какой-то чудовищно мощной машины, безостановочно работающей в нем).

Пока он только падал, гоняясь за этим шансом. И особенно больно сейчас.

Кажется, все, что можно было сделать, он сделал. И ничего толком не добился.

Первым, к кому он обратился, оставшись без единого гроша, был Тургенев. Сделалось это только потому, что Тургенев пил воды в каком-то соседнем «бадене» и мог прислать деньги завтра же, а Полю следовало быстрее отправить в Париж. Просить у Тургенева было тяжело, потому что он его не любил. Давние, почти двадцатилетние обиды, тургеневские эпиграммы и словечки времен «Двойника» и «Хозяйки» полузабылись, но незаметно для самого Достоевского влияли на оценку разных житейских поступков Ивана Сергеевича, неизменно скрашивая их в неприятный, раздражающий цвет. Федор Михайлович искренне недоумевал, как громадный талант, создавший «Отцов и детей» и «Дворянское гнездо», уживается под одной телесной оболочкой с такой дряблой душой. Помнилось, конечно, и то, что Ивану Сергеевичу заходить в игорные дома в поисках чеканенной свободы не приходится. Иван Сергеевич на досуге забавлялся игрой древней и невинной — шахматами.

Тем стыднее и неприятнее было обращаться к этому джентльмену, и Федор Михайлович со зла сообщил совершенно лишнее: деньги, мол, требуются немедленно потому, что проигрался, а прошу у вас со стыдом, но как человек у человека. Сообщив же, рассердился на Тургенева еще пуще.

Тот деньги прислал быстро, но не сто талеров, как просил Достоевский, а пятьдесят. Со злости на такую половинчатую любезность Федор Михайлович тут же чуть не все эти талеры проиграл, едва удержавшись,чтоб не просадить и тот остаток, без которого Полю уж решительно нельзя было отправлять в дорогу.

Должая в Висбадене, он не мог представить, чем станет покрывать долги. Из России обещала прислать только «Библиотека для чтения», да и то капельку. Перед отъездом Федор Михайлович уже взял немного в редакции этого старого, когда-то, при Сенковском, гремевшего на всю Россию журнала. Новый его издатель молодой фельетонист Петр Боборыкин предпринимал отчаянные, но, как всему петербургскому литературному миру, ясно было, вполне безнадежные попытки вдохнуть жизнь в умиравшее от одряхления издание. Денег у Боборыкина почти не было, но для Достоевского он наскреб — сотрудничество знаменитого писателя

явилось для «Библиотеки» той соломинкой, за которую хватаются обеими руками.

Но Федор Михайлович не знал, чем рассчитываться и с Боборыкиным. Отдавать «Пьяненьких» или повесть о студенте, вещи, имевшие вероятность серьезного успеха, в журнал, о чьем существовании помнило по всей стране лишь несколько сот подписчиков (да и то скорее по воспоминаниям молодости), было бы верхом нерасчетливости. Правда, надумывался еще и рассказ об игроке, о картежных мертвых домах на европейских минералах, но вставал резонный вопрос: а когда он успеет все это написать?

Он чувствовал, что тонет. Не быстро, как в воде, а медленно, словно в зыбучих песках. Однажды ему показали такие пески недалеко от Семипалатинска, на левобережье Иртыша. Выглядели они мирно, но, если на них забредала лошадь, спасти ее уже не удавалось. Рассказывали тогда — последняя утонула вчера. Под самый конец она так обессилела, что и кричать не могла, погружалась молча.

Ну, он-то еще кричит. Строит планы. Кошачья живучесть!

После Тургенева написал Герцену. «Лондонский агитатор» (жил он, впрочем, это лето в Женеве) был богатым человеком, и Достоевский попросил у него четыреста гульденов. Просил без раздражения. Они встречались дважды — в Лондоне и два года спустя на пароходе в Средиземном море. Встречались хорошо; понимали — не единомышленники, но находили тем не менее немало общих пунктов во взглядах и нравились друг другу как собеседники. Недавно Герцен в статье, напечатанной на французском языке и обращенной к европейскому читателю, очень высоко поставил «Мертвый дом», успев вспомнить в кратком отзыве о нем сразу и Данте и Микельанджело.

Федор Михайлович допускал, что и у состоятельного человека возможна временная заминка в свободных средствах, потому волновался в ожидании, но уж на ответное-то письмо рассчитывал твердо.

Между тем дни шли, Федор Михайлович с ужасом их отсчитывал (кончалась и отсрочка платежа, с великим трудом выклянченная у «немецкой колбасы»), а ответа все не получалось. Он утешал себя: если от Герцена нет известия, значит, его самого нет в Женеве. Тогда одно из двух: или он уехал ненадолго, скоро вернется, прочтет и ответит, или надолго, но в таком случае наверняка оставил адрес, куда

ему пересылать корреспонденцию, ему перешлют, прочтет и ответит. Словом, после недолгой задержки все должно кончиться благополучно. Но тут же на Федора Михайловича нападало сомнение, и он загодя начинал обличать Герцена. В том письме к Поле он негодовал: «Если он получил от меня письмо и *не хочет* отвечать — каково унижение и каков поступок! Да неужели я заслужил его, чем же? Моей беспорядочностью? Согласен, что я был беспорядочен, но что за буржуазная нравственность! По крайней мере, отвечай, что я не «заслужил» помощи (как у хозяина обеда)...».

Верным оказалось первое предположение: Герцен ненадолго уезжал из Женевы. Он ответил, но денег не прислал — нужной суммы под руками не оказалось: содержание типографии, печатавшей «Колокол» и другие герценовские издания, да и вся обширная деятельность Александра Ивановича требовали больших и часто внезапных расходов. Он спрашивал: не обойдется ли Достоевский пока ста-ста пятьюдесятью гульденами?

Герцен спешил с ответом*, но тут злую роль сыграла обидчивость Федора Михайловича: он был доведен до такого состояния, что обиды виделись ему всюду, даже там, где их и в помине не было,— чересчур уж хлебнул горячего за последние месяцы. Его раздосадовало, почему Герцен не отправил эту сотню или полторы сотни гульденов сразу же («прислал бы 150 и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается»), и он решил, что снова обращаться в Женеву, ему никак невозможно.

Третий знакомый, которого Федор Михайлович просит о займе,— это старый семипалатинский друг Александр Егорович Врангель. Он сравнительно недалеко: объездив чуть не полпланеты, служит теперь в русском посольстве в Копенгагене. Александр Егорович, хоть Достоевский и давно его не видел, оставался совершенно своим человеком, и сотню талеров Федор Михайлович попросил у него совсем свободно, вроде безо всяких ущемлений чести. Однако, написав, с неприятным чувством обратил внимание, каким необычно большим вышло у него прописное веди в словах «Вы»,

* Это письмо утеряно, сохранился лишь обрывок с заключительными фразами, но и его достаточно, чтобы убедиться: ответ Герцена имел доброжелательный и дружеский характер. Вот этот обрывок: «Прощайте. Тороплюсь, потому что Ваше письмо пришло без меня (я был в горах). В Женеве заезжайте. Усердно кланяюсь Вам, А. Герцен. 21 ав. 1865. Женева».

«Вас», «Ваш». А их, этих слов, было много: «Если у Вас есть в эту минуту, то Вы не оставите без помощи утопающего» и т. д.

Но и Врангель промолчал.

Тут уж Федор Михайлович не рассердился, а растерялся. Дела были мерзки до последнего предела. Если б не эта проклятая и спасительная живучесть, он давно бы потерял волю к сопротивлению. Но молчание Врангеля, испытанного, десятки раз спасавшего в трудные минуты товарища, добивало и его.

К счастью, во время одной из «обеденных» своих прогулок он случайно познакомился и разговорился со священником здешней русской церкви по фамилии Янышев и в беседе с ним узнал, что тот бывал в датской столице и знаком с Александром Егоровичем. Мало того, Янышев, оказывается, знает даже, почему нельзя сейчас ждать от него ответа,— Врангель в отпуску по должности и уехал в Россию. Но в сентябре он собирался уже возвратиться, правда, когда именно — в начале или конце месяца — священнослужителю Висбаденской православной церкви досконально не известно. Значит, нечего было подозревать милого Александра Егоровича в измене дружбе, значит, опять появилась какая-то надежда, а коли есть надежда, есть и жизнь...

А луна еле-еле продвинулась по небосклону. Ночь только в разгаре, ей еще длиться и длиться, этой бесконечной, тысячелетней, тяжелояростной ночи в миллион мыслей.

В номерке отеля «Виктория» ворочается на кровати голодный, донельзя измученный немолодой человек с болезненно шелушащимся лицом и воспаленными бессонницей глазами. Он думает о том, что завтра (если, конечно, хозяин не вызовет полицию) он должен обязательно поесть, терпеть голодом дальше — значит впасть в апатию и окончательно потерять силы и физические и духовные. Выбирать не приходится: единственный выход — попросить завтра какую-нибудь мелочь — ну хоть крейцеров сорок у этого малознакомого священника. Стыдно невероятно, а надо жить.

Но вместе с тем голодный немолодой человек думает и о том, каким же образом подойдет его студент к своей *идее*. И о том, что он, вероятно, смог бы удерживать внимание публики с год по крайней мере, выпуская ежемесячно тетрадки со своими откликами и размышлениями на самые животрепещущие вопросы дня — общественные, литературные, судебные и т. д. Это был бы своего рода дневник писателя.

При первой возможности следует попробовать осуществить такое издание.

И еще он размышляет, какой же все-таки путь выбрать ему в жизни дальше, когда минет (должна же в конце концов миновать!) эта полоса несчастий и все с грехом пополам устроится (хотя бы ненадолго).

Он видит для себя три дороги. Можно остаться тут и сделаться игроком, бросив все сочинительство. А почему бы и нет? Чем оно наградило его, сочинительство, за преданность искусству, за тысячи бессонных ночей с пером в руке? Нет, игроком стать очень можно, тем более, что у него есть верная система.

Вторая дорога — бросить Россию с кредиторами и уехать надолго, а пожалуй, и навсегда на Восток. В Константинополь, Иерусалим, Египет. Восток, его история и культура, издавна интересуют его, и чем плохо прожить последние годы (нет, лучше последние десятилетия) в древней колыбели человечества, наблюдая и изучая — не для заметок, не для журналов, а только для себя. Можно взять у председателя литературного фонда, знаменитого путешественника Егора Петровича Ковалевского рекомендательные письма в наши восточные миссии...

И последнее — продолжать свою деятельность. Литераторствовать, писать романы, повести, статьи, рассказы, заметки, фельетоны (и голодать? и просить сто талеров у друзей и недругов?)...

Наконец, думает он, невесело усмехаясь, о том, что, сойдя с поезда на Николаевском вокзале шесть лет назад и начав тем новый период, никак не смог бы он представить, каким будет этого периода конец, на какую глубину несчастья швырнет его вновь спираль его жизни...

ОДА ШЕСТИДЕСЯТЫМ

В этой части книги о Достоевском быть следует двум героям.

Второй — это историческое время, эпоха, шестидесятые годы.

Неслучайно Федор Михайлович свои журналы, которые запускал тогда, так и называл — «Время», «Эпоха».

Бывают периоды, порою длительные, когда течение времени в его историческом смысле еле ощущают даже самые

проницательные политики, самые глубокомысленные философы, самые чуткие художники, так ровен и незаметен его ход. А благонамеренный обыватель и думать забыл о его существовании.

Но, к счастью, случаются и другие, когда время несется, словно гонит его штормом немыслимой силы через кинжальные рифы, когда, как заведенный, вращается круг исторической сцены и поминутно обновляются декорации, когда под самую толстую обывательскую скорлупу врывается леденящий ветер эпохи. Всех увлек стремительный поток, никто не остался на неподвижном берегу, да и нет его, берега, начисто размыло, будто и не было; один океан.

Среди самых штормовых периодов тысячелетней истории России навеки запомнились шестидесятые годы девятнадцатого века. «Океан — Россия»,— сказал поэт той поры.

Тогда крушили вокруг все, что могли, наспех строили, думали на века вперед (как всегда в штормовые эпохи), знали — с них начинается новая жизнь, настоящая жизнь.

Но до ее начала было еще страшно далеко.

Революцию ждали со дня на день — одни с радостным нетерпением, другие с настороженной опаской, третьи со страхом и ненавистью.

Но она не пришла.

...История редко считается с арифметикой. Начальный рубеж тех шестидесятых — не тысяча восемьсот шестьдесят первый год, конечный — не тысяча восемьсот семидесятый. Они начались раньше и кончились раньше.

Севастополь с огромной силой ударил по опоре, на которой стоял механизм самодержавной монархии. Но механизм был огромен, он выдержал, казалось, лишь дрогнул, да выскочили от толчка и дребезжа покатились какие-то третьестепенные гайки и винтики.

В последние годы царствования Николая механизм казался совершенным, как машина, доставлявшая вагоны с гг. пассажирами из Москвы в Петербург. Все винтики, гайки, шестерни, рычаги и передачи знали свое место и несли соответствующую службу. Царь правил, генералы командовали, министры распоряжались, чиновники писали и переписывали входящие и исходящие, солдаты маршировали и за недочеты в маршировке подвергались наказанию шпицрутенами. Мужики отрабатывали барщину. В университетах запретили преподавание философии и политической экономии.

Журналы печатали преимущественно о гастролях иностранных див, неудобствах дачной жизни и летописях XII века. Царил успокоительный, застойный, неподвижный страх, а дерзкие мечтатели (оказавшиеся, впрочем, не слишком опасными) были размещены надлежащим образом на окраинах великой империи.

Страх был так густ, что вызывал некоторое сомнение. Великий финансист Канкрин замечал: «Хотя чувство страха — одно из могущественнейших средств, но к нему нужно прибегать изредка». Замечание прославленного министра учесть, однако, оказалось невозможно, так как других могущественных средств никто не знал. От триединой формулы «самодержавие, православие, народность» официально не отказывались, но стали убеждаться, что практической пользы от нее мало; было в ней нечто от идеологии; ее можно было толковать, и некоторые — в Москве — начали толковать «народность» как-то подозрительно и даже перестали брить бороды. Страх же толкований не допускал.

Итак, все шло прекрасно, но, увы, как все прекрасное, оказалось недолговечным. Вдруг выяснилось, что опора, на коей покоился механизм, готова взорваться. Рушился многовековый уклад крепостничества, и новый монарх вынужден был произнести слова о том, что придется освобождать мужичков сверху, пока они не собрались сами освободить себя снизу,— по-пугачевски.

Чистить и подновлять государственную машину царизм заставляла необходимость искать пути своего спасения. Но некоторые ведущие части этой машины настолько заржавели, что ни на миллиметр не хотели сдвинуться с места, а в чистящих и подновляющих видели опасных фантазеров, может, и крамольников. К числу последних относили, например, того генерала Муравьева, который позже настолько усердно подавлял восстание в Польше и революционное движение в России, что был награжден сразу двумя новыми именами,— царь назвал его «Виленским», народ — «Вешателем». Усердным в этом направлении сей государственный муж был всегда, но взяточников, дураков и бездельников среди коллег и подчиненных действительно не жаловал, и этого в начале новой эпохи оказалось достаточным, чтоб его ославили прогрессистом.

Она, эпоха, начиналась словно в розовом тумане. Лишь самые зоркие ясно различали, где враги, где друзья. В глазах же массы дворянской интеллигенции рядом, в одном

строю поборников прогресса стояли и изгнанник Герцен, засветивший в Лондоне «Полярную звезду», и новые либеральные министры, что ввели определенные приемные дни для посетителей, и жандармский штаб-офицер Громека, писавший чрезвычайно энергическим стилем о злоупотреблениях полиции, и молодой критик Чернышевский, в «Очерках гоголевского периода русской литературы» первым воскресивший запретное имя Виссариона Белинского, и молодые бюрократы, воевавшие со взятками.

Шестидесятые годы уже прошли определенный отрезок дороги, когда стали появляться шестидесятники. Они были небольшой группой и среди «образованных классов», как тогда говорили; если же взять всю многомиллионную массу России, то в сравнении с ней они покажутся крохотной горсткой. Но не зря им присвоили имя времени: они стали его солью, они определяли его цвет, без них шестидесятых годов вообще бы не было.

Шестидесятники были поколением; поколением, чьи особенности, чей характер выразились с редкой рельефностью, но это не было поколение сверстников. Даты рождения шестидесятников — и сороковые, и тридцатые, и двадцатые годы, и даже — хотя не часто — десятые. А в сущности все они родились после смерти Николая I.

Шестидесятники были разными по возрасту, характеру, происхождению (среди них встречались и дети крепостных, и дети вельмож, и дети банкиров), общественному и имущественному положению — от студентов, выгнанных из университетов за нищету, до вполне, естественно, обеспеченных полковников генерального штаба. Их взгляды на многие общественные вопросы нередко сильно расходились, среди них существовали различные направления, порой жестоко враждовавшие между собой. И все-таки все они были шестидесятниками и резко отличались от других своих хронологических современников.

Все они, прежде всего, обладали твердым знанием: жизнь вокруг, жизнь с крепостью крестьянской и крепостью Петропавловской, отвратительно нехороша, грязна, бесчеловечна и не может быть дальше терпима. Но одного этого знания еще мало было, чтоб стать шестидесятником.

Необходима была еще вера: преобразовать эту грязную жизнь в чистую, бесчеловечную — в достойную человека призваны и обязаны, можем и должны мы. Сами. Без всякой помощи свыше.

И решимость: ни перед чем не останавливаться в достижении своей цели. Знаменитая фраза их вождя о том, что история — не тротуар Невского проспекта и наивно стараться остаться чистеньким, вступив на ее дорогу, стала для них аксиомой и лозунгом.

Вот это и определило психический склад героев шестидесятых, людей твердых, жестких, угловатых, сильных и смелых.

Одна из главных черт их духовного облика — уверенность в себе, самоуважение, обостренное чувство собственного достоинства. Это была реакция на николаевское низведение личности до положения винтика в государственном механизме. Нет, мы не деталь машины, говорили всем своим поведением шестидесятники, мы люди, личности, более того — мы призваны совершить великое, поэтому будьте любезны уважать нас. Уважать не взирая на то, как мы одеты, в каких квартирах живем, воспитанны или невоспитанны с вашей точки зрения. В «Что делать?» ведь много страниц, собственно, о том, как поступать бедняку-интеллигенту, чтобы не давать «хозяевам жизни» наступать себе на ноги, и эти страницы читались теми, кому адресовался роман, с таким же радостным возбуждением, как и четвертый сон Веры Павловны.

При Николае все регламентировалось строжайшим образом, точно было известно, скажем, когда кому что говорить, как одеваться, как вести себя. Шестидесятники эту «регламентацию поклонов» ненавидели, слишком о многом она им напоминала. Длинные косматые волосы, бороды, небрежность в одежде были протестом против вицмундирной аккуратности николаевских времен, вызовом и паролем (я говорю об явлении типичном, однако среди самых правоверных «нигилистов» попадались люди так следившие за своей внешностью, что им завидовали первые столичные франты).

Круто менялись порядки в быту, семейные отношения. Перемены были направлены в одну сторону: шестидесятники стремились освободить личность от уз условностей, традиций, иерархии. Мемуарист вспоминает: «Когда я был маленьким, нас учили говорить: «папенька», «маменька» и «вы», потом стали говорить «папа», «мама» и тоже «вы»; в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы и сами отцы учили детей говорить: «отец», «мать» и «ты»... Никогда еще не было в России столько жен и мужей, живущих отдельно, сколько их явилось в шестиде-

сятых... Разделившиеся неудачные семьи составляли затем новые семьи, но уже нелегальные, и общество относилось к этим нелегальным союзам с неизбежною полною снисходительностью. Вопрос о том, легальная или нелегальная у кого жена, стал невозможным, не имеющим смысла... Семейные отношения испытали полную революцию: все стало в них гуманнее, порядочнее, чище, а главное — правдивее».

«Женский вопрос», эмансипация женщины утвердились как злоба дня, не сходившая с уст и шестидесятников и их врагов. В правовом отношении женщина была беззащитна, дочь, пожелавшую жить самостоятельно, учиться и работать, отец мог вернуть через полицию. В противовес этому возникли и распространились фиктивные браки.

Началось увлечение естественными науками; часть молодежи сгоряча стала отрицать искусство, объявив его бесполезной и даже вредной барской забавой, отвлекающей от «дела». Ортодоксы «дела» развенчивали даже Пушкина и Лермонтова, а балет приравнивали к порнографии.

Только тут же надо оговориться, что подобные аскетические крайности явились уделом далеко не всех шестидесятников, пожалуй, даже меньшинства. «Нигилист» в оперной или концертной зале отнюдь не выглядел белой вороной. В числе шестидесятников были и художники и музыканты — и в том числе великие.

Весьма характерно, что ведущий сотрудник «Русского слова» Дмитрий Минаев, поэт бесспорно даровитый, но поверхностный, «бойкое перо», человек не особо глубоких знаний, в какой-то степени дюжинный человек эпохи, всегда следовавший ее ветрам, этот Минаев не только не поддержал «антипушкинские» выступления своего журнала, но и демонстративно, хлопнув дверью, ушел после них из органа, где им дорожили и сотрудничеством в котором он сам дорожил.

Время в шестидесятые мчалось, повторяю, стремительно, столь авторитетный свидетель, как сам Н. Г. Чернышевский, так сказать, главный шестидесятник, утверждал: «Один месяц стоит прежних десяти лет». Люди и общество в целом развивались и менялись с быстротой невероятной.

Николай Васильевич Шелгунов, один из самых чистых и ясных людей тех лет, полжизни проведший в ссылках по уездным углам и там сумевший остаться активнейшим и честнейшим деятелем прогрессивной журналистики, по возрасту «старший шестидесятник», писал в книге «Из прошлого и настоящего», что в дни его молодости многим его

сверстникам, да и ему самому, император казался «легендарным героем, коронованным рыцарем, истинным представителем недосягаемого царственного величия, цельным, последовательным человеком, характером и властелином, поднявшим царское достоинство и обаяние власти до высоты, дальше которой начинается уж только божеское величие».

А Дмитрий Писарев, младший шестидесятник, в дни своей молодости сочинил о «коронованном рыцаре» такие малопочтительные стихи:

Но довольно: спи спокойно.
Незабвенный царь-отец,
Уж за то хвалы достойный,
Что скончался наконец!

При этом следует учесть, что девятнадцатилетний автор столь своеобразного реквиема отнюдь не принадлежал к самому передовому отряду тогдашней молодежи. Позже в «Нашей университетской науке» — может быть, самых оригинальных мемуарах в мировой литературе, ибо в момент их написания мемуаристу едва исполнилось двадцать три года — Писарев очень обстоятельно и с обычным своим блеском рассказал, какой законопослушной, филистерской «овцой» был он в первые студенческие годы. «Наша университетская наука» — страстное обличие николаевской системы высшего образования, целеустремленной на выработку аполитичного «специалиста», чуждого жизненной практике, лишенного мало-мальски широкого кругозора, по сути дела того же «винтика» — лишь с несколько более затейливой резьбой. Какой-то период оболванивание юношей в студенческих мундирах шло довольно успешно, но потом воздух времени мощно ворвался и в университетские аудитории, и те «овцы», чью душу николаевские профессора не успели до конца омашинить, превратились в непокорных «козлищ» (по терминологии Писарева). Стал «козлищем» и будущий автор «Университетской науки», да еще каким: ведь его мемуары писались в одиночке Петропавловской крепости. А попал в это знаменитое место молодой публицист за написание прокламации, которая кончалась такими выразительными словами: «Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть... То, что мертво и гнило, дожно само собою свалиться в могилу; нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы».

Писарев, сам начавший учение в университете в 1856 году, точно указывает момент перелома в настроениях студенчества:

«Уже в 1858 и 1859 годах студенты, поступившие в университет, не были похожи на нас, студентов III и IV курсов. Поступая в университет, мы были робки, склонны к благоговению, расположены смотреть на лекции и слова профессоров как на пищу духовную и как на манну небесную. Новые студенты, напротив того, были смелы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, так что через какие-нибудь два месяца после поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали в студенческих кружках дельные вопросы и серьезные споры. Они затевали концерты в пользу бедных студентов, они приглашали профессоров читать публичные лекции для той же благотворительной цели, они устроили студенческую библиотеку...».

Именно в шестидесятые русское студенчество начало играть ту роль, что породила впоследствии популярную формулу «для нижних чинов»: «Враг унутренний — скубент».

Число студентов росло с той стремительностью, что так характерна для эпохи: только в Петербургском университете за несколько лет их стало впятеро больше. Университетские города превратились в магниты, вытягивавшие из российской провинциальной пыли железо молодых талантов. Об университетах мечтали в гимназиях и семинариях, ими всерьез интересовались; пылкие и решительные провинциалы, приезжая в столицы, зачастую впервые видели железную дорогу, но они знали, какой профессор читает на какой кафедре и чего он стоит.

Правительство было вынуждено ослабить цензурные вожжи, разрешить издание новых печатных органов, и этим воспользовались вовсю. Российская «гласность» переживала медовый месяц. После вынужденного молчания говорили без умолку, часто просто печатно болтали. Н. В. Шелгунов свидетельствует: «Еще никогда не бывало в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856—1858 годах. Издания появлялись как грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Одними объявлениями об изданиях можно было бы оклеить башню Московского Ивана Великого. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные

и научные, политические и вовсе не политические... Вся печать, с официальной, доходила до двухсот пятидесяти названий».

Конечно, сейчас, через столетие, то, что такая цифра казалась колоссальной, вызывает улыбку. Но не забудьте, что в предшествовавшую эпоху, чтобы перечислить русские журналы, хватило бы и пальцев одной руки.

Среди этих изданий имелось немало таких, которые и сами, а не только объявления о них, годились лишь на обойные нужды. Но вместе с тем шестидесятые были годами блестящего взлета русской литературы — представьте только, что тогда одновременно творили Тургенев, Гончаров, Щедрин, Некрасов, Лев Толстой, Достоевский, Островский, Тютчев, Фет — и все были в расцвете сил. Шестидесятые остались в истории как золотой век, как классическая эра русской литературной критики. И естественно, что «писательское сословие» имело в обществе авторитет исключительный. Тот же Шелгунов указывает:

«Время было такое, что на пиру русской природы первое место принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни после, писатель не занимал у нас в России такого почетного места».

И вся эта бурная и многообразная общественная и литературная жизнь эпохи была кипящей и сверкающей поверхностью звезды, все процессы на которой возникали, исчезали и управлялись волей таинственных и невидимых звездных глубин. И глубинами этими были народ, крестьянство, вопрос об его освобождении, вопрос о том, что ждет Россию — реформа, обманывающая мужиков в пользу помещиков, или крестьянская революция? На этой ключевой проблеме сталкивались шестидесятники и их враги — голубые жандармы и бюрократы с бледными петербургскими мертвыми глазами, увертливые краснобаи-либералы, «дикие помещики», рассвирепевшие, как зверь, у которого отнимают кусок мяса, и тот, в Зимнем дворце,— сын Николая.

Царева «свобода» обернулась, по ленинскому выражению, «бессовестнейшим грабежом». В. И. Ленин писал: «По случаю «освобождения», от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях *свыше* 1/5 части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 крестьянской земли. По случаю «освобождения», крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клином вго-

нялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения», крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали *вдвое* и *втрое* выше действительной цены на землю»*.

В разных краях русской земли вспыхнули мужичьи бунты. Казалось, что народ готов к восстанию.

Шестидесятники гордились своим «разумным эгоизмом», говорили: «Жертва — сапоги всмятку». Они были бескорыстнейшими идеалистами в бытовом, житейском смысле слова, и, когда пришла пора, они пожертвовали собой спокойно и без малейшего колебания.

На улицах столиц, в залах императорских театров разбрасывались прокламации с призывом к расправе с династией и ее слугами. Было создано подпольное общество «Земля и воля» — штаб будущего восстания, общество глубоко законспирированное, о котором мы до сих пор знаем мало.

И царизм Александра-«освободителя» сбросил овечью шкуру. Пули — взбунтовавшемуся мужичью! Виселица — польским патриотам, вставшим за свободу своей родины! Тюрьма, каторга, Сибирь — Чернышевскому, Писареву, Михайлову, Серно-Соловьевичу, всем самым умным, самым светлым, самым мужественным!

Революция была убита, не родившись.

Та революция, для которой жили шестидесятники.

И вдруг оказалось, что у них, совсем молодых, главное уже позади.

Сначала они не поверили в это. Михайлов, отправляясь в кандалах на каторгу, не сомневался, что скоро вернется, Чернышевский, работая в конце шестьдесят второго года — в крепостной камере — над своим романом, в его эпилоге предсказывал свое освобождение революцией и датировал его шестьдесят пятым годом.

Но революция не пришла, потому что она была убита. И потянулись годы, долгие, как снега тундры.

Медленно сожгли гениальный мозг Чернышевского на ледяных вилюйских кострах. Мы помним об этом. Но вспомним о других. Вспомним, например, о Евгении Михаэлисе, друге Абая. Его именем названы улицы в прииртышских городах. А что он делал? Метеорологические наблюдения.

---

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 173.

Топографические съемки. Этнографические записи. Занимался общественной деятельностью в уездных масштабах. Он умер перед первой мировой войной, семидесяти двух лет от роду. А в восемнадцать он был вожаком петербургских студентов, революционным генералом Чернышевского. Его прочили в министры будущей республики. Он был российским Сен-Жюстом. И, как Сен-Жюста, его казнили. Не гильотиной — Усть-Каменогорском.

Оставшиеся или вернувшиеся на волю часто гибли случайно, нелепо, словно не знали, что с собой делать дальше, словно не хотели перешагнуть порога своей эпохи. Могучего бурсака Помяловского свел в могилу случайный нарыв на ноге. Отличный пловец Писарев утонул недалеко от берега. Захворавшему Василию Курочкину врач по ошибке дал смертельную дозу морфия.

Другие не сумели умереть вовремя. Николай Утин, видный землеволец, накануне ареста сумел бежать за границу, там стал одним из основателей русской секции I Интернационала. Его знал и очень тепло отзывался о нем Карл Маркс. Но кончились шестидесятые годы, и Утин отходит от политики. Еще несколько лет — и он европейский поверенный русских миллионеров — Полякова, Лохвицкого. Затем его новые хозяева, оценив деловую хватку вчерашнего революционера, выхлопатывают ему прощение. Утин снова в России, управляет металлургическими заводами, усердно и успешно выжимая из рабочих деньги для российского капитализма, полного молодой жадности. Товарищ по подпольному обществу, встретившись с ним незадолго до его смерти, с трудом узнал в неуклюжем, грузном, не по годам постаревшем, равнодушном ко всему на свете человеке друга романтической юности, соратника по борьбе.

Это даже не самый разительный пример. Ведь цинично продавшиеся реакции «нововременцы» Суворин и Буренин — тоже бывшие шестидесятники.

Но все-таки это исключения, а правило было другим. Правилом были те, кто до старости донес верность своей молодости, кто как самым громким титулом гордился именем — шестидесятник. Среди них были великие ученые — Сеченов, Софья Ковалевская, были просто земские врачи, статистики, преподаватели гимназий. Они любили работу, знание, науку и умирали не сомневаясь, что хорошо прожили жизнь.

И были и такие — немного, естественно,— кто до конца

остался на переднем крае борьбы за будущее счастье русского народа, которого — они уже знали это — им самим не увидеть. Тут опять нужно вспомнить Шелгунова. Скромный, умница, он негромко вошел в журналистику и долго держался на втором плане, потому что работал с такими гигантами, как Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Его великие друзья погибли, а он остался. И писал, писал, писал, то в одном, то в другом медвежьем углу, куда без конца его бросали ссылки. Он шел через десятилетия, оставаясь самим собой, перешагнув через искусы народничества и теории малых дел, и революционером дошел до новой эпохи, когда вождем освободительного движения начал становиться рабочий класс, и передал ей привет от шестидесятых. Когда хоронила его огромная толпа — к концу жизни он стал знаменит, потому что люди новой эпохи поняли, какой героической была его скромная и спокойная стойкость,— на одном из венков была такая надпись: «Н. В. Шелгунову — указателю пути к равенству и свободе от петербургских рабочих». Об участии рабочих в похоронах революционера-шестидесятника писал Ленин в статье «Первые уроки».

Рядом с вот такими людьми прожил последнюю треть своей жизни Федор Михайлович Достоевский.

Он тянулся к ним и враждовал с ними, яростно спорил, ядовито высмеивал, а иногда неожиданно для себя восхищался ими. И всегда думал о них.

Если бы их не было, его книги стали бы другими.

Первые годы после Семипалатинска Достоевский занимался прежде всего тем, что узнавал их. Он понимал, что без такого знания нельзя писать о современности.

Но знакомство могло состояться только в столице. А Федор Михайлович пока ехал из Азии в Тверь.

ТВЕРСКОЙ АНТРАКТ

Ощущение дальней дороги многими из нас нынче почти потеряно.

Потеря началась не вчера, уже век назад жаловались: из окна вагона ничего не увидишь (железные дороги становились бытом). Чернышевский, съездив в Лондон к Герцену, вспоминал, что ему довелось «проспать Германию от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути тоже всю сухопутную дорогу». Чернышевский

любил прикидываться флегматиком, но в эпоху дилижансов и Обломов не сумел бы проспать половину Европы.

А для нас и скорый поезд нестерпимо медлителен. Мы привыкли прыгать через полматерика за несколько часов, да и эти часы видим в иллюминатор лишь крыло своего самолета.

Но в шестидесятые годы девятнадцатого столетия каждый, кто ехал из одной части света в другую, был настоящим путешественником и проспать дорогу не мог при всем желании. У Федора же Михайловича такого желания, естественно, и не имелось. Ему шел тридцать восьмой, дальнюю дорогу он проделывал второй раз в жизни (и первый — без кандалов). Он ехал и смотрел вокруг себя восторженным (свобода!), но, как всегда, внимательным и оценивающим взглядом.

Ему понравилась Тюмень деятельным характером своей жизни, и он предрек старейшему сибирскому городу большое будущее.

В Екатеринбурге Федор Михайлович вспоминал о своей коллекции минералов, оставленной Гейбовичу, разглядывая многочисленные изделия из уральских самоцветов в городских лавках. Денег оставалось мало, но камни были так хороши, что Достоевский накупил их массу. Утешал Марию Дмитриевну тем, что неудобно же даже из Сибири не привезти подарков родным.

Отметил: за Пермью вдоль дороги идут уже возделанные поля. В Казани застряли, потому что деньги кончились совершенно. Михаил Михайлович должен был прислать сюда двести рублей, но перевод задержался. Достоевский успел абонироваться в библиотеку и все дни проводил в ней.

В Нижнем ему всего интереснее всероссийская ярмарка. Он ходит по ней три часа, однако считает: «Видел разве только краюшек. Обозревать все это надо месяц. Но все-таки эффект значительный».

В Москве жили сестры, но Федору Михайловичу въезд в столицы запрещался. Он поколебался немного, однако рассудил, что, попав к родственникам, вряд ли выберется из Москвы раньше недели. А это было уже рискованно. Достоевский же рисковать не имел права. Его задачей являлось как можно быстрее добиться разрешения легально жить в Петербурге. Ради ее решения он готов был пожертвовать многим.

Москву обогнули с юга, поехав из Владимира на Серпу-

хов. Дороги оказались плохими, чуть ли не сквернейшими во весь путь, и это еще усиливало дурное настроение Федора Михайловича, сердившегося, что не состоялась встреча с сестрами и Москвой. Несколько скрасил дело заезд в известный Сергиев монастырь, где Достоевский с интересом осмотрел хранившиеся там личные вещи, одежду, драгоценности, утварь русских царей допетровского времени. Но все же настроение оставалось неважным и по приезде в Тверь, и это сразу наложило отпечаток на отношение Федора Михайловича к старинному русскому городу.

С ним не раз так бывало: вдруг ни с того ни с сего начинал враждовать с кем-нибудь или чем-нибудь и никак не мог успокоиться. Теперь он воевал с Тверью и неустанно поносил ее в письмах: «В Твери погода дурная, а скука страшная», здесь «сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов — даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма!» Даже театр тут «ничтожный», даже почтамт «скверный, неисправный и гадкий», даже доктора «дураки», у которых не стоит «пачкаться».

О тверских врачах и почтамте той поры нам судить трудно, может, Федор Михайлович и не преувеличивает, однако «движение» было, «интересы» имелись — это уж нам известно точно. В Твери существовала сильная либеральная оппозиция, через полтора года тверские либералы выступили с протестом против грабительского характера «освобождения» крестьян и были разогнаны царем по ссылкам. Но Достоевский, кажется, и не заметил этого местного «движения», потому что губернский масштаб был не для него.

Тверь была без вины виновата тем, что «здесь все и виднее и слышнее», тем, что совсем рядом был недоступный Петербург, где кипела такая деятельность, без участия в которой Федор Михайлович уже не мыслил своей жизни. Ему «тяжело... жить здесь», именно потому, что «время уходит». «Я хоть и сижу в Твери, а все-таки продолжаю странствовать». «Решительно, как повешенный между небом и землею... Живу точно на станции. Даром теряю время...».

Быт Достоевского в Твери — почти бивачный. С трудом нашли маленькую квартирку с мебелью. Денег, как обычно, нет — приехали с двенадцатью целковыми. Знакомых домами — две-три человека, да и то лишь Федор Михайлович ходит в гости, а сами Достоевские не принимают.

Видимо, в Твери Мария Дмитриевна окончательно перестает играть мало-мальски заметную роль в жизни своего му-

жа. Он охвачен нетерпением, он лихорадочно строит огромные планы и торопит их осуществление, он возобновляет старые знакомства, а что делать ей? Круг интересов узок, знакомых нет. Пустоту Мария Дмитриевна заполнила начавшейся именно в Твери с приезда Михаила Михайловича ревнивой, упрямой и мелочной ненавистью к братьям и сестрам мужа. Ненависть принесла ей много мучений — никто, и в первую очередь сам Федор Михайлович, к этому всерьез не относился, никто с ней ответно не враждовал, все снисходительно согласились считать чувство Марии Дмитриевны извинительным капризом больной женщины — можно представить, как это мучило Исаеву при ее гордости и самолюбии!..

У Федора же Михайловича отношение к ней совершенно определенное: «Взял на себя заботы семейные и тяну их». Это пишется из Твери Врангелю, тому Врангелю, который был поверенным «грозного чувства». Сейчас Достоевский об этом не помнит — «счастье не в счастье, а лишь в его достижении». А следующая фраза письма звучит приговором первой любви Достоевского и самой Марии Дмитриевне: «Но я верю, что не кончилась еще моя жизнь и не хочу умирать». А жизнь Марии Дмитриевны кончалась. Уже в Твери она «все хворает».

...Итак, нужно как можно быстрее добиться разрешения на проживание в столицах. Есть старый, испытанный способ — высокие знакомства. Достоевский знакомится с губернатором — графом Барановым. Граф молод, энергичен, это удачно строящий карьеру бюрократ новой, александровской формации (для Герцена «Барановы и Адлерберги» были нарицательным обозначением той, только что родившейся бюрократии Александра Николаевича). Жене его, урожденной Васильчаковой, молодой литератор Достоевский, оказывается, был представлен еще тринадцать лет назад в салоне Соллогуба. Граф и графиня очень любезны (впрочем, сейчас все государственные мужи новой формации очень любезны к лицам, возвращающимся после долгого отсутствия с окраин империи). Губернатор, разумеется, сделает все, что от него зависит, для того, чтобы выполнить желание г-на Достоевского. Он готов сам передать прошение Федора Михайловича шефу жандармов и начальнику III отделения Долгорукову — и с самыми лестными рекомендациями. Но вот в чем, как это, да, за-ко-вы-ка. Василий Андреевич сейчас находится в заграничном вояже и вернется не так скоро.

Так что, любезнейший Федор Михайлович, какое-то время вам еще придется волей-неволей разделить наше общество, к живейшей нашей радости, разумеется...

Нет, ждать сложа руки не в его привычках и не в его силах. В который раз мобилизуется Врангель (как хорошо, что он не успел отправиться в очередную экспедицию). И опять через него передается письмо Тотлебену: «Эдуард Иванович! Спасите меня еще раз! Употребите Ваше влияние, как три года назад». Тотлебен должен замолвить слово шефу жандармов. Он это очень аккуратно и сделал сейчас же по возвращении Долгорукова. Его слово по-прежнему было весомым, и его оказалось бы вполне достаточно для окончательного освобождения писателя, но... говорят: он перехитрил самого себя. В данном случае Федор Михайлович так спешил, что перегнал самого себя.

Дело в том, что ему пришло в голову обратиться к царю лично. Губернатор опять не только не возразил, но и взялся передать просьбу Достоевского своему двоюродному брату Александру Владимировичу Адлербергу, сыну министра двора и человеку к императору очень близкому. И вот Федор Михайлович пишет императору. Письмо это шаблонно официально; в нем есть и подобающие случаю церковнославянизмы вроде «пещись», и чуть ли не утвержденные кем-то издревле для подобных обращений от «Моления Даниила Заточника» идущие сравнения — «Вы, Государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных», и казенная коленопреклонная и молодецкая риторика: «В Вашей воле судьба моя, здоровье, жизнь!» Это деловое прошение подданного главе самодержавного государства. Каких-либо следов личного отношения Достоевского к императору как человеку в письме нет.

В качестве основания своей просьбы Федор Михайлович выдвигает два мотива. Во-первых, необходимость лечиться у столичных докторов. Во-вторых, потребность для защиты своих денежных интересов лично общаться с «литературными антрепренерами». Заодно Достоевский просит царя пристроить пасынка в какое-либо столичное военно-учебное заведение.

Уже эта вторая просьба говорит, что проситель не сомневался: основная будет уважена. Беспокоили Федора Михайловича только сроки ее выполнения. Он предвидит три возможных варианта: 1) Александр немедленно накладывает положительную резолюцию, тогда вопрос об отъезде ре-

шается днями; 2) он дает приказание справиться о поведении Достоевского у тверского губернатора; Баранов с ответом не задержит, значит, отъезд отодвигается ненадолго; 3) царь прикажет запросить характеристику просителя у семипалатинского губернатора; в таком случае придется ждать месяцы, может быть, полгода.

Получилось же совсем неожиданно. Когда Долгоруков дал Тотлебену согласие на разрешение и хотел официально сообщить об этом в Тверь, выяснилось, что имеется прошение прямо на имя царя. Теперь без его указания сделать было уже ничего нельзя.

Федор Михайлович страшно ругал себя, признавал, что «избрал по этому делу самый труднейший путь», но было уже поздно. Вдобавок пришлось писать извинительные письма Тотлебену, Долгорукову и управляющему III отделением Тимашеву. Долгоруков и Тимашев — бог с ними, только бы не осердились и не напортили, а перед благородным Тотлебеном действительно неудобно. Между тем Адлерберг все не находит случая передать письмо царю — и чего Адлербергу торопиться, что ему судьба какого-то литератора, вчерашнего государственного преступника, он только выполняет просьбу кузена — и ожидание тянется, тянется...

Конечно, они не пусты, недели ожидания — бездельных, обломовских периодов в жизни Достоевского не было. Он по-прежнему занят хлопотами по устройству в журнал «Села Степанчикова». Он готовит к изданию двухтомник своих сочинений, а при исключительно ответственном отношении Федора Михайловича к судьбе своего печатного слова это труд нешуточный: по его просьбе брат присылает ему из Петербурга выдранные из старых журналов листы с его повестями, и он тщательно правит все свои ранние вещи. Наконец, он работает над уже получившим название «Мертвым домом» и еще не названными «Униженными и оскорбленными». Значение этих своих будущих произведений он сознает очень хорошо. Характерно, что, несмотря на неудачу со «Степанчиковым», писатель предназначает их для «Современника»: «У меня в будущем году еще две вещи могут быть напечатаны: *Мертвый дом* и *Первый эпизод* большого романа. Это пойдет в «Современник». Небось тогда не упустят, да я и отдам-то с рекомендацией. Что же касается до *Мертвого дома*, то ведь у них не бараньи головы. Ведь они понимают, какое любопытство может возбудить такая статья в первых (январских) нумерах журнала».

«Современником» он очень интересуется, знает внутренние дела редакции: «Я слышал, что Некрасов страшно играет в карты. Панаеву тоже не до журнала, и не будь Чернышевского и Добролюбова — у них бы все рушилось».

Таким образом как автор Достоевский собирается ориентироваться на орган Чернышевского. Но у него уже возникают мысли о собственном издании. 12 ноября он пишет брату:

«Надо рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие — журнал, например».

В Тверь приезжают гости. Первым побывал, естественно, Михаил Михайлович. Он провел здесь неделю, но, видимо, братьям нелегко было найти общий язык — десятилетняя разлука сказывалась. Во всяком случае, после отъезда старшего брата Федор Михайлович пишет ему: «Вот ты уехал, а я ведь знаю, что мы вовсе еще не так познакомились друг с другом, как-то не высказались, не показались во всем. Нет, брат: жить надо вместе, жизнью не скорою, а обыкновенною и тогда вполне сживемся».

Побывал в Твери «единственно с целью увидеть и обнять дорогого мне Федора Михайловича» Степан Дмитриевич Яновский, врач Достоевского в докаторжные годы, человек маниловского склада, что, впрочем, отнюдь не мешало ему успешно делать карьеру медицинского чиновника. Вскоре Федор Михайлович оказался по голову втянутым в семейные неурядицы чувствительного доктора...

Усиленно приглашает Достоевский Врангеля: «Брат пишет, что вы еще раз собираетесь в экспедицию. Это плохо — плохо для меня. Я думал, что мы уж не разлучимся, когда сойдемся в Петербурге. И потому можете себе представить мое нетерпение вас видеть — хоть два дня, хоть несколько часов. Ведь у нас с вами есть что помянуть. Много есть прекрасных воспоминаний. Хотя с того времени, когда я вас проводил из вашей квартиры в 10-м часу ночи (помните?), у вас слишком много прибавилось в жизни, но неужели же мы теперь не поймем друг друга? Мы тогда крепко сошлись. Приезжайте же. Поговорим о старом, когда было так хорошо, об Сибири, которая мне теперь мила стала, когда я покинул ее, об Казаковом саде (помните?), о бобах и других огородных растениях, о милейших Змеиногорске и Барнауле, где я после вас бывал довольно часто... ну да обо всем! А вы мне расскажете что-нибудь из последующей жизни

вашей — сойдемся опять и накопим еще лучше воспоминания. Будет чем помянуть жизнь на старости лет».

«Старое, когда было так хорошо», в применении к семипалатинским годам может означать только одно: время, когда я любил и боролся за любовь. Это реквием любви к Исаевой.

Прошлая жизнь стала уже воспоминанием, а новая все никак не могла начаться.

Нетерпение становится все более жгучим: «В Твери мне решительно скучно». «Я всеми силами рад бы вырваться из Твери». «Положение мое здесь тяжелое, скверное и грустное».

Но все кончается на свете. Кончилось и тверское сидение Федора Михайловича. Разрешение царя было получено. Тверской антракт завершился, начинался новый акт трагедии «Жизнь Достоевского».

Во второй половине декабря 1859 года, ровно через десятилетие после своего отъезда в кандалах, Федор Михайлович Достоевский ступил на перрон Николаевского вокзала и вновь вдохнул воздух Петербурга.

ВОЗДУХ ПЕТЕРБУРГА

Влажный воздух Петербурга с дальним запахом моря и хвои. Кто хоть однажды глотнул его соль и горечь, никогда не забудет их...

Предгрозовой, сухой и электрический воздух тысяча восемьсот шестидесятого года.

В его сознании они смешивались словно два огромных атмосферных течения, и он жадно дышал этой смесью весь свой первый год возвращения.

Ветер далеко нес воздух Петербурга — Карл Маркс указывал, что два самых могучих движения времени — это эмансипация негров в Америке и эмансипация рабов в России.

Год был предъюбилейный — власти намеревались широко отметить тысячелетие России. Уже проектировался памятник, вынашивались планы организации народного ликования, редактировался текст юбилейного манифеста императора и т. д. Главным подарком к юбилею предполагалось «освобождение».

То, что оно необходимо, неизбежно, ясно уже всему им-

ператорскому лагерю, всему дворянству, кроме «диких помещиков» (впрочем, многочисленных). Иначе шестидесятимиллионная крестьянская бомба взорвется.

Надо, надо — «сверху...» Иначе — уж точно — «снизу».

И заседают комиссии Комитета по крестьянскому делу, выискивая наиболее безопасную и благопристойную форму великого грабежа.

Внешне все еще страшно либерально. Катков еще «рабски любит свободные учреждения». В Лондоне, у кабинета Герцена,— очередь. Первого июля польские эмигранты и русские морские офицеры (императорского флота!) устраивают «лондонским агитаторам» «спландидный», как англизирует Александр Иванович, т. е. роскошный обед. В центре стола — гигантский торт с кремовой надписью: «1 июля 1857 года». В тот далекий — три века назад — день вышел первый номер «Колокола».

Не только мичманы, лейтенанты и капитан-лейтенанты видят в Герцене будущего руководителя новой России. 11 июля его посещает, как записывает Александр Иванович, «один из наших посланников». И комментирует: «Это первый визит в этом роде — и очень любезный человек».

«Очень любезным человеком», совершившим «первый визит в этом роде», был посланник Российской империи в Брюсселе князь Н. А. Орлов.

Время уж такое. Александр Иванович отлично понимает, что от времени такое внимание к нему, даже от моды: «Последнее время так страшно много было народу у нас — и все меняются лица, точно на смотру идут — идут правильно, кричат: «Здравия желаем!» И опять идут — так что я устал; на меня находит иногда хандра...».

Издатель «Колокола», «Полярной звезды», листка с грозным названием «Под суд!» работает неутомимо, борется с веселой яростью, но всегда ли он уверен в победе? Он пишет в те дни Тургеневу: «Иногда верится, что мы будем в России,— чаще, что мы совсем не будем».

Но на радикальную молодожь страны, на студентов немногочисленных российских университетов, на семинаристов, на будущих педагогов и врачей имя Герцена действует уже не так магически, как раньше. Ореол вокруг него несколько померк — колебания в сторону либерализма дорого обходятся ему. У этой молодежи другой вождь, наставник, вдохновитель, сам бывший семинарист, сам бывший петербургский студент, ныне всем известный руководитель «Современни-

ка». В том году он публикует статью «Антропологический принцип в философии» — манифест воинствующего материализма и атеизма, естественно, вызывающий восторг молодежи и неистовую злобу реакционеров и либералов. В государстве, где религия и церковь откровенно служат власти и являются одной из основных ее опор, Чернышевский хладнокровно заявляет: «...медицина, физиология, химия... доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел кроме реальной своей натуры другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет».

На Чернышевского набрасываются чуть не все журналы — от смутно-либеральных «Отечественных записок» до катковского «Русского вестника». Это закономерно — в том же «Антропологическом принципе» сказано, что всегда «каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий». И либералам и крепостникам ясно, какую политическую партию представляет и возглавляет философ «Современника», и их злоба понятна.

Правительство приступает к репрессиям против этой политической партии. В Петропавловской крепости готовятся камеры для группы харьковских и киевских студентов, протестовавших против полицейских порядков в университетах. В крепость заключен польский патриот, публицист Огрызко, опубликовавший в своем журнале «Слово» письмо политического эмигранта историка Лелевеля.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словестная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина.

Да, вековая тишина. Вот лишь несколько примечательных фактов из бытовой уездной хроники шестидесятого года.

Орловский уезд. Помещик, доктор Гутцейт, изнасиловал и подверг истязаниям свою крепостную — двенадцатилетнюю девочку. История эта известна всей губернии, тем не менее доктора Гутцейта благородные орловские дворяне выдвигают депутатом в Комитет по крестьянскому делу.

Хвалынский уезд. Помещик Абутков старше Гутцейта — ему 70 лет. Соответственно двенадцатилетние кажутся ему

слишком взрослыми — он насилует и истязает девятилетнюю рабыню. Дело, заведенное на Абуткова, теряется в канцелярии саратовского губернатора.

Верхнеднепровский уезд. Помещик Харченко изобрел машину, одним оборотом колеса дающую 150 ударов палками по пяткам, и усердно испытывает ее на своих мужичках.

Остерский уезд. Помещик Барановский приказал высечь беременную женщину, а затем бросить ее в свинарник. Родившийся ребенок съеден свиньями.

Сумский уезд. Помещица, жена штаб-ротмистра Наталья Свирская забавляется со своими дворовыми девками: подвешивает их за ноги, обливает голых на морозе холодной водой, травит ручным волком, заставляет есть кал и отрезанные косы. Одна маленькая девочка истерзана Натальей Васильевной до смерти. Предполагалось взять имение Свирских под опеку, но правительствующий сенат нашел, что супруги подходят под амнистию по случаю коронации нового императора (ту самую, под которую не подошли Достоевский и Шевченко).

Это лишь некоторые из десятков подобных фактов, ставших достоянием гласности в течение одного года — *последнего года крепостного строя.* А сколько таких не стало достоянием гласности? А сколько их случалось ежегодно в течение веков крепостничества?

Что это — садизм отдельных выродков? Нет — следствие всего социального строя, логический вывод из его предпосылок.

А либеральная критика находила нечто болезненное, патологическое даже в том, что Достоевский постоянно, всю жизнь — до «Братьев Карамазовых» возвращался к мысли о страданиях детей, о надругательстве над ними. В его глазах это было главное, абсолютное обвинение неправому миру, которое никому никак не оспорить. Ясно видно, что писателю было мучительно возвращаться к этой мысли, прикосновение к ней терзало его, но он считал себя обязанным вновь и вновь выносить ее на свои страницы, чтобы выразить как можно яснее и глубже.

Не художник — общественный строй был патологичен.

И бомба крестьянского гнева была готова взорваться.

ПЕРВЫЙ ГОД ВОЗВРАЩЕНИЯ

Мы бы решили, что в этой довольно просторной комнате просто темно. Но сейчас девятнадцатый век, нет еще и керосиновых ламп, глаза привыкли к негромкому свету свечей, и тем, кто собрался здесь, на квартире Михаила Михайловича, этого света вполне достаточно.

За столом сидят люди себя уважающие, себя ценящие, со скромной уверенностью чувствующие себя в известной степени солью земли. Они не чиновники, хотя многие из них и служат в различных ведомствах, не приобретатели, хоть у некоторых и имеется благоприобретенное. Но при чем тут житейская проза? Они люди духа, тонкие ценители изящного и в то же время патриоты, горячо пекущиеся о будущем русской земли. При этом они чужды нынешних крайностей — и ретроградной и особенно революционной. Ведь истинный либерал всегда скорей консерватор, чем реформист. В разумных пределах, разумеется,— грядущую реформу, самим государем осуществляемую, они, конечно, восторженно приветствуют и заранее приняли, что станут считать день ее счастливейшим днем своей жизни.

И люди тут все не случайные лица, с заслугами лица. Вот хозяин дома. Даром, что сейчас маленький сигарный фабрикант, а раньше писал и повести и статьи, и переводил, и компилировал для «Отечественных записок». И ныне вроде собирается вернуться к деятельности литературной — вот перевел «Последний день осужденного» Виктора Гюго.

Сделал он это по просьбе своего застольного соседа — Александра Петровича Милюкова, издающего ныне журналец «Светоч», готовый, впрочем, кажется, угаснуть «в борьбе с равнодушием публики» в самое ближайшее время. С хозяином и его братом Александр Петрович знаком с давних, весьма давних пор, с тех дней, когда в доме г-на Дурова, будущего омского соострожника Федора Михайловича, читал свой перевод на церковнославянский язык из одной социалистической книжицы. Сам Александр Петрович не пострадал — даже Дубельт нашел подобную переводческую деятельность вполне безопасной для государства. Милюков довольно известен как литератор — его книга «Очерк истории русской поэзии», где он пытался заняться тоже своего рода переводом,— перевести идеи Белинского на язык либералов, выдержала два издания. Достоевского он искренне любит — вместе с Михаилом Михайловичем он приезжал

к нему прощаться в Петропавловскую крепость, с большим трудом добившись свидания, и первым — опять же вместе с Михаилом Михайловичем — встретил писателя на перроне Николаевского вокзала меньше года назад. Беда в том, что он видит — и всю жизнь будет видеть — в Достоевском такого же, как он сам, либерального Милюкова,— ну, несколько более талантливого.

Рядом Степан Дмитриевич Яновский. Сам он к музам имеет только то отношение, что жена его, Александра Ивановна Шуберт,—талантливейшая актриса современного русского театра. Но здесь он не случайный гость: несколько лет до ареста Федора Михайловича он был его постоянным врачом, чуть не ежедневно с ним видался и товарищеское чувство к страдальцу пронес через десятилетия разлуки. Собой доктор Яновский видный мужчина, только вот выражение лица у него слишком сладкое, будто минуту назад съел он ложку земляничного варенья.

Зато те двое, что сидят за ним — бесспорные, признанные служители муз, имена их останутся в истории русской поэзии на века. Голова прямой посадки, медальное лицо, цепкий взгляд светлых глаз за стеклами очков в золотой оправе, взгляд, словно специально предназначенный мгновенно ухватить форму, цвет, фактуру предмета,— Аполлон Николаевич Майков. Недаром носит он мифологическое имя — его прославили стихи и поэмы на темы античности, очень похожие на автора, такие же чеканные и холодноватые. Грешил, впрочем, Майков в молодости и бытовыми повестями в стихах в духе «натуральной школы», а в зрелости — стишками в честь императора Николая, «Коляской», например. Последнего греха не могут ему простить шестидесятники, и в сатирических изданиях его неизменно именуют Аполлоном Коляскиным.

Яков Петрович Полонский, напротив, сутуловат, он выше и грузнее Майкова. Последние два года он редактировал кушелевское «Русское слово», где был опубликован «Дядюшкин сон»,— это и послужило предлогом к знакомству с Достоевским. Правда, сейчас Полонскому, кажется, придется покинуть журнал — в «Русском слове» назревают какие-то перемены. Яков Петрович и сам понимает: при своей поэтической непрактичности, с которой ничего уже не поделаешь, какой он редактор... Только где же обеспечить верный кусок хлеба, а ведь он недавно женился.

Все это сверстники Достоевских. Но есть здесь и люди помоложе. Едва двадцать Всеволоду Крестовскому, рослому малому, более похожему на юнкера, чем на литератора. Тем не менее он настоящий литератор, автор и стихов, и поэм, и повестей, печататься начал с гимназии. Его любовная лирика, необычайно для русской литературы смелая и по темам и по образам, одним нравилась, других возмущала (Достоевскому нравилась), а название одного его рассказа — «Погибшее, но милое создание» — стало ходячим оборотом, правда, с оттенком иронии, которого у юного автора не было.

Не в пример ему солиднее Николай Николаевич Страхов (да он лет на десять и старше Крестовского). Он педагог, кандидат зоологии. Он философ, гегелист. Нынче он твердо решил обратиться к литературе, но пока еще почти не печатал, поэтому сидит скромненько в тени. Но и скромность его солидна.

Странный человек, страшный человек... Скоро он станет ведущим сотрудником журнала Достоевского «Время», будет всячески подталкивать журнал к борьбе с нигилистами, с крамолой — и «Время» закроют за статью Страхова, которую власти сочтут крамольной. Долгие годы будет он ближайшим другом Федора Михайловича, после смерти писателя напишет о нем замечательные воспоминания — и одновременно отправит частное письмо (и кому — Льву Толстому), в котором станет каяться в этих воспоминаниях (они-де — ложь), поносить умершего друга, оплевывать его память намеками на нечто невообразимо грязное, совершенное якобы покойным. Десятилетия потом придется поколениям литературоведов пытаться расшифровать эти отравленные намеки, найти под ними какую-то биографическую почву — и каждый раз вынуждены будут самые предвзятые ученые следователи признать: нет, вроде бы не подтверждается, никаких компрометирующих Достоевского фактов найти нельзя. Но нет и уверенности в противоположном, в лживости обвинения: у Страхова ведь ничего конкретного, только намек, а поле для подозрения необъятно. Если ничего не было, то откуда же этот намек у человека, к Федору Михайловичу близкого, дружившего с ним?

А может быть, ничего странного в страховском поступке и не было? Может, он вполне соответствовал его характеру? Может, если б мы попали в ту комнату, где собрались сейчас гости Михаила Михайловича, и заглянули бы в глаза кандидата зоологии, то разглядели бы в них за скромной и стро-

гой солидностью вечную неуверенность в себе, сознание слабости своей души и воли, которое заставит этого умного и даровитого человека всю жизнь искать дуб, вокруг которого обвился бы легкий и запутанный хмель его философских построений, духовного покровителя,— Аполлона Григорьева, Федора Достоевского, Льва Толстого? Неуверенность сочеталась в душе Страхова с исключительно высоким самомнением, и логично, что в конце концов он должен был возненавидеть своего покровителя. Григорьев умер для такой ненависти слишком рано, Толстой пережил Страхова, а вот Достоевскому — не повезло. Так что, может быть, нет особенной тайны, просто заурядный Сальери с ядом не в кубке — в чернильнице?..

Впрочем, невероятно далеко еще сейчас до этих вопросов.

И еще один молодой гость присутствует здесь — в военном мундире. Популярная нынче в столице личность, восходящая звезда — член Русского географического общества, штабс-ротмистр Чокан Чингисович Валиханов. Встретились все-таки старые друзья в столице — Чокан оставлен при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел.

Все собравшиеся слушают очередной рассказ Федора Михайловича о жизни каторги. Кто-то задал вопрос, Достоевский начал, как всегда, нехотя, почти шепотом, но быстро воодушевился, и слабый голос его, как обычно во время рассказа или чтения, круто возвысился, окреп, стал на редкость выразительным. Видно, что и сам повествователь воодушевился своей историей. Друзья находят, что энергии у Федора Михайловича сейчас не меньше, чем в молодости, да и вообще он мало постарел. Он хорошо себя чувствует в этом году, раздражается редко, порой весел, иногда даже бывает мягок — через несколько лет мягким его уже никто не увидит. О чем же ведет он речь?

— Был в нашей казарме,— рассказывает Федор Михайлович,— один молодой арестант, парень смирный, молчаливый, необщительный. Острожные любили его за кротость и услужливость, да и у начальства был он на неплохом счету. Мало-помалу сблизился с ним и я, и однажды, когда мы вместе возвращались с разгрузки баржи, он рассказал мне свою историю. Оказался он крепостным крестьянином одной из подмосковных губерний, а в Сибирь попал вот так. Дальше я слово даю ему, господа.

Этого можно было бы и не говорить слушателям. Совсем немного изменилась интонация, чуть певучей стал выговор,

но ясно уже — не Достоевский это рассказывает, а тот, в остроге встреченный им крестьянский парень.

— Село наше — большое и зажиточное. Барин у нас был вдовец, не старый еще и не то чтоб очень злой, а бестолковый и до баб охочий. Не любили его у нас. Ну вот, надумал и жениться: девка одна полюбилась, да и хозяйку в дом надо. Сладились мы с ней, барин дозволение дал, ну и повенчали нас. Идем мы от венца домой, проходим мимо барской усадьбы, а оттуда вдруг выбеги дворовых шесть али семь. Схватили они мою молодую жену, да и потащили во двор. Я за ней кинулся, а дворовые на меня, я бьюсь, а мне кушаками руки вяжут. Связали, потащили к нашей избе, связанного на лавку бросили. Поставили караульных. Ну, я всю ночь так связанный и прометался, а поздним утром привели молодую и меня развязали. Я поднялся, а баба припала к столу,— плачет, тоскует. «Что убиваться-то, говорю, не сама себя потеряла». И вот с того самого дня задумался я, как барина за ласку отблагодарить. Отточил топор — хоть хлебы режь — и приладил его так носить, чтобы незаметно. Может, кто и замечал, да уж больно не любили у нас барина. Только долго не удавалось его подстеречь, а я уж смотреть не могу, как жена тоскует... Но иду как-то под вечер позади господского сада, смотрю, а барин один по дорожке прохаживается и меня не примечает. Забор садовый у нас невысокий, решетчатый, из балясин. Дал я барину немного пройти, да потихоньку и махнул в сад. Вынул топор и да с дорожки на траву, чтобы загодя не услыхал, и по траве крадучись пошел за ним. Совсем уж близко подошел, можно бы и бить, да хотелось мне, чтобы барин увидал, кто к нему за кровью пришел, я и кашлянул погромче. Он повернулся, признал меня, а я прыгнул к нему да топором его прямо по самой голове — трах! Вот тебе, мол, за любовь. Так это мозги-то с кровью и прыснули... Упал и не вздохнул, а я пошел в контору и объявился, что так, мол, и так...

После паузы Милюков спрашивает:

— Вы и этот рассказ, Федор Михайлович, собираетесь включить в «Мертвый дом»?

— Хотелось бы, Александр Петрович,— отвечает Достоевский,— очень хотелось бы, только мне кажется, что подобный сюжет через цензуру провести никак невозможно.

А в углу Валиханов шепчет Крестовскому:

— Искандер в «Колоколе» тоже недавно рассказал подобную историю. Заканчивая рассказ, как мужик зарубил

селадона-помещика, Герцен добавляет: «И превосходно сделал». Федя сам такого вывода не делает, но какую иную мораль извлечь из его рассказа?

За столом же разговор теперь вертится вокруг будущего журнала — разрешение на его издание уже получено Михаилом Достоевским. Говорят о его программе, часто повторяя загадочное слово «почва», о том, что орган этот будет совершенно самостоятельный, резко отличный по идее и характеру и от англоманства катковского «Русского вестника», и от коммерческого либерализма «Отечественных записок» капиталиста Краевского, и от бессмысленного и опасного всеотрицания свистунов «Современника», и от фанатичности и аристократизма славянофильских изданий. Обсуждают, кого еще нужно привлечь в сотрудники нового журнала. Еще? Ну, конечно, ведь основными сотрудниками, понятно, будут они, кружок братьев Достоевских.

Кружок этот создался в первый год возвращения Федора Михайловича. Собирались сначала у Милюкова, теперь обычное место встреч в квартире старшего Достоевского на Екатерининском канале. Большинство кружка — старые, докаторжные друзья Федора Михайловича, старые поклонники его таланта, люди, глубоко его уважающие, признающие его духовное первенство.

Друзья? Много лет спустя прославленный писатель говорил молодому своему почитателю:

— Вы думаете, есть у меня друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано!.. Всегда, всю жизнь друзья появлялись ко мне вместе с успехом. Уходил успех — и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно... Я узнавал о степени успеха новой моей работы по количеству навещавших меня друзей, по степени их внимания, по числу их визитов. Расчет никогда не обманывал. О, у людей чутье, тонкое чутье! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... А потом и опять все схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три человека!..

Достоевский был прав: друзья от него уходили, долго не держались. Но дело было не в людском эгоизме: от тех, кто

не успевал уйти, Достоевский уходил сам. И не в «дурном» его характере было дело. В дружбе он требовал идейного единомыслия. Потому-то в годы социалистической юности и были настоящие друзья — он шел рядом с подлинными единомышленниками. А уйдя из лагеря революции, Достоевский обрек себя на одиночество. Ему казалось иногда, что он встретил людей, думающих так, как он, так же понимающих мир, но это всегда оказывалось самообманом — какие бы шоры он ни надевал на себя, он всегда видел намного дальше их и слышал намного тоньше.

Так получилось в конце концов и с «кружком». Но в шестидесятом Федор Михайлович верит, что нашел товарищей, вместе с которыми будет утверждать истину, выводить на правильный путь заблуждающихся.

Хороший год, ровный год. Собственно, написано за этот год не так уж много, напечатано того меньше: четыре первые главы «Мертвого дома» в еженедельнике «Русский мир». Но это Федора Михайловича не беспокоило, даже напротив — он радовался, что есть предлог не торопиться с писанием. Писать он не слишком любил. И не из-за лености, конечно. Главная работа над будущей вещью совершалась в нем до начала процесса писания. Вещь в голове строилась, перестраивалась, уточнялась, возникали без конца новые фигуры, возникали между ними новые отношения. Не то чтоб в этот период Федор Михайлович совсем не брал пера в руки, нет, сидел за письменным столом он даже много, но писал он не связный рассказ, а заметки, фиксировавшие мысли о книге, что бродили в голове во время гулянья, споров, чтения, даже сна. Записывать их было необходимо, иначе они забывались — память заметно слабела.

Глубина в людях, о которых он хотел рассказать, была бесконечная, думать над ними можно было вечность, поэтому, когда приходилось все-таки приниматься за писание для типографии, всегда оставалось страшно много недодуманного, и это его постоянно раздражало и злило.

Но сейчас время думать было, наверное, поэтому и настроение держалось ровное и хорошее.

В этом году он впервые выступил перед публикой. Удивительного в том, конечно, не было: в годы его молодости о публичных литературных чтениях вообще речи не было. Читали иногда писатели свои новые произведения в салонах (кто там своим был), в дружеских кружках. На эстраду же никто не выходил, да и не было ее совсем. Теперь же иное

дело — публичные выступления с чтением своих вещей становились как бы гражданской обязанностью литератора и привлекали огромное внимание. Чтения проводились обычно в пользу год назад созданного литературного фонда, помогавшего многочисленным собратьям-пролетариям, иногда — в пользу студенческой кассы.

От обычных чтений замыслили перейти к форме более сложной — к литературным спектаклям. В первом из них и вышел впервые на публику Федор Михайлович.

Через месяц после возвращения Достоевского посетил молодой еще человек, тоненький, как Хлестаков, отрекомендовавшийся Вейнбергом.

Федор Михайлович знал это имя, читал недурные юмористические стихи молодого человека, которые тот подписывал бойким псевдонимом «Гейне из Тамбова». Выяснилось, что Вейнберг, собственно, и есть в некотором отношении Хлестаков: литературный фонд для пополнения своей кассы решил поставить «Ревизора» с участием самых первых современных писателей, и тамбовский Гейне, бравший в студенческие годы в Харькове уроки актерского искусства, режиссировал спектакль, а также играл в нем одну из двух главных ролей.

— А городничий?

— Алексей Феофилактович Писемский.

— А кто еще из писателей изъявил согласие?

Несколько замявшись, Вейнберг объяснил положение. Появиться в спектакле дали согласие и Тургенев, и Григорович, и Майков, и Дружинин, и даже Краевский. Но именно появиться: никто из них не хотел брать самой маленькой роли со словами.

— Еле уговорили молодого поэта Сниткина сыграть квартального Свистунова, остальные — никак, даже Тургенев, а ведь Иван Сергеевич раньше-то в любительских спектаклях участвовал.

— Ну, и как вы решили их вывести? В немой сцене?

— Нет, там слишком много персонажей, потеряются. Мы с Алексеем Феофилактовичем решили вывести их как купцов.

— Остроумно,— Достоевский усмехнулся, представив себе Ивана Сергеевича в долгополом сюртуке и с головой сахара в руках.

— Так не возьмете ли вы, Федор Михайлович, на себя какую-нибудь роль?

Он задумался. Понятно, почему обратились к нему,— двойная приманка для публики: в гоголевском спектакле — наследник Гоголя и вчерашний каторжник. Сам он никогда не играл в любительских спектаклях — в юности по робости перед стечением массы, а в каторге и Семипалатинске — почему? И там и там он ведь был зрителем театральных зрелищ, разыгранных в Омске острожниками, в Семипалатинске — чиновниками и офицерами. Только зрителем. Из-за инерции, робости? Во всяком случае, сейчас с ней пора кончать. Он выйдет на сцену. И без половинчатости в духе Ивана Сергеевича — в настоящей роли. Какой же? Он мысленно пробежал список действующих лиц «Ревизора» и, не колеблясь, сказал:

— Я сыграю Шпекина, почтмейстера. Это одна из самых высококомических ролей не только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения. Не знаю, как мне удастся с ней справиться, но играть ее буду с большим старанием и большой любовью.

Вейнберга этот выбор, кажется, несколько удивил — роль казалось ему менее яркой, чем, скажем, судьи или Земляники. Федора же Михайловича в Шпекине привлекла его современность, даже злободневность. Добродушный почтмейстер олицетворял одну из самых злых сил николаевской машины: уверенность, что личность перед ней совершенно бесправна. Шпекин распечатывал письма с кристальной совестью, его удивило бы, если б кто на это обиделся. Распечатывал без всякой нужды, оставлял понравившиеся, даже не замечая, что наносит кому-то ущерб. Как чиновник, как деталь государственной машины он осознавал себя на математическую степень больше любого частного лица — и в этом и был смысл его образа.

Федор Михайлович работал с увлечением, бывал на всех репетициях, и в промежутке между ними забегал к Вейнбергу узнать о новостях.

Показали «Ревизора» 10 апреля. Зал от публики ломился. Из-за духоты пришлось открыть окна.

По уровню спектакль получился куда выше обычного любительского — недаром Вейнбергу помогал режиссировать великий комик Мартынов. Писемский вообще был отличным актером, заинтересовал знатоков студент университета Ловягин — Осип — его исполнение нашли почти гениальным. Записные театралы — был среди них и один из великих кня-

зей, Константин Николаевич — отмечали, что Достоевский-Шпекин безукоризнен за немногими неважными исключениями...

По-своему прочитал Вейнберг-Хлестаков одну из ключевых сцен спектакля — сцену вранья. До тех пор все хлестаковы, даже такой штудировщик ролей, как Шумский, произносили знаменитый монолог, сидя в кресле, и изображали быстро пьянеющего после небольшого воодушевления человека. Но ведь у Гоголя есть ремарка «поскальзывается» — не может же поскользнуться человек сидящий в кресле! И почему такой испуг городничего — он же заикается: «ва... ва... вашество» — перед засыпающим от опьянения? И Хлестаков Вейнберга стал произносить монолог, прохаживаясь перед оцепеневшими чиновниками. Он принимал позу героически настроенного сановника. Он падал самым натуральным образом, и чиновники подхватывали его на руки.

Федору Михайловичу очень нравилось это новшество. Он возбужденно говорил:

— Вот это Хлестаков в его трагикомическом величии! Да, да, трагикомическом! Это слово подходит сюда как нельзя больше! Именно таким самообольщающимся героем — да, героем, непременно героем — должен быть в такую минуту Хлестаков. Иначе,— Федор Михайлович делал решительный жест,— он не Хлестаков!

Однако большинство зрителей не столько смотрело на игру, сколько ждало появления знаменитостей. Овация купцам была столь продолжительной, что Хлестаков, ожидая ее окончания, уселся на стул — отдохнуть.

Несмотря на успех спектакля, его не повторяли. Распахнутые окна сыграли злую роль — двое из исполнителей, поэт Сниткин и студент Ловягин, сильно простудились на сквозняке, тяжело заболели и через несколько дней скончались...

Оставил шестидесятый год в душе Федора Михайловича и лирический след. След короткого, но сильного и светлого чувства, так не похожего на грозную любовь к Марии Дмитриевне, на мучительную страсть к Аполлинарии.

Она была женой земляничного человека, доктора Яновского. Это-то, пожалуй, самое странное и есть, потому что Александра Ивановна Шуберт, лучшая исполнительница лучших женских ролей репертуара тех лет, для такой роли совершенно не подходила. Она была человек умный, жизнерадостный, веселый, рабочий. Дочь крепостного актера Ку-

ликова, она на всю жизнь сохранила демократический закваc, гордилась тем, что лучшие русские артисты вышли из крепостных, и среди них ее великий учитель — Щепкин, считавший Сашеньку самой талантливой своей ученицей. Талантливый человек, она и любила общество талантливых людей, даже с Гоголем была знакома (совсем еще девочкой). И рядом — не человек, а земляничное варенье, да еще, как вскоре оказалось, подернутое плесенью... Большое смешение было в начале шестидесятых, отражалось оно и в личных делах, в семейном быте. Но и здесь размежевание наступило быстро.

Познакомился Достоевский с Шуберт (она сохранила фамилию первого мужа, актера) вскоре по приезде в столицу, но встречались они недолго — через несколько недель она переехала в Москву, поступив в Малый театр. И туда пошли письма, полные непривычной для Федора Михайловича ровной нежности: «Вы не поверите, как бы я желал быть на Ваших первых дебютах... Вы оставили в нас всех столько к себе симпатии и уважения, что поймете всю искренность моего желания». «Я смотрел на ваш портрет, видел и другой, маленький, где у Вас еще обстриженные волосы и где Вы гораздо полнее. Но большой мне больше понравился; он больше на Вас похож, как Вы теперь». «Вы очень добры, вы умны, душа у Вас симпатичная; дружба с Вами хорошее дело. Да и характер Ваш обаятелен: Вы артистка; Вы так мило иногда смеетесь над всем прозаическим, смешным, заносчивым, глупым, что мило становится все слушать». И подписывается это: «уважающий Вас бесконечно», «Ваш преданнейший». Казалось бы, характер чувства, продиктовавшего эти строки, не вызывает сомнения. Но вот внезапно мы натыкаемся в этих письмах на слова: «Я вас люблю очень и горячо, до того, что сам вам сказал, что не влюблен в вас». И это варьируется несколько раз: дорожу, ценю, преклоняюсь, но не влюблен — хотя каждая строчка писем говорит об обратном!

В своих воспоминаниях, написанных много лет спустя, старая актриса-педагог, воспитавшая многих звезд русской сцены, говоря о великом писателе с большим уважением, не захотела, однако, коснуться их личных отношений, есть у нее только одна фраза на этот счет: «Ф. М. Достоевский очень ко мне привязался». Есть различные попытки, у Л. Гроссмана, в частности, дать истолкование этой совершенно необычайной для отношения Достоевского к любимой женщине

сдержанности, самообуздания даже. На мой взгляд, они не очень убедительны. Наиболее вероятным, наиболее соответствующим фактам и характеру писателя кажется такое объяснение.

Федор Михайлович, разумеется, без труда разглядел большой талант Шуберт. Он серьезно пишет двадцатитрехлетней актрисе: «Какой я сердцевед перед Вами!» Он мечтает написать для нее комедию, «хоть одноактную», восхищается ее игрой во время недолгого приезда в Москву, очень интересуется печатными отзывами на ее спектакли. «Вы... любите сердцем искусство и не разочаровались в нем»,— по мнению Достоевского, это главное в Александре Ивановне.

И переезд в Москву вызван был строгим, взыскательным отношением актрисы к своему таланту и труду — она не хотела остаться в Александринке с ее пустячковым репертуаром тех лет («играют только вздор») и перешла в тогдашнюю цитадель национального реалистического театра. Муж, которого она уже давно не любила, по дряблости против такого ее решения поначалу не возражал, хотя и помогать не собирался (деньги на переезд Александра Ивановна заняла в кассе императорских театров), но через некоторое время почувствовал, что он вроде бы брошен, вроде бы это обидно, а кое-кто из знакомых, возможно, даже и смеется. Началась переписка с Москвой, и, как общий друг супругов, Достоевский оказался втянутым в семейный конфликт. В письме к Александре Ивановне от 12 июня содержится подробное изложение разговора Достоевского с мужем артистки. Начинается письмо словами: «Вы боитесь, друг мой, что Степан Дмитриевич выйдет в отставку и перейдет в Москву. Понимаю все ваши опасения, но, кажется, непременно так и случится».

Далее Федор Михайлович рассказывает: Яновский говорил, «что жить вам одной нельзя, что вы погубите и себя и детей, что устроиться независимо и бесхлопотно у вас не достанет ни средств, ни терпения, ни способностей, и что вы решительно неспособны вести хозяйство. ...Жить с вами он хочет непременно, а в случае нужды, если нельзя будет переехать в Москву, то взять и вас из Москвы... Я спросил его с удивлением: неужели же вы захотите взять из театра Александру Ивановну? — а что же, если надо будет,— отвечал он.— Да ведь это значит,— говорил я,— отнять у человека свет, воздух, солнце, неужели вы на это решитесь? —

Да что ж, если надо будет... Тут я сказал, что это тиранство, и на месте вашем я бы мог его не послушаться.— А законы-то, отвечал он, закон ясен; она не может меня не послушаться. Я сказал ему тогда, что я не ожидал, что он в таком деле способен прибегнуть к законам. И что же значили, сказал я, после того все ваши правила и убеждения в жизни, неужели одни только слова?»

Конечно, одними только словами и были все либеральные «правила» Степана Дмитриевича. Но время-то шло такое, что требовать по суду возвращения к пенатам известной артистки с первой сцены страны было как-то уж совсем ретроградно, и доктор, поворчав, смирился.

Но Достоевского эта история еще раз убедила, что для Александры Ивановны искусство, театр — главное в жизни и таким останется всегда. А все остальное — и любовь в том числе — будет потом, на втором плане.

Отнять у любимого человека солнце Федор Михайлович не мог. Но и делить любимую женщину он не мог даже с солнцем — она должна была принадлежать только ему (незадолго до смерти его вторая жена Анна Григорьевна вписала в альбом молодому композитору Прокофьеву: «Солнце моей жизни — Достоевский»).

И так как он был не Яновский, то счел лучшим сам отойти в сторону.

ЧОКАН В СТОЛИЦЕ

В черновых набросках к роману «Подросток», завершенном Достоевским в 1875 году, есть такая запись: «Как загаливался (страшное простодушие, Валиханов, обаяние)». Запись относится к разработке одного из самых привлекательных образов произведения — мечтателя о «золотом веке», «истинного поэта», «дворянина древнейшего рода и в то же время парижского коммунара» Версилова. О чем же говорит она?

Долгое время на представление о человеческом облике, о характере Чокана Чингисовича Валиханова влияли воспоминания известного сибирского общественного деятеля Н. М. Ядринцева. Хотя Ядринцев знал Валиханова в течение весьма недолгого времени, он неоднократно выступал с мемуарами о нем в различных изданиях. Написаны они вроде бы рукой друга: мемуарист говорит о богатой одаренности

сына Степи, его благородстве, обаянии. Но странное дело, Ядринцев неустанно подчеркивает: Чокан много обещал, но мало дал. Собственно, даже ничего не дал—ни своему народу, ни русской науке. «Ничтожная печатная деятельность Валиханова далеко не соответствует ожиданиям, которые возлагали на него люди, коротко его знавшие» *.

Ядринцев считает, что причинами, которые заставляют его страдать от неоправдавшихся надежд, были лень и легкомыслие Чокана: «Я скоро заметил, что он не был усидчивым ученым и тружеником». «Как и в Омске, так и по приезде в Петербург Валиханов вращался в пустой военной среде, где на первом плане были баклушничанье, кутежи и бессмысленная светская жизнь. В таких обстоятельствах он увлекался сам светским лоском и праздною гусарской жизнью». Он с осуждением находит у Чокана «лоск и шик гвардейского офицера». Он был «сибарит и денди».

Лоск и шик, должно быть, были. Штаб-ротмистр Валиханов любил, например, изобразить «гром и молнию Невского проспекта», т. е. пройтись по Невскому, отпустив саблю на длинном ремне так, чтоб она громыхала от Пассажа до Дворцова моста. И даже сочинил, что однажды на его саблю наступил сам Тургенев.

Надо учесть, что Чокан был в Петербурге человеком исключительно популярным. Его приглашали и виднейшие сановники и цвет гвардейского офицерства. О нем писали в газетах и журналах. В «Русском вестнике», например, была опубликована статья П. И. Небольсина о казахах в Петербурге («едва ли пять человек их здесь наберется»). О Валиханове журналист пишет в рекламном духе, восхваляет его доклад в Географическом обществе, «полный эрудиции самостоятельной и взглядов истинно гуманных», но об остальных «петербургских казахах» отзывается довольно пренебрежительно: они «ничем особенным не заявляют о своем существовании».

* Н. М. Ядринцев, видно, любил энергичный эпитет «ничтожный». Он пишет также: «Валиханов получил ничтожное воспитание в Сибирском кадетском корпусе». Что образование и воспитание, полученные Чоканом в корпусе не были «ничтожными», свидетельствуют известные воспоминания Г. Н. Потанина. Сибирский кадетский корпус был одним из лучших и наиболее передовых военных учебных заведений России. О последнем говорит, скажем, тот факт, что в начале 1850-х гг., когда даже имя Белинского было под запретом, учитель Костылецкий читал курс русской словесности по статьям великого критика.

За них вступился в письме в редакцию, опубликованном в следующем же номере журнала, пристав оренбургских казахов Л. Н. Плотников, и характерно, что он говорит о Чокане: «Султана Тяукина и ходжу Бабаджанова многие не узнают здесь в очерке г. Небольсина. Они, как люди, вообще достойные полного внимания, нисколько не нуждаются в утрировке и потому заслуживали бы более совестливого эскиза без лишних прикрас. Ни тот, ни другой, конечно, не останутся в проигрыше, ежели не станем проводить параллели между ними и штабс-капитаном султаном Валихановым, с которым я лично познакомился в Петербурге и провел несколько самых приятных вечеров,— под мерку его способностей и знаний не только не придутся они, но, пожалуй, и мы с г. Небольсиным. Чокан Чингисович — покуда единственный феномен между киргизами, и в наших оренбургских степях, может быть, долго еще ждать такого явления».

Было от чего закружиться голове у «феномена». Но, оказывается, за год жизни в Петербурге этот сибарит 1) служит в азиатском департаменте министерства иностранных дел; 2) работает в Главном штабе, составляя и редактируя карту Азиатской России; 3) слушает лекции на историко-филологическом факультете университета; 4) продолжает обрабатывать материалы кашгарского путешествия, выступает с докладом о нем в Географическом обществе, активно участвует в заседаниях общества; 5) пишет ряд статей по истории казахского народа. Самая подходящая жизнь для денди и фланера.

Сейчас, когда опубликовано почти все, созданное Чоканом, мы поражаемся тому, как много успел сделать за свою короткую жизнь этот удивительный человек. Но понимали это и непредубежденные современники Валиханова. В «Истории полувековой деятельности Русского географического общества. 1845—1895», например, говорится: «Изучив французский и немецкий языки, Валиханов приобрел замечательную эрудицию по всему, что касалось Центральной Азии». Известный географ Грум-Гржимайло писал о нем: «Он отправился в Петербург для научной разработки собранного им обширного этнографического и исторического материала; очень много здесь трудился». Почему же Ядринцев, вроде дружески расположенный к Чокану, оттеняет его слабости (т. е. то, что мемуаристу кажется слабостями), да так, что портрет превращается почти в карикатуру?

Мне кажется, ключ к этой загадке, внезапно сближаю-

щей мемуары Ядринцева о Валиханове с теми высказываниями Страхова о Достоевском, о которых шла речь в предыдущей главе, лежит в тех словах «сибирского общественного деятеля», непосредственно следующих за утверждением, что Чокан «не был усидчивым тружеником и ученым». Слова эти следующие: «все ему давалось легко». Не правда ли, и здесь слышится голос Сальери: «Где справедливость? Я тружусь до кровавого пота и не могу достичь тех вершин, на которые шутя взбирается этот баловень судьбы?»

Чокан был большим тружеником (ведь и Моцарт был «гулякой праздным» лишь в воображении завистника). Но труд ему, как и его гениальному другу, вместе с неизбежными мучениями приносил и огромную радость. И поэтому он не заслонял от них жизнь. И оба, несмотря на трагизм своей судьбы, прошли свой путь с великой любовью к жизни, с жадностью ко всему, что она дает.

Что же касается «дендизма», то хотя Чокан действительно «участвовал в пикниках, на гуляниях, ездил в театр, водился с гвардейской молодежью», в то же время он, по свидетельству Потанина, часто собирал у себя сибиряков, бедных студентов, к петербургскому свету отношения, естественно, не имевших. Своим кругом для Валиханова были не светские люди, не гвардейские офицеры, а литераторы.

Аналогия между воспоминаниями Ядринцева о Чокане Чингисовиче и Страхова о Федоре Михайловиче продолжается. И у того и у другого появляются намеки на безнравственность своих героев.

Ядринцев: «Сойдясь с литературным кружком Достоевских, он не мог много заимствовать от него и сделаться серьезным тружеником науки. В этом кружке он познакомился с поэтом Всеволодом Крестовским и во время гусарских разговоров давал ему шутя темы для его испанских стихотворений, а сей поэт, питаясь красами остроумия талантливого Валиханова, немедленно строчил свои романсы... Упоминаем об этом потому еще, чтобы показать, что даже квази-образованные писатели, подобные Вс. Крестовскому, потакали страстям молодого инородца, с которыми он сходился, ища в них цивилизованных людей, а находил людей, проводивших в поэтической форме разврат».

Страхов: «Люди, чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большей частью сами чуждые какой-либо физической распущенности, смотрели, однако, совершенно спокойно на

все беспорядки этого рода, говорили об них, как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно в свободную минуту. Безобразие духовное судилось тонко и строго; безобразие плотское не ставилось ни во что. Эта странная *эмансипация плоти* действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать».

Прежде всего, нужно остановиться на отношениях Чокана к «кружку». Он не был его членом, потому что его идейно-общественные позиции совершенно не совпадали с «почвенничеством». В первой части книги я уже приводил иронический отзыв Валиханова о теории «почвы». Потанин говорит: «По политическим взглядам он принадлежал к крайним либералам», т. е. революционерам, и действительно позицию Валиханова без всяких натяжек можно характеризовать как революционно-демократическую *.

Характерен такой эпизод. Чокан в толпе зрителей смотрел на какой-то военный парад. Толпа была густая и разношерстная. Мещанин в сером кафтане нечаянно толкнул молодого «светского человека». Тот сморщился: «Почему не почистят публику?» Чокан быстро повернулся к нему и спросил: «А вы читали, как Разин чистил публику?» (Тогда только что вышла монография Н. И. Костомарова о Степане Разине).

Можно представить, как были бы шокированы подобным вопросом Милюков или Яновский.

Не менее характерно, что наиболее близким (кроме Достоевского) человеком из среды столичных литераторов Чокану стал Николай Курочкин, поэт-сатирик «Искры», бывший вместе со своим знаменитым братом Василием одним из активнейших деятелей подпольной «Земли и воли».

В «кружок» Чокана приводила, прежде всего, любовь к «голубчику Феде». Дружба двух товарищей, возникшая на берегах Иртыша, продолжала оставаться крепкой и на берегах Невы. Еще из Твери Федор Михайлович писал Врангелю: «Валиханов премилый и презамечательный человек. Он, кажется, в Петербурге?... Он член Географического общест-

* Раньше я писал: «Не надо гримировать Чокана Валиханова под Добролюбова». И сейчас полагаю — не надо. Но необходимо уточнить: революционно-демократическое движение 60-х годов имело много оттенков, и, не будучи непосредственным исследователем Добролюбова, Валиханов тем не менее бесспорно принадлежал к этому движению.

ва. Справьтесь там о Валиханове, если будет время. Я его очень люблю и очень им интересуюсь».

Дружеские чувства возникли у Чокана и к тем участникам «кружка», кто был человеком творческим,— к Майкову, Полонскому. Но идейных устремлений возникавшего «Времени» Валиханов, повторяю, ни в коей мере не разделял.

Теперь о «разврате в поэтической форме» и «эмансипации плоти». Аскетом Чокан, конечно, не был. Но абсолютно неверно представлять его не только Дон-Жуаном легенды, но и донжуаном в бытовом смысле слова. Хорошо знавший его современник свидетельствует: «Любил ли Чокан, не знаю. В Омске у него были увлечения, но далеко они не заходили, и оканчивалось дело тем только, что он более обыкновенного декламировал стихи Полонского и Майкова».

А вот «гусарские разговоры» были. И при Всеволоде Крестовском и без него (кстати, совершенно абсурдна мысль, что этот человек не без способностей, однако отнюдь не одаренный сильным умом и характером, «самый развеселый из русских поэтов» по благожелательной, но не без яда характеристике Достоевского, да еще вдобавок на пять лет моложе Чокана, мог иметь на него какое-то влияние; Валиханов и куда более сильным людям не поддавался). Эти-то разговоры и пугали Страхова, их-то и имел в виду под «загаливанием» Достоевский в своей записи. Однако я не сомневаюсь, что подлинного «загаливания» тут столько же, сколько в том эпизоде «Идиота», когда каждый из гостей Настасьи Филипповны якобы искренне рассказывает о своем самом скверном поступке.

В доказательство приведу две цитаты из Г. Н. Потанина. I. «Чокан любил иногда и присочинить. Когда на него нападал припадок злости, он приписывал себе пороки, от которых волосы дыбом становились, для того только, чтобы поиздеваться над пуризмом приятеля-плебея». Это, бесспорно, прямо относится к Ядринцеву, чье «р-р-революционное» пуританство не могло не раздражать такого жизнелюбивого человека, как Чокан. II. «Он... иногда даже дразнил своих друзей-филистеров, рассказывал о себе небылицы и приписывал себе гнусные поступки, которых не совершал». Потанин говорит здесь о филистерах омских, но совершенно ясно, что именно так дразнил Валиханов и петербургских филистеров из «кружка». И разве не так же поступал Аполлон Григорьев, когда в ответ на тонкие рассуждения своего «друга и ученика» Страхова о «безобразии духовном» и

«безобразии физическом» рычал: «Я люблю безобразие, господа!»

Видимо, ошибочно и «страшное простодушие» в записи для «Подростка». По записи вроде бы получается, что Валиханов «загаливается» из простодушия, как князь Мышкин, покоряя предельной, стоящей уже выше стыда искренностью. В действительности же, как мы видим, дело обстояло иначе — в «загаливании» Чокана вызов, злое издевательство над филистерской ограниченностью, над стремлением жить «по правилам», над той мещанской «мерой», которой поклонялся Страхов и из которой всегда выходили и Чокан Валиханов и Федор Достоевский. Да и при всей его доверчивости к близким друзьям (немногим) простодушным Чокана никак нельзя назвать, хотя бы уж потому, что помимо всего прочего он ведь был и военным разведчиком высокого класса, а это профессия трудно совместима с простодушием.

Невероятно, чтобы давно и так близко знавший Чокана Достоевский не понимал тогда истинных мотивов его поступков. Очевидно, иное их объяснение вызвано тем, что за пятнадцать лет в памяти Федора Михайловича — раньше превосходной, но с годами наполовину съеденной болезнью,— акценты несколько сместились. Навсегда осталось в памяти лишь то «обаяние», которым покорил его молодой степняк.

Чокановские «наговоры» навели меня вот на какие размышления. Как Страхов ни вуалирует свои намеки, суть их ясна: он хочет сказать, что исповедь Ставрогина (в главе «Бесов», выброшенной Катковым), соблазнившего, а затем доведшего до самоубийства десятилетнюю девочку,— автобиографична. Обвинение совершенно чудовищное, не находящее малейшего подтверждения ни во внешней — событийной, ни во внутренней — духовной — биографии писателя. С таким же основанием можно говорить, что автобиографично описание убийства старухи-процентщицы.

Но источник, из которого черпал бывший друг писателя, пожалуй, можно найти. Есть свидетельства о фельетоне в одной из русских газет конца прошлого века — сам фельетон, впрочем, так и не разыскан,— где описывался следующий эпизод: в разгар их многолетней ссоры Достоевский пришел к Тургеневу и рассказал ему — от первого лица — содержание «Исповеди Ставрогина». Когда он кончил, Тургенев спросил: «Зачем вы мне это все рассказали?» — «Чтобы показать, как я вас не уважаю»,— ответил Достоевский и ушел.

Это страшно похоже на «наговоры» Валиханова.

Если бы они знали, на сколько десятилетий потянется за ними хвост сплетен, может быть, они были б осторожнее. Но вряд ли. Они никогда не были осторожными людьми, да и достаточно поработали для будущего, чтобы иметь право не думать о той грязи, которую притащат на их могилы калоши некоторых «искренних друзей...».

Весной 1861 года штаб-ротмистр султан Чокан Чингисович Валиханов отбыл по болезни из Петербурга — как оказалось, навсегда.

«ВРЕМЯ» И «ПОЧВА»

> Достоевскому казалось, что он нашел свой собственный, **третий путь**, что им выработана своя собственная философская и общественная идея.
>
> **В. Кирпотин.** «Достоевский в шестидесятые годы».

> Третьего пути нет.
> Им-то и следует идти.
>
> **В. Шкаловский.** «Третья фабрика».

Еще в 1858 году Михаил Достоевский по настоянию брата подал установленным порядком просьбу разрешить ему издание еженедельника «Время». Просьбу удовлетворили, но Федор Михайлович все сидел на берегах Иртыша, а без него старший из братьев рисковать не хотел, да и особого желания менять сферу деятельности у него, фабриканта, не имелось.

Когда Федор Михайлович вернулся, братья еще раз все обсудили и решили изменить форму издания. Еженедельников в ту пору выпускалось немало, некоторые пользовались успехом, но решающее влияние на читающую публику, на организацию общественного мнения по-прежнему сохраняли ежемесячники, достаточно оперативные, чтобы откликаться на текущую злобу дня, и достаточно оснащенные, чтобы такой отклик был не поверхностным и аргументированным. Форма английского ежеквартального «ревю» (таким был пушкинский «Современник») в России и вообще не прижилась, а в стремительные шестидесятые годы подобное «обозрение» неизбежно должно было бы катастрофически отставать от событий.

Михаилу Михайловичу пришлось снова обратиться в Главное управление цензуры, и 3 июля 1860 года оно «дозволило изменить сроки выхода и объем книжек». Вскоре в столичных газетах появились сообщения о предстоящем начале нового журнала, его программе и сотрудниках.

Почему Достоевский так мечтал о своем печатном органе, очень понятно, и, хотя он часто писал брату, что журнал нужен для материальной самостоятельности, для того, чтобы спокойно писать и т. д., в действительности это имело второстепенное значение, а в известной степени было и самообманом. Работал Федор Михайлович в своих журналах ничуть не меньше и ничуть не спокойнее, чем в чужих, и принесли они ему в конце концов не обеспеченность, а громадные долги. Но ведь Достоевский был открывателем мира, и свои открытия он, естественно, стремился сделать общим достоянием. Главные из них писатель совершил в своих романах, но художественных произведений ему никогда не хватало, чтобы полностью высказаться, и прямая публицистика всю жизнь являлась для него необходимостью.

Русские журналы издавна были гражданской трибуной — во многие времена единственной. Цензура усиленно зажимала и́м рот — и все-таки они говорили. Порой языком глухонемых, но их понимали. Поэтому-то так длинен список журналов России, прямо убитых рукой царского правительства.

Надо не забывать, что жертвами становились отнюдь не одни издания революционного и радикального направления; любая идеология, хоть в чем-нибудь отличавшаяся от официальной, вызывала настороженность, преследовалась со свирепостью, иногда даже абсурдной. Это объясняет судьбу первого журнала Достоевских.

Он имел бесспорный успех, число подписчиков у него быстро достигло почти рекордной по тем временам цифры. Это и неудивительно, потому что в этом журнале печатались (непериодически, впрочем, и лишь до определенного момента его эволюции) и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и Помяловский, уж не говоря о том, что там был опубликован весь Достоевский начала 60-х годов с «Униженными и оскорбленными» и «Мертвым домом». И потому что, стараясь утвердить свое мировоззрение, журнал за читателями весьма гонялся, давал и откровенное «чтиво», не брезгуя рекламировать и такие занятные книжицы, как, например, «Сокровеннейшие тайны женщины или искусство нравиться мужчинам. Искренняя исповедь одной светской дамы». Или

«Предосторожности для прекрасного пола против сетей и ловушек мужчин. С присовокуплением домашних средств от неприятностей в любви и браке, супружеского календаря, любовного словаря и карты почтовой дороги по земле любви».

И конечно, успех «Времени» объяснялся в значительной степени и тем, что оно нашло читателя, согласного с его взглядами. Этот читатель был противником крепостнического «ретроградства» и сочувствовал прогрессу, однако революции боялся. Это были люди, уважавшие развитие, науку, а также все прекрасное, но страшившиеся «крайностей». Это было интеллигентное мещанство эпохи.

Главным истолкователем «почвенической» платформы «Времени» стал сам Федор Михайлович. Другими ведущими идеологами журнала были Страхов и Аполлон Григорьев (Михаил Михайлович участие в выработке платформы принимал небольшое, скоро определившись как своего рода «коммерческий директор» журнала), однако позиции всех троих совпадали не полностью и представляли они различные оттенки почвенничества.

Сам термин «почва», над которым много издевались в журналах, споривших со «Временем», не был изобретением «кружка». Лет пятнадцать назад его употреблял один из самых яростных славянофилов Константин Аксаков. «Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни»,— писал он.

Но почвенничество не явилось простым повторением славянофильских теорий.

Со славянофилами Федора Михайловича объединяло признание того, что между народом, крестьянством и «образованными классами» лежит пропасть и пока ее обрывы не будут соединены, жизнь к лучшему не изменится. Однако он трезво полагал, что армяки и мурмолки «образованных классов» в качестве соединяющего моста не сгодятся и что отгораживаться крепостной стеной от Европы и невозможно и бессмысленно. Выходило, что достижениями европейской науки пользоваться можно, но надо создать на ее основе нечто новое, синтетическое. Интеллигенция анафеме не предавалась. Предполагалось, что при добром желании она с мужиком общий язык найдет. Указывалось, что в России классов, «сословий», в западно-европейском смысле нет и не было и, следовательно, не могло быть между ними никакой борьбы (это выглядело особенно странно в тот момент, ког-

да появились исследования о движениях Разина и Пугачева, вызвавшие у читательской публики громадный интерес). Доказывалось, что в России «все сливается так легко, так натурально, мирно».

Если в последовательности славянофилов была своя логика — логика фанатизма,— то почвенников их противники скоро стали обвинять в оппортунизме, и основания для этого имелись, хотя по складу характера Федор Достоевский и Аполлон Григорьев совсем не были оппортунистами.

В истории русской журналистики издания Достоевских доброй славы не заслужили, о них говорят с осуждением и иронией, хотя это были и отнюдь не худшие по качеству публикаций и не мракобесные журналы. Но такова извечная судьба той части интеллигенции, которая хочет стать «над схваткой» сил будущего и сил прошлого, которой кажется, что она нашла свой, третий, путь в современности.

Она старается «примирить крайности» и получает жестокие удары с обеих сторон.

Она стремится плыть по диагонали, но это невозможно, и ветер истории почти всегда сносит ее к правому берегу.

Так случилось и с журналами Достоевских.

Они пытались критиковать «не взирая на лица» и левых и правых. Первоначально их полемика с катковским «Русским вестником» была куда более остра, чем с «Современником» Чернышевского. Каткова «Время» называло даже «фаддейбулгаринствующим». Но прав и проницателен оказался Щедрин, предсказав журналу «почвенников», что скоро придет пора, когда его сотрудников можно будет назвать «катковствующими». Такова логика общественной борьбы. Второй журнал Достоевских «Эпоха» Каткова уже только восхвалял, восхищаясь «честностью» и «мудростью» цепного пса трона, который, кстати, был ведь непосредственным виновником гибели «Времени». А еще позже Страхов, кичившийся своей общественной независимостью, униженно вымаливал у Каткова сотрудничество в «Русском вестнике». «Московский мыслитель» петербургскому просителю даже не отвечал — Страхов, в отличие от Достоевского, был ему совершенно без надобности.

С самого начала «Время», вроде еще уважительно отзываясь о Чернышевском, смеялось над его «нетерпимостью». Между тем классовая борьба достигла уже такого разгара, что враги революционных демократов, преследуя их, не стеснялись элементарнейшего хамства. Смерть Добролюбова

журналец «Зритель» встретил следующим своеобразным некрологом-пародией: «Мы лишились Ванички Сладкопевцева. Он умер тринадцати лет. Он умер слишком рано для человечества. Он умер так рано потому, что был слишком честен. Он ужасно любил конфекты, но никогда не просил их у маменьки; он мог украсть конфекты у тетиньки: он этого не делал и предпочел умереть. Ваничка Сладкопевцев написал три статейки в прозе и несколько стихотворных пародий. Мы долго думали, возле кого положить прах Ванички Сладкопевцева: возле Ньютона или возле Колумба?»

Сдержанный и иронический Чернышевский задыхался от негодования, отвечая на цинизм пошляков, гогочущих и оправляющихся на могиле великого человека. А «Время» в ту пору толковало о ненужности крайностей.

Как бы ни различались оттенки общественно-политических позиций людей той эпохи, водораздел шел по одной линии. Он делил современников на два лагеря: на тех, кто признавал желательность и необходимость революции, и тех, кто в испуге перед ней хотел задержать и предотвратить ее приход. И как бы ни казалось Достоевскому, что он нашел третий путь, на котором можно примирить враждующие стороны, очутился он как журналист на совершенно определенной стороне баррикад.

Как и в Сибири, он считал революцию раньше всего преждевременной. Готовясь к изданию журнала, он вел для себя черновые записи, тезисы будущих выступлений и в них адресовался к Чернышевскому: «Куда вы торопитесь? Общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами. Они созрели, они готовы, но общество наше отнюдь не готово. Оно разъединено».

Надо сказать, что и у вождей революционного лагеря не было слепого оптимизма, не было абсолютной уверенности в счастливом исходе борьбы с царизмом. И Добролюбов ведь по-своему признавал, что «общество наше... не готово», когда обращался к революции:

О подожди еще, желанная, святая!
Помедли приходить в наш боязливый круг!
Теперь на твой призыв ответит тишь немая,
И лучшие друзья не приподнимут рук!

И Чернышевский в «Письмах без адреса» говорил не менее отчетливо, предостерегая своих соратников: «Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящею ее причиною — не-

достатком общности в понятиях между собой и людьми, для которых работаешь; признать эту причину было бы слишком тяжело, потому что отняло бы всякую надежду на успех всего того образа действий, которому следуешь; не хочешь признать эту настоящую причину и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоятельствах, изменить которые легче, чем переменить свой образ действий».

И Чернышевский и Добролюбов находили, что «общество» и народ вполне могут в решающий момент оказаться неподготовленными в великой «перемене декораций» (как зашифровано названа революция в «Что делать?»). Но они считали непростительной, позорной слабостью и трусостью отказываться от попыток «переменить декорации» из-за того, что невозможно математически точно высчитать шансы на победу. И они понимали, что деятельность революционного лагеря, каким бы ни был исход нынешнего сражения, приближает победу над царизмом, приближает торжество народа, которое рано или поздно обязательно осуществится.

Совсем иные выводы из «неготовности» делал Достоевский. Дело в том, что к этому времени бывший заговорщик и член «семерки» стал испытывать страх перед возможностью революционного переворота. Ему казалось, что такой переворот в России неизбежно выльется в «бунт бессмысленный и беспощадный».

Корни этого убеждения, бесспорно, уходят в Омский острог, где Федор Михайлович впервые ясно ощутил, во-первых, глубину неприязни людей народа к «образованным классам» и, во-вторых, явное отсутствие у многих из этих людей кротости и прочих добродетелей в карамзинском духе. Но в Петербурге на это ощущение наслоилось другое. Достоевский понял: революционные шестидесятники готовы для борьбы с царем и крепостниками использовать такие качества народа. Это Федора Михайловича и испугало больше всего.

В тех же черновых записях он говорит: «Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, чем результат стоит, нальет крови больше, чем стоит вся полученная выгода. (Впрочем, кровь у них дешева)... К чему же хватать далекие, с неба-то, звезды? Этим можно все погубить, потому что всех испугаешь... Вся эта кровь, которою бредят революционеры, весь этот гвалт и вся эта подземная работа ни к чему не приведут и на их же головы обрушатся».

Тем не менее отношение Достоевского к лагерю революционной демократии было очень не простым и к одному отрицанию не сводилось.

С. Борщевский в книге «Щедрин и Достоевский» приводит ряд резко критических отзывов писателя о деятелях революционного лагеря из его записных книжек и на основании этих отзывов делает вывод, что Достоевский старался первое время сдерживать полемику с «Современником» из чисто тактических соображений, чтобы не отпугнуть от своего журнала читателей, т. е., попросту говоря, сознательно двурушничал.

Но Федор Михайлович был искренним и смелым человеком и, когда находил себя совершенно правым, шел напропалую, с обстоятельствами считаясь мало.

Что же касается записей, на которые ссылается литературовед, то ведь трудно найти среди тех, кого Достоевский знал, человека, о котором не было бы у писателя отзывов полярно противоположного свойства. Импульсивный был характер и не знал удержу ни в утверждении, ни в отрицании.

На основании одного-двух суждений Федора Михайловича о том или ином лице, предмете нельзя делать вывод о его подлинном отношении к этому предмету или лицу. Тут нужен учет и анализ всех фактов, относящихся к теме.

Вожди революционной демократии были для Достоевского идейными противниками, но противниками, которых он искренне уважал.

На смерть Добролюбова «Время» откликнулось совсем иначе, чем «Зритель». В журнале говорилось: «В ночь с 16 на 17 ноября умер один из замечательнейших русских писателей Николай Александрович Добролюбов, и смерть его была для всех, кто знал покойного, тяжелым ударом. Свершилось роковое событие: жизнь со всеми своими условиями убила жизнь полезного человека... Одним честным и неустрашимым деятелем стало меньше... Он был храбрый, честный боец за правду».

Давно известно, что из трех ведущих публицистов «Времени» именно Достоевский сдерживал обострение полемики с лагерем революционной демократии — Григорьев и Страхов рвались в бой, правда, по-разному.

Страхов был готов в борьбе с шестидесятниками блокироваться с кем угодно из правого лагеря. Аполлон Григорьев этих возможных союзников презирал, говорил о «суесловии» славянофильского «Дня» и «б...словии» «Русского вестни-

ка». Мало того, Григорьев, стремясь в сражение с передовыми идеями эпохи, нисколько не верил в победу. По словам Страхова, этот выдающийся критик говорил, что «он действительно человек ненужный в настоящее время, что ему нет места для деятельности, что дух времени слишком враждебен к людям такого рода, как он». Воинствующий идеалист, он был прав, когда утверждал, что «фанатически предан» своим идеям, но говорил истину, с горечью называя эти идеи «самодурными» — именно так в глазах шестидесятников они и выглядели.

Он называл себя «Ламанчским героем» и действительно был Дон-Кихотом, вступившим в борьбу с тем, что непобедимо — духом времени. Но именно его ничего — и себя в том числе — не щадящая искренность в сочетании с тонким лирическим даром и большим талантом критика, особенно свободно, без шор «самодурных убеждений» проявившемся в статьях о театре, привели к тому, что лучшее из созданного «Ламанчским героем» навсегда вошло в русскую культуру, и сам этот гитарист, бессребренник, поэт, часто пьяный, всегда без гроша и приюта, рисуется нам фигурой яркой и по-своему привлекательной.

Достоевский как мог смягчал острые выступления соратников, сам редактировал их, вписывал компромиссные абзацы, но полемика возникла и обострялась с каждым годом, потому что все яснее и яснее становилось: «третий путь» ведет в никуда. А если говорить точнее, то никакого «третьего пути» и нет, одна видимость.

«Время» звало к сближению с народом, но очень заметно было, что народа оно боится.

Органы революционной демократии — «Современник» и «Русское слово» — высмеивали убогость позитивной программы журналов Достоевского, и действительно, мишень была очень удобной, так как программа сводилась к маловразумительным повторениям насчет «почвы».

Однако в такое историческое время, когда враждующие станы готовились к решительным действиям, требовалось все же призвать к чему-то конкретному, дать направляющие лозунги. И журнал почвенников стал усиленно твердить, что мужика надо прежде всего обучить грамоте. Это уже выглядело отъявленной маниловщиной. Когда страна стояла накануне взрыва, когда уже прозвучали выстрелы в Бездне, утверждать, что буквари и книжки для народа в силах решить вопросы об историческом пути России, значило пря-

тать голову в песок с заранее обдуманным намерением. То, что азбука — не выход, понимало, разумеется, и само «Время». Поэтому тон его программных выступлений часто минорный. Как обычно, особенно заметно это на материалах второстепенных сотрудников. В журнале зачастил поэт Ф. Берг, до того выпустивший сборник переводов западноевропейских лириков (вместе с Вс. Костомаровым — тем самым, по ложным показаниям и фальшивкам которого удалось осудить Чернышевского). Для противников почвеннического издания из лагеря революционной демократии Берг стал фигурой почти символической. Он пел:

Да, братья! К вам иду в слезах,
Да, я и слаб, и мал, и грешен,
И перед богом о грехах
Мой плач сердечный неутешен.

И еще — с полной откровенностью:

Говорят, толкуют споры да слова...
Право, инда ходит кругом голова!
Право, так устанешь! Скучен этот путь...
Хочется скорее как-то отдохнуть.

Впрочем, и оптимизм в журнале был не лучшего качества, вот такой, как в стихах некоего Владимира Тихановича:

Все забыв, с тобою в карты
Мы играем за столом;
Слышу смех твой бесконечный:
Я остался дураком.
Ловко спину выгибая,
Кот мурлычит про себя.
И как он, и я мурлычу:
«Милый друг, люблю тебя!..»

Федор Михайлович хотел указать всем верную дорогу, а кончилось тем, что его журнал стал то плакать, то мурлыкать.

При этом в глазах слишком занятого, чтобы вникать в детали, начальства журнал выглядел «нигилистическим». Его собирались приостановить вместе с «Современником» и «Русским словом» в шестьдесят втором году и окончательно прикрыли в шестьдесят третьем. Но об этом у нас еще пойдет речь.

Сам Достоевский много выступал во «Времени» в качестве публициста и критика. Как ни интересно и важно все

созданное гениальным писателем, надо признать, что эта часть его литературного наследия не принадлежит к наиболее выдающимся. В «Дневнике писателя» немало неприемлемого для нас, есть просто отталкивающее, но как общественно-литературное явление «Дневник» во много раз значительнее статей и фельетонов начала 60-х годов при всем остроумии и тонкости отдельных их положений.

Пожалуй, самое ценное и сохранившее значение в этих статьях — это страстное утверждение величия русской литературы XIX века, смелое заявление о том, что она является новым шагом в художественном развитии человечества. Смелое потому, что тенденция рассматривать русскую литературу (с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем) как подражательную, ученическую, проходящую азы европейской школы, была еще очень сильной. Этим грешили и некоторые крайние радикалы, это было твердым убеждением Каткова, утверждавшего, что литература у нас «маленькая, скудная, едва начавшая жить, едва выработавшая себе язык». На эти подлинно, в самом точном смысле слова, нигилистические оценки твердокаменного московского «патриота» Федор Михайлович не раз отвечал с праведным гневом; гнев и воодушевление иногда рождали блистательные эссе вроде захватывающего до глубины души анализа «Египетских ночей» Пушкина, которые Катков трактовал чуть ли не как порнографию.

Очень интересна и остроумна критика Достоевским натурализма, выяснение различия между натурализмом и реализмом. Не забудьте, что она велась писателем, который сам определял свое творчество как «реализм в высшем смысле». Особенно развернута эта критика в рецензии на рассказы Николая Успенского. «Большей частью г. Успенский вот как делает. Он приходит, например, на площадь и, даже не выбирая точки зрения, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом все, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как *есть*. В картину, естественно, войдет и все совершенно ненужное в этой картине, или, лучше сказать, в идее этой картины. Г. Успенский об этом мало заботится. Ему, например, хотелось бы изобразить в своей фотографии рынок и дать нам понятие о рынке. Но если б на этот рынок в это мгновение опустился воздушный шар (что может когда-нибудь случиться), то г. Успенский снял бы и это случайное и совершенно не относящееся до характеристики рынка явление... Это путаница, а не точ-

ность... Что он говорит на десяти страницах, то у сильного художника уместилось бы на одной, да еще так, что и ненужности эти остались бы; да еще кроме того вы бы яснее и осязательнее поняли, что это — ненужности, и в то же время догадались бы и о необходимости их и то именно, что они выражают»*.

Однако во «Времени» Федор Михайлович публиковал не только статьи, рецензии, фельетоны, редакционные заметки, но и художественные произведения, и прежде всего из-за них журнал навсегда остался в истории отечественной литературы.

Как это обычно бывало у Достоевского, его художественные вещи оказались шире и глубже теории, из которой он исходил, создавая их. Он был великим мыслителем, но характер его мышления — эмоциональный, образный. В системе живых образов его мысль становилась по-настоящему полнокровной, диалектичной.

Федору Михайловичу казалось, что его романы подтверждают его публицистику, а они часто опровергали ее.

Он доказывал, что все классы должны соединиться и найти общий язык, а рядом печатал гениальный рассказ «Скверный анекдот», где убедительнейше доказывалось, что такое соединение абсолютно невозможно, что проще соединить в нечто однородное масло и воду, чем стремления, взгляды, все мировосприятие бедняков и богачей. Молодой либеральный сановник Пралинский, провозглашавший «гуманность с подчиненными, памятуя, что они человеки», заявлявший: «гуманность все спасет и все вывезет», однажды в приступе вдохновения, вызванном отчасти пятью или шестью бокалами шампанского, решил осуществить свои прогрессивные идеи на практике. Эксперимент окончился плачевно — великим конфузом для «его превосходительства» и подлинным несчастьем для «меньшого брата».

А о каком слиянии могла речь идти в «Униженных и оскорбленных», где социальные контрасты обнажены, где униженные и унижающие представлены как два непримиримых лагеря, где евангельская мораль всепрощения во многом — вопреки авторскому замыслу — отрицается и логикой действия и прямыми высказываниями героев?

---

* Конечно, эти строки, крайне интересные в плане теоретико-литературном, никак нельзя признать исчерпывающей и объективной характеристикой первой книги Николая Успенского, как известно, высоко оцененной Чернышевским в статье «Не начало ли перемены?»

В отличие от «Скверного анекдота», прошедшего малозамеченным и оцененного по достоинству лишь много лет спустя, «Униженные и оскорбленные» имели большой успех. Чернышевский в журнальной хронике отмечал интерес, вызванный у читателей началом романа. Добролюбов посвятил «Униженным и оскорбленным» последнюю свою большую статью. При всем том в этой книге, предсказавшей ряд основных мотивов позднейшего творчества Достоевского, писатель еще только ищет свою форму выражения современности. Знатоки находили поэтику романа старомодной. В 50-е годы Тургенев, Гончаров, Писемский утвердили в русской литературе форму классического реалистического романа, казавшуюся в тот момент единственной. А Достоевский дал роман-фельетон с мелодрамой, с тайнами, в чем-то напоминавший гремевшие в далеких сороковых романы Эжена Сю. Достоевский искал свой роман и после упорного труда пришел к нему в «Преступлении и наказании». Казалось же, что он повторяет зады и просто не в силах воспользоваться ясной и законченной формой Тургенева и Гончарова. Так что в успехе «Униженных и оскорбленных» для автора был заметный привкус горечи. «Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь...».

Но совершенно триумфальным было появление «Записок из Мертвого дома». Впервые за пятнадцать лет, протекших с шума вокруг «Бедных людей», раздались голоса, провозглашающие Достоевского великим писателем (это утверждала, например, известная в те годы романистка Евгения Тур). Тургенев говорил об одном из эпизодов «Записок»: «Картина бани просто дантовская».

Достоевский показал себя в «Мертвом доме» огромным художником-философом, прозревающим через быт обобщения исторического масштаба. Успех его произведения был, прежде всего, успехом общественным. Недаром так бешено аплодировали шестидесятники, когда на публичных чтениях автор с эстрады рассказывал о судьбах своих товарищей-острожников. Вне зависимости от желания и намерений писателя его книга звучала как суровый приговор всему строю, коверкающему и убивающему самое талантливое, самое мужественное, что есть в народе. «Погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?»

Третьего пути Федор Михайлович не нашел. Но годы издания «Времени» (и «Эпохи»), годы «почвенничества»

нельзя обойти в его биографии и невозможно думать, что они были годами лишь одних ошибок и заблуждений. Путаясь и больно ушибаясь, неистово споря с другими и с самим собой, в мучительных раздумьях постигая и так и не сумев постичь до конца смысл и ход современности, он поднимался к главному подвигу своей жизни — к своим великим романам и ступени «Времени» и «почвы» он миновать не мог.

ПОПЫТКА ПОРТРЕТА

Жизнь не шла, а бежала — торопящаяся, неустроенная, шершавая. С вечной спешкой журнальной работы, с болезнью жены, с его болезнью, с частой сменой квартир. И постепенно из этой-то неустроенности и сложился быт с определенным характером и традициями — быт странный, необычный, эксцентрический, но единственный, который его устраивал и который в общих чертах он сохранил до смерти.

Эксцентричен уже распорядок дня. Рабочее время, писательское время — ночь. Так с одиннадцати вечера до пятишести утра. Свечи, перья, большой запас бумаги. Очень много курит. Время от времени выпивает стакан чаю. Самовар с вечера горяч, за ночь остывает, но это для Федора Михайловича значения не имеет. Чай некрепкий.

Никакого неглиже. Одет так, как будто сейчас, в четыре утра, собрался в гости. Халата и туфель вообще не признает (одевается хорошо, даже щегольски; при любых денежных затруднениях шьет только у лучших портных. Лишь незадолго до смерти по-стариковски махнул рукой на франтовство: знаменитую речь о Пушкине произносил, по свидетельству очевидцев, в сюртуке, висевшем на нем, как на вешалке, и смятой рубашке. В годы, о которых мы рассказываем, это было бы немыслимо).

После работы ему необходимы семь-восемь часов сна. Если они получились, Федор Михайлович встает бодрым, деятельным, общительным. Но проспать до половины дня в шуме большого города — редкая удача. А если она не выпала, если пробуждение наступило часа на два раньше срока, Достоевский встает в угнетенном состоянии. Выражается оно обычно в полной замкнутости, совершенном нежелании разговаривать. Вид удрученно серьезный. Оттаивает он немного только после двух стаканов чаю — на этот раз обязательно горячего и крепкого.

Через час ему подают легкий завтрак — только холодное. С годами Федор Михайлович стал выпивать за «фрыштиком» рюмку хлебной водки. «Он откусывал черного хлебы и прихлебывал немного из рюмки водки, и все это вместе пережевывал. Он говорил, что это самое здоровое употребление водки». Вообще же вино не играет в его жизни ни малейшей роли. Современник, знавший его двадцать последних лет, говорит, что за это двадцатилетие он ни разу не видел, чтоб Достоевский находился хоть немного под действием алкоголя.

Затем Федор Михайлович уходит в «контору», в редакцию, просматривает почту, верстку, советуется с братом, пишет необходимые деловые письма. Потом с кем-нибудь из сотрудников, чаще всего со Страховым, уходит читать в кондитерских свежие газеты, обедать, гулять. Он очень любит ходьбу, без прогулки ему не по себе.

В своем кругу, если он здоров и в хорошем настроении, Федор Михайлович разговорчив. Его интересует многое, и обо всем он привык говорить языком простым, живым, беспритязательным, настоящим русским — в том числе и о самых сложных политических и философских проблемах. Часто шутит, не чураясь, как и Герцен, порой и каламбура, который кажется его солидным друзьям слишком легкомысленным.

Конец дня (если не нужно нигде выступать или заседать,— выступали и заседали в шестидесятые много) — у кого-нибудь из родных и знакомых — у Михаила Михайловича, у Штакеншнейдеров, у Милюкова.

За свой распорядок дня Достоевский очень держался. Одна из девушек-семидесятниц потом рассказала, как писатель отчитал ее и ее подругу, пришедших просить Федора Михайловича выступить на благотворительном вечере в пользу их фельдшерско-акушерских курсов и, к своему несчастью, попавших к нему в тот час, когда Достоевский обедал. Они даже не успели изложить свою просьбу. «Я, милостливые государыни, не мальчишка,— резко оборвал он.— ...Есть мне нужно толком. Если мне не дадут времени и на это — то чем же прикажете мне поддерживать свое существование?.. а?..» (Надо, однако же, добавить, что, накричав на своих юных посетительниц, писатель затем подробно расспросил их о сути дела и сразу дал согласие выступить). Но бывали периоды, когда этот петербургский режим (во время путешествий по Европе он выглядел, понятно, не-

сколько иначе) летел ко всем чертям. Так случилось, например, в пору безнадежных попыток Достоевского спасти свой второй журнал (вторая половина шестьдесят четвертого — первая половина шестьдесят пятого).

Круг знакомых не так уж мал численно, но все-таки ограничен. Это именно круг, связи, выходящие за его пределы, не часты и случайны. Это относится даже к писательской среде. Скажем, Льва Толстого, которого Достоевский безоговорочно — при всех разногласиях с ним — считал писателем великим, он во всю жизнь даже и не увидел. С Чернышевским (писал о нем много, за деятельностью его следил внимательнейшим образом) разговаривал лишь дважды.

И нет (и не будет) ни с кем такой органической, естественной дружбы ума и сердца, что была в молодости у петрашевцев и потом в Сибири с Чоканом. Брат Михаил — родная кровь, сколько с ним переговорено в юности о великих вопросах! Он очень дорог Федору Михайловичу и сейчас, но видно ведь — хотя Михаил Михайлович старается это скрыть,— что великие вопросы волнуют сейчас брата куда меньше дел семейных и коммерческих. Дружба со Страховым, наоборот, чисто головная, с ним интересно спорить о проблемах теоретических, этот спор помогает отточить мысль. Но в личную свою жизнь Федор Михайлович этого собеседника не допускает, может быть, чувствуя его холодное, скользкое любопытство.

Знакомиться с новыми людьми Федор Михайлович очень не любит. Современник (граф де Воллан) записывает: «Он молча и подозрительно взирает на каждое новое лицо».

С теми «простыми людьми», с которыми ему приходится сталкиваться по делам (в типографии, в книжных магазинах), он поначалу бывает подчеркнуто сух и холоден, что не мешает ему потом сходиться с понравившимися довольно близко. Так, в 70-е годы своим человеком в доме Достоевского стал метранпаж Александров. Он объяснял первоначальную сухость Федора Михайловича следующим образом: знакомясь с типографским работником, Достоевский предполагает, что его собеседнику известно, что писатель был на каторге. Но он не уверен, знает ли рабочий, за что именно (может быть, думает: за мошенничество или изготовление фальшивых бумажек). И холодность Достоевского — своего рода защитная броня от таких подозрений.

Он бывает раздражительным, вспыльчивым, даже капризным. Со всеми. «Таких тонкостей в обращении, что и

одном месте надо с человеком обращаться так, а в другом иначе, и одного можно обрывать, а другого нельзя, Достоевский совсем не знал» (Е. А. Штакеншнейдер).

Фотографий Федора Михайловича сохранилось сравнительно не много. Но есть среди них и относящаяся к шестидесятым годам. Свободная непринужденность позы писателя на этом снимке разительно отличается от напряженной и хмурой скованности Достоевского на семипалатинской фотографии, где он заснят в мундире прапорщика 7-го Сибирского линейного батальона. Теперь мы видим человека уверенного в себе, знающего себе цену и не сомневающегося, что и другие эту цену знают. Еще из Твери Федор Михайлович писал Гейбовичу: «Я человек маленький». Однако невозможно представить, чтобы такие слова произнес вот этот, с фотографии. В его устах они прозвучали бы заведомой ложью. Достаточно взглянуть на него, чтобы понять: перед нами крупная, значительная личность.

«Он крепко верил в себя»,— вспоминает современник. А Страхов свидетельствует, что Федор Михайлович восклицал: «Мое имя стоит миллиона!» (разумеется, имелось в виду писательское имя. В быту Достоевский себя никак не выпячивал. Впрочем, в этом и не было нужды: люди, хорошо его знавшие, всегда образовывали группу *вокруг* него). Вернемся, однако, к фотографии.

Поредевшие волосы. Небольшая еще бородка. Выражение лица не хмурое, не суровое, хотя он не улыбается. Удивительное выражение, и таким его делает взгляд, упорный, настойчивый взгляд, устремленный — это хорошо заметно — не на видимое, а куда-то за него, стремящийся проникнуть под оболочку вещей: разглядеть их суть.

Чем бы ни занимался Достоевский, он всегда *думает*. Для него существовать — действительно прежде всего мыслить. Вот здесь свидетельство Страхова драгоценно: «Когда я вспоминаю его, то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякаемая плодовитость его души. В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться».

Работает он всегда, а не только ночами за письменным столом. Это лишь завершающая часть сочинительского труда — и довольно неприятная, потому что всегда приходится браться за перо, когда еще так много недодуманного, непроясненного до конца... Но с этим уж ничего не поделаешь.

«...Я еще (кроме «Бедных людей») во всю жизнь мою не продавал сочинений, не брав вперед денег. Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен вперед меня обеспечить. Порядок этот я сам проклинаю. Но так завелось и, кажется, никогда не выведется» (1863 год).

Но бывают дни, когда работать он не в состоянии.

Болезнь тоже вошла в быт.

Каждый припадок может принести смерть.

Случаются они обычно раз в месяц, но иногда и чаще, даже дважды в неделю. Он падает, на губах пена, тело вытягивается, начинает бить судорога.

Как мог он боролся с болезнью. С эпилепсией можно бороться. Есть верхолазы и летчики, заболевшие эпилепсией, но сумевшие не оставить любимой профессии. Напряжением воли они могут задержать и даже «отменить» припадок, если он грозит начаться на высоте.

Иногда удавалось предотвратить припадок и Федору Михайловичу.

Некоторые врачи обещали полное исцеление, но ставили условие — прекратить писать. Это, разумеется, было смешно.

Страшен сам припадок, но еще страшней его последствия. Достоевский несколько дней слаб настолько, что не может удержать в руке перо или чашку. А самое главное — ужасная подавленность. «Если б Вы знали, в какой тоске бываю я иногда после припадков по целым неделям» (письмо Тургеневу).

В эти дни он не может никого видеть. Его мучит страх смерти. Он кажется себе преступником, совершившим какое-то страшное злодейство,— какое ему самому не ведомо.

Особенно тяжел третий день после припадка. В этот день Федор Михайлович мрачен до предела.

Сколько драгоценных часов отняла у Достоевского и у нас эта болезнь!

Другое ее тяжкое последствие — потеря памяти. Он забывает все. Он не помнит содержания своих книг. Он ошарашивает жену (вторую, Анну Григорьевну) сердитыми вопросами: «Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?» Он не узнает людей, с которыми был коротко знаком, чем наживает немало врагов (например, не узнал в 70-е годы поэта Берга, упоминавшегося в предыдущей главе; Федор Михайлович рассказывал, что, встретившись с представившимся ему поэтом, он в первую минуту решил: это немец Берг из «Войны и мира» и, естественно, удивился).

Шестидесятые годы — это пик болезни, припадки наиболее часты, тяжелы и опасны.

Каким же все-таки сильным человеком надо быть, чтобы в этих обстоятельствах работать так, как работал Достоевский!

БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ

Царский манифест об «освобождении» был встречен крестьянскими волнениями в губерниях Петербургской, Пензенской, Тамбовской, Пермской, под Одессой и в различных иных краях обширной империи Российской. Очевидец писал в 1861 году в «Колокол»: «Почти повсеместно крестьяне страшно недовольны новым временнообязательным «Положением», во многих местностях отказываются верить, что объявленный им манифест подлинный».

Пожары недовольства заливались крестьянской кровью. Символом года стало название деревни недалеко от Казани — Бездна. В некрасовских «Современниках» некоего генерала восхваляют: «Ты не дрогнул перед бездной» (Корней Чуковский доказал, что поэт намекал на Бездну с большой буквы). Царизм, действительно, перед Бездной не дрогнул и показал, что готов идти на все.

Отказавшаяся повиноваться властям толпа безоружных бездчинских крестьян, окружившая своего вожака Антона Петрова, по приказу генерала Апраксина была рассеяна четырьмя залпами. На «освобожденной» земле остались лежать десятки трупов «свободных» мужиков.

Огни пожаров полыхали ярко, но они не сливались в одно огненное море всероссийского восстания. Убедившись в этом, реакция начала переходить в наступление. Но еще почти два года колебались чаши весов.

Форпостом радикализма в северной столице последнее время считался университет. Его и стала атаковать власть.

Вскоре после манифеста министром народного просвещения был назначен адмирал Путятин, а попечителем Петербургского учебного округа — генерал Филипсон. В мае генерал с адмиралом выработали для Петербургского университета новые правила. Согласно им отменялась обязательная студенческая форма (знаменитый мундир с синим воротником), но одновременно:

запрещались любые сходки;
запрещалось устройство публичных лекций и концертов, которые ранее организовывались для материальной поддержки студенческой бедноты;
закрывалась студенческая касса взаимопомощи, студенческая библиотека, прекращалось издание «Студенческих сборников»;
резко сокращалось число студентов, освобожденных от платы за обучение;
вводились матрикулы — специальный полицейский документ для студентов, только имея его, они могли жить в Петербурге и посещать лекции.

Цель, которую преследовало введение новых правил, была совершенно ясна: университет пытались превратить в совершенно замкнутое учебное заведение, доступ куда открыт только молодежи из состоятельных семей.

Между тем к тому времени университет был связан со столицей тысячами нитей: студенты принимали активное участие буквально во всех общественных начинаниях. Совершался и обратный процесс: не только университет шел в город, но и город в университет. Современник свидетельствует: «В то время университет как-то сам собой открылся для всех желающих; даже не надо было записываться в вольнослушатели, а просто — приходи и слушай». В учебный год шестидесятого — шестьдесят первого в аудиториях впервые появились слушательницы — самые первые в России студентки Наталья Корсини, Мария Бокова (гражданская жена великого физиолога Сеченова, некоторые штрихи ее биографии вошли в «Что делать?»), Надежда Суслова, которую позже хорошо знал и очень ценил Достоевский. Учиться, впрочем, им дали не много, всего несколько месяцев, потом доступ в университетские аудитории им прочно закрыли. Надо сказать, что тогда женщина в университете казалась явлением не то безнравственным, не то комическим не одним завзятым крепостникам. Хихикал в своем журнале и вполне либеральный Боборыкин, например. Шестидесятники, понятно, горячо отстаивали право русской женщины на высшее образование.

Капитулировать перед генеральско-адмиральской атакой, смириться, отказаться от своей роли в жизни общества петербургские студенты не хотели ни в коем разе, и очень широкие столичные круги им в этом вполне сочувствовали.

В мае студенты разъезжались на каникулы, поэтому битва разгорелась осенью. Но до того успели появиться первые революционные прокламации («К молодому поколению» и другие), а правительство приступило к арестам видных представителей революционной демократии. Первой жертвой стал Михаил Ларионович Михайлов — поэт, переводчик и публицист, ведущий сотрудник «Современника», друг Чернышевского со студенческих лет, человек очень популярный. Его арест взбудоражил Петербург и еще более накалил обстановку.

Когда осенью студенты вернулись в столицу, им в общих чертах сообщили о правилах, но мало-мальски подробно информировать их о новых университетских «законах» начальство боялось. Начались лекции, их никто не слушал; собирались в свободных аудиториях и обсуждали создавшееся положение. Особенно беспокоило учащуюся молодежь, что по новым правилам многим неимущим студентам (таким, как Раскольников; было подобных ему порядочно) теперь начисто отрезается дорога к завершению образования.

Отдали распоряжение запирать двери аудиторий. Не помогло — студенты их взламывали и продолжали митинговать. Тогда, вечером 24 сентября, было закрыто само здание. Когда утром явились студенты, они не смогли пройти в свою «альма матер». Но они не разошлись, и гневный митинг разгорелся во дворе. Несколько раз то с поленицы дров, то с бочки выступал Евгений Михаэлис. Будущий друг Абая как-то естественно стал первым вожаком студенческой массы. По его призыву молодежь построилась в колонну и через весь город двинулась к квартире попечителя.

Такого зрелища северная столица еще не видела. Стройная колонна шла, захватив все пространство мостовой, прохожие и экипажи сворачивали перед ней, многие следовали за колонной по тротуарам. Появились полицейские, жандармы, прискакали военный генерал-губернатор Игнатьев и обер-полицмейстер Паткуль. Была вызвана рота солдат стрелкового батальона, но остановить движение колонны оружием все-таки не решились — центр Петербурга не деревня под Казанью.

Перетрусивший попечитель принял депутацию из троих студентов (одним из них, конечно, был Михаэлис), надавал массу довольно неопределенных обещаний. Депутаты этим не удовлетворились и заставили генерала отправиться в со-

провождении всей колонны к университету. Там Филипсон публично дал слово, что университет будет открыт в ближайшие дни.

Ночью тридцать студентов-«зачинщиков» арестовали.

Назавтра митинг в университетском дворе бушевал с новой силой. К студентам присоединились офицеры — слушатели военных академий, учащиеся медико-хирургической академии, просто штатские. Двор был блокирован войсками, однако приказа к решительным действиям власти давать не осмеливались, да и неизвестно, что из этого вышло бы. Во всяком случае, когда генерал-губернатор Игнатьев приказал солдатам Финляндского полка арестовать одного офицера-«академика», офицер скомандовал: «Налево, кругом марш!» — и солдаты подчинились ему, а не генерал-губернатору.

Так продолжалось несколько дней. Митинговали в кольце войск — не очень прочном кольце, жгли ненавистные матрикулы. Это несколько напоминало известное происшествие, имевшее место тридцать шесть лет назад, на противоположном берегу Невы, прямо напротив университета — на Сенатской площади.

Момент был удобный.

Но студенческое движение было обезглавлено арестами. Чернышевский в эти дни находился далеко от столицы — в Саратове. На митингах политические требования не выдвигались. Не то чтоб никто не думал об использовании удачной ситуации, но планы выходили фантастическими, даже нелепыми. Два руководителя «Современника», Елисеев и Антонович, предложили одному из студенческих коноводов собрать отряд в триста человек и захватить в Царском селе наследника престола, после чего потребовать телеграфом от царя, отдыхавшего в Крыму, в Ливадии, конституции. Когда Николай Гаврилович позже узнал об этом замысле, он не без яда заметил, что Елисеев, несмотря на седые волосы, удивительно юн душою.

Наконец власти опомнились и во время одного из митингов арестовали около трехсот студентов. Некоторых при аресте били прикладами.

Университет был окончательно закрыт (открыли его только спустя два года).

Содержали студентов в Петропавловской крепости не слишком строго. Они могли общаться между собой, передачи и свидания разрешались часто, и у арестованных пере-

бывал «весь город», очень им тогда симпатизировавший (насколько непрочными и мимолетными бывают чувства «общества» многие студенты убедились вскоре). Послала гостинец заключенным и редакция «Времени» — огромный ростбиф с прибавкою бутылки коньяка и бутылки красного вина.

На волю студенты вышли лишь в декабре. Некоторых исключили из университета, пятеро были приговорены к ссылке. Прощальную вечеринку в честь ссылаемых устроили на квартире у Страхова.

(Скитания Михаэлиса по ссылкам начались с Петрозаводска. Вскоре он и там «впутался в историю» — помог одной девушке уйти от родителей-самодуров, был шафером на ее тайной свадьбе. Ему грозили серьезные неприятности. Доброжелатели посоветовали подать прошение императору. Михаэлис прошение подал, но, поставив в конце страницы кляксу, не стал его переписывать, а так с кляксой и послал царю. Александр II воспринял кляксу как личное оскорбление и распорядился перевести юношу — Михаэлису ведь не было еще и двадцати — в Сибирь, в Тару. Позже его оттуда «подняли» вверх по Иртышу).

Но студенческая история этим не кончилась. Студенты сказали: императорский университет закрыт? Ладно. Мы ведь можем слушать университетский курс не только под крышей бывших коллегий императора Петра.

Городская дума предоставила молодежи свой зал, и любимые профессора были приглашены читать в нем свои курсы. И так сильно было либеральное веяние, что не только никто из приглашенных не отказался от этого по сути противозаконного деяния, но, наоборот, те, кого не пригласили, обижены и находят, что это роняет их репутацию. Будущий академик Сухомлинов даже грозит застрелиться, если его не позовут (однако, когда его все-таки не пригласили, он своей угрозы в исполнение не привел).

Ах, какое передовое «общество»! Все, кроме отъявленных ретроградов, соединились в одном порыве к прекрасному будущему, и, надо думать, оно не за горами.

Но все это на поверхности, господа, на поверхности. На глубине течения идут в противоположную сторону. «Образованные классы» накануне размежевания. Собственно, оно уже идет, перед каждым из «передовых людей» стоит незримый вопрос: кто он — революционер или благонамеренный либерал?

Размежевание идет и среди студенческой массы. Сидевший с товарищами в Петропавловке талантливейший фольклорист Иван Худяков, один из тысяч революционеров, замученных царизмом в снегах сибирского заполярья, писал в автобиографии: «Крепость укрощает только легкий напускной либерализм — люди с твердым характером выходят из нее уже опытными заговорщиками».

Для многих, попавших в крепость осенью 1861 года, двухмесячное пребывание в ней оказалось случайным эпизодом, превратившимся со временем в этакое пикантное воспоминание, имеющее, однако, немаловажное значение для общественной репутации популярного адвоката или солидного земского деятеля (а были ведь и такие, кто уже через несколько лет «украшал собой» лагерь реакции).

Не к ним, к другим, обращался тогда, в октябре, из Алексеевского равелина поэт Михайлов, ждавший дороги в Сибирскую каторгу, обращался со стихами, ставшими потом гимном героев «Народной воли»:

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все это пройдем!
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

Много оказалось и таких, и вечная им память.

Чернышевский работает со сверхчеловеческой энергией, которую просто невозможно предположить в этом флегматичном и рассеянном невысоком и бледном (очень мало бывает на воздухе) человеке кабинетного вида, любителе немудреных анекдотов, постоянно уснащающем свою речь чиновничьими «да-с», «ну-с» (популярность его у молодежи была так велика, что многие подражали ему и в употреблении этих «дасов» и «нусов»).

Чернышевский целеустремлен, как ракета. Каждое его слово, каждый шаг подчинены одному. Все острее и сокрушительнее его атака на политику царского правительства. Цензура бессильна: этот человек безукоризненно владеет языком совершенно поджигательским по сути и одновремен-

но абсолютно лояльным по форме. Он постоянно завязывает новые знакомства — среди молодежи, среди военных, осторожно подбирает и проверяет людей, незаметно объединяет их в группы. Для этого он пользуется любым случаем и способом. Его постоянно можно увидеть на каждом сколько-нибудь заметном собрании, он бывает в различных комитетах и комиссиях, в шахматном клубе (заменяющем неразрешенный литературный) его столик всегда окружен собеседниками.

Его роль ясна многим — и среди друзей и среди врагов. Если сменивший Игнатьева генерал-губернатор Петербурга Суворов (внук генералиссимуса, чуть ли не единственный порядочный человек в высших сферах столичной бюрократии) заранее узнает о каком-либо крамольном «мероприятии», он приглашает к себе редактора «Современника» и просит «мероприятие» отменить. Иногда Николай Гаврилович говорит: «Ничего не могу сделать»,— иногда соглашается, и в таком случае действительно ничего не происходит.

Правительству и III отделению идут страстные письма реакционеров-крепостников: «Уберите Чернышевского!»

Но мало кто знает, что Чернышевский стоит сейчас во главе Центрального Комитета тайного общества «Земля и воля», готовящего революционный переворот. Центральный Комитет создает «пятерки» — низовые ячейки общества. Они существуют уже и в Петербурге, и в Москве, и в провинции.

Мы не знаем точно состава Центрального Комитета. Видимо, в него входили Вас. Курочкин, Г. Благосветлов, Н. Серно-Соловьевич, В. Обручев, бесспорно, кто-то еще. Членами общества были, несмотря на ряд разногласий с Чернышевским и его соратниками, и «лондонские агитаторы» — Герцен и Огарев...

Конец «думского университета» наступил после благотворительного литературного вечера в зале Руадзе 2 марта 1862 года. Доход от вечера должен был пойти в основном в пользу бедных студентов, часть же его предполагалось переслать Михайлову. Вечер, как писали очевидцы, стал своего рода смотром передовых литературных сил России и прозвучал открытым вызовом правительству. Чернышевский прочел на нем воспоминания об умершем друге, вызвавшие «целую бурю криков и рукоплесканий», а суть воспоминаний сводилась к тому, что Добролюбова убила несправед-

ливость существующего строя. Василий Курочкин читал свою переделку на русский лад песенки Беранже о правительственном шпионе — «Господина Искариотова»:

Чтец усердный всех журналов,
Он способен и готов
Самых рьяных либералов
Напугать потоком слов.
Вскрикнет громко: «Гласность! гласность!
Проводник святых идей!»
Но кто ведает людей,
Шепчет, чувствуя опасность:
Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,—
Приближается сюда.

Господ искариотовых в зале Руадзе было предостаточно. Сохранилось донесение одного из них, где говорится, что Достоевский на вечере «угощал слушателей отвратительными рассказами преступников в каторжной работе, арестантских ротах, острогах и прочее, за что тот или иной был сослан или заключен после кнута, плетей или пройдения сквозь строй», т. е. читал из «Мертвого дома». Он тоже имел большой успех. Взбудораженный зал находил в произведении соответствие своему настроению, а читал Федор Михайлович к тому времени совершенно мастерски. «Вот этот человек понимает тонко и без всяких вспомогательных средств — вроде шепота, и выкрикиваний, и вращения глаз, и прочего — слабым своим голосом, который — не понимаю уж каким чудом — слышался всегда в самых отдаленных углах огромной залы, он проникает не в уши слушателей, а, кажется, прямо в сердце» (Е. А. Штакеншнейдер).

Но наибольший успех на вечере неожидано выпал на долю профессора Павлова. Профессор появился в столице недавно, ранее он преподавал в Киевском университете и был вынужден уйти из-за обвинения в пропаганде атеизма. Павлов произнес речь о тысячелетии России, которую закончил словами о том, что страна стоит над пропастью — «имеющий уши слышать, да слышит». Во время чтения, по словам Шелгунова, «в зале стоял гул, раздавались какие-то вопли неистового восторга, стучали стульями, каблуками», а один из распорядителей вечера председатель Литературного фонда (и хорошо известный Чокану директор Азиатского департамента) Ковалевский тщетно кричал из-за кулис:

— Удержите его, удержите! Его завтра же сошлют!

Назавтра пророчество Ковалевского исполнилось в точности: в полдень Павлов уже катил в сопровождении двух жандармов в назначенную ему уездную глушь (его даже допрашивать не стали).

Руководящий студенческий комитет совместно с профессорами решил прекратить в знак протеста лекции в думе. Однако на следующий же день часть профессоров испугалась и высказалась за продолжение чтений (сделаем вид, что ничего особенного не случилось). Очередную лекцию должен был читать Н. И. Костомаров, кумир студентов, блестящий оратор. Чтили его и за «мученическое» прошлое (за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе отбывал ссылку в Саратове) и за либеральную направленность его трудов.

Еще раз говорю: удивительно стремительное было то время. Последняя лекция Костомарова кончилась тем, что студенты кричали своему вчерашнему (буквально вчерашнему) любимцу: «Подлец! Станислава на шею!», а любимец, красный от гнева, стуча кулаком по кафедре, восклицал, что видит перед собой Репетиловых, которые завтра превратятся в Расплюевых.

Случай сам по себе был не исторического масштаба, но после него стало заметно, что «общество» постепенно и со все убыстряющейся скоростью отходит от шестидесятников.

А чтение лекций назавтра запретило правительство.

* * *

Федор Михайлович не спит уже несколько суток.

Как заснуть, когда обычный глухой шум утра то и дело прерывается то душераздирающим криком, то отдаленным гулом обвалившейся стены. И душит тяжелый запах гари.

Столица горит.

Каждые сутки несколько пожаров.

Выгорели Большая и Малая Охта, Ямская, Апраксин двор, десятки улиц целиком.

За столбами дыма, поднимающегося над городом, не видно яркого майского солнца.

Стоят черные мертвые скелеты выгоревших многоэтажных зданий.

И на окраинах длинные ряды печей среди пепла и золы.

Тысячи людей остались без крова, превратились в нищих. Они потрясены, испуганы, злы. Кто-то умело пускает

ядовитые слухи: поджигают студенты. Люди верят. Им надо сорвать на ком-нибудь злость, а им искусно подсказывают выход. И сжимаются тяжелые кулаки ремесленников при виде студенческой фуражки. Есть, говорят, уже случаи убийств мнимых поджигателей.

Пропасть между нами и ними, пропасть ненависти. Как, как перейти ее?

А наши господа революционеры словно нарочно льют масло в огонь, на котором сами же первые и сгорят. Вот нашел вчера лист, засунутый за дверную ручку. Прокламация «Молодая Россия». Извольте-с: «Бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!»

Бей, бей, бей, бей!.. Ну как не поверит простой народ, такой листок прочитав, что это сочинители его жгут город, пуская по миру бедный люд?

Была на днях гражданская казнь этого офицера... как его... Обручев, кажется. Раньше на такие события собирались больше люди образованные, и осужденные видели к себе одно сочувствие. А нынче был один простой петербургский народ, и как бесновалась толпа! И четвертовать преступника требовала, и сжечь, и повесить вверх ногами. А какой дикий взрыв хохота раздался, когда на несчастного надели арестантскую шапку, она оказалась велика и закрыла ему лицо! До сих пор, как вспомнишь этот звериный хохот, мороз по коже продирает.

И господа либералы, поклонники золотой середины, как всегда, хороши. Давно ль чуть не плясали вокруг студентов, чуть не молились на молодежь, а теперь поддакивают гнусным слухам. Вон на столе свежие газеты. В одной: «Не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие заранее обдуманного плана». В другой: «Но на кого указывает народ, как на главную причину своего бедствия? Горько и тяжело, а нельзя скрыть — на учащуюся молодежь». И знаменитый либерал, столп либерализма, так сказать, господин Кавелин тоже заявляет, что поджоги носят, мол, политический характер.

Чему же удивляться после этого, что народ сущую нелепицу придумывает. Говорят вон о каком-то офицере, у которого спина намазана зажигательным составом. Потрется спиной о стену — здание и вспыхивает. Анекдот?

Да, но скверный анекдот, очень скверный, вот в чем беда *.

Он пытался в своем журнале отвести удар от молодежи, доказать, что пожарная нынешняя эпидемия в России не первая и ничем от предыдущих не отличается (вон при Николае Павловиче даже Зимний дворец горел). Статья была уже набрана, но красный карандаш цензора похерил ее целиком. Видно, дано кем-то указание — правды о пожарах не пропускать.

Но надо, однако ж, что-то делать, что-то предпринять и предотвратить. Иначе сгорит Петербург. Россия сгорит. И резня будет, бессмысленная кровь.

Он встает, одевается. Выходит. Идет через дымный город, по которому бродят кучки погорельцев — и играет, несмотря ни на что, тоскливую песню петербургская шарманка,— к дому, где никогда не бывал, стучится в незнакомую дверь.

Ее открывает сам хозяин. Его светлые глаза за стеклами очков смотрят спокойно и без удивления на измученное, больное лицо неожиданного гостя.

— Николай Гаврилович,— быстро говорит Достоевский,— мне нужно поговорить с вами по чрезвычайно важному делу.

Чернышевский отступает и жестом приглашает гостя.

— Прошу вас, Федор Михайлович. Идемте ко мне в кабинет. Я нынче один дома.

* * *

Они оба оставили воспоминания об этой встрече, и по деталям эти воспоминания разительно противоречат друг другу. По Чернышевскому выходит, что речь шла о пожарах, по Достоевскому — о «Молодой России». Достоевский говорит, что Николай Гаврилович заявил о своем полном несо-

---

* Об огромном впечатлении, произведенном на писателя пожарами, свидетельствует и тот эпизод «Преступления и наказания», когда Раскольников просматривает свежие газеты: «...мещанин сгорает от вина — пожар на Песках — пожар на Петербургской — еще пожар на Петербургской — Излер-Излер-Излер...»

Обычно скрупулезно точный насчет хронологии Достоевский в данном случае идет на сознательный анахронизм: действие романа происходит в 1865 году, а большие пожары были в 1862-м. Но они очень хорошо «рифмуются» со смятенным, горячечным состоянием Раскольникова.

гласии с прокламацией, хотя заметил: «Явления эти, как сторонние факты, неизбежны».

Это вполне правдоподобно: «сверхреволюционная» «Молодая Россия», выпущенная московским кружком Зайчневского, появилась совершенно некстати для «Земли и воли», помешав ее организаторской объединительной работе. Когда посланец московского кружка приехал к Чернышевскому с пакетом прокламаций, Николай Гаврилович, уже знакомый с содержанием «Молодой России», пакета не принял и вообще встретил москвича крайне сухо.

Но главное не в этом. Сличив оба текста воспоминаний, нетрудно выяснить суть разговора (о чем бы он ни шел — о пожарах или о прокламации) двух замечательных современников.

Дело в том, что Достоевский пришел к вождю революционной партии России просить его удержать своих сторонников от революционного выступления.

Федор Михайлович решил в личной беседе добиться того, чего не мог добиться своим журналом.

Конечно, это было верхом наивности, и Николай Гаврилович решил, что его собеседник просто-напросто болен.

Разговор был между людьми, которые идут по двум разным и далеким дорогам. Они плохо слышали друг друга и, может быть, поэтому плохо запомнили, о чем конкретно говорили.

Естественно, Федор Михайлович ушел ни с чем.

А Чернышевскому оставалось быть на свободе с небольшим месяц — изъяли его в июле.

ЕВРОПА — ВПЕРВЫЕ

А Федор Михайлович еще раньше, 7 июня, уехал на запад, в Европу.

Официально он ехал лечиться, да и действительно был крайне переутомлен спешкой журнальной работы. Он подсчитал: за полтора года он напечатал во «Времени» около ста листов своих работ — количество страшное (Аполлон Григорьев зло ругал Михаила Михайловича: тот-де загоняет «высокое дарование» брата «как почтовую клячу». Но Достоевский писал так много не только потому, что это было необходимо, он и сам хотел этого).

Однако суть заключалась не в лечении.

Как почти все русские интеллигенты его поколения (независимо от идейных взглядов), Федор Михайлович о Европе мечтал с юности. Между людьми сороковых годов молчаливо подразумевалось, что до поездки за границу формирование мировоззрения,— а пожалуй, и самой личности — еще не закончено. Но вместо Европы поехал молодой Достоевский в Семипалатинск, а прежде того — в Мертвый дом. На запад же отправлялись преимущественно добродушные российские помещики, которые за отсутствием пока Эйфелевой башни обзирали Париж с Нотр-Дам и втихомолку от жен гонялись за гризетками. Особой пользы заграничные вояжи им не приносили, так как личности их по причине несложности формировались рано и до глубокой старости оставались в неизменном виде.

Первые два года возвращения тоже было не до путешествий, и Федор Михайлович жаловался Полонскому, странствовавшему по Италии: «Неужели ж теперь не удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии. Неужели придется ехать лет через десять согревать старые кости от ревматизма и жарить свою лысую и плешивую голову на полуденном солнце. Неужели так и умереть, не видав ничего!»

Во «Времени» Достоевский писал (и очень остроумно) о том, как плохо западные люди, французы, в частности, знают Россию — хуже, чем Луну, язвительно пародировал расхожие представления европейского мещанина-«интеллектуала». Он знает, что «Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках», а также, что «народ наш... не способен к высшему развитию по причине морозов». «Знают, что в России был император Петр, которого называют великим,— монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями... женевец Лефорт воспитал его... Петр обрезал бороды, и потому русские тотчас сделались европейцами». «Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России».

Особенно зло расходился Федор Михайлович, когда речь доходила до представления среднего европейца о русской литературе. Он выводил французского путешественника, который в своих записках «обратит внимание на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и

с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарования, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременной смертию (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»...».

Скорей всего Федор Михайлович в первую очередь имел в виду записки о путешествии по России самого Дюма, незадолго до того вышедшие в Париже. Не всем известно, что популярный образ развесистой клюквы заимствован именно из этого сочинения знаменитого автора «Графа Монте-Кристо».

Но Достоевского, вероятно, раздражало то обстоятельство, что Дюма, описывая Россию, хотя и сочиняет небылицы, однако все ж видел ее собственными глазами, а он, перечитав сотни книг европейских авторов, вынужден тем не менее судить о западе заглазно, т. е., что ни говори,— отвлеченно: никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь.

И вот позади остался пограничный столб.

Федор Михайлович с жадностью поглощает европейское пространство, кометой проносясь через границы. Маршрут двухмесячной поездки: Берлин — Дрезден — Висбаден — Баден-Баден — Кельн — Париж — Лондон — Люцерн — Дюссельдорф — Женева — Генуя — Ливорно — Флоренция — Милан — Венеция — Вена. Но это не дорога ради дороги и не верхоглядство.

Страхов, в середине пути присоединившийся к Достоевскому, с обычной своей проницательностью замечает: «Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать» и поясняет почему: «его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры да разве общее впечатление уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную казенную манеру осматривать по путеводителю разные зна-

менитые места»,— что, разумеется, показалось его солидному собеседнику, очень уважавшему путеводители, эксцентрическим чудачеством.

Из характеристики Страхова следует, что Достоевский именно был мастером путешествовать, да это и без того ясно для его читателя. Все его внимание, действительно, было устремлено на людей, людей, живущих в определенном историческом времени, и на то, что разъясняет людей и время. Он смеялся над теми приезжими из России, что «ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости, и, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную: не пропустят ни одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде, ни одного бургомистрского дома, чрезвычайно похожего на обыкновенный московский или петербургский дом».

Федора Михайловича мало интересовали достопримечательности. Он стремился разглядеть эпоху.

В Лондоне он, например, не подошел к знаменитому собору св. Павла, хотя видел его издали (а ведь Достоевский в юности учился архитектуре и любил ее), зато внимательно разглядывал довольно безобразные здания всемирной выставки, так как находил в них выражение духа времени.

Итогом первого европейского путешествия Достоевского стало его убеждение об окончательной победе на западе «буржуазного порядка».

Победителей Федор Михайлович ненавидит до глубины души, всем существом. Ненавидит и презирает. Через несколько месяцев по возвращении на Родину он публикует в своем журнале «Зимние заметки о летних впечатлениях», куда включает «Опыт о буржуа» — гневный памфлет, направленный против торжествующего собственника. Широко известны блистательные и исчерпывающе-лаконичные определения буржуазной демократии из «Опыта», например, о свободе, которая позволяет делать что угодно в пределах закона... всем имеющим по миллиону. «Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно».

Достоевского буквально тошнит от пошлости буржуа, от его духовного лилипутства, от глупой мерзости того «искусства», которое поставляют на потребу буржуа его интеллигентные лакеи, по мере скромных своих сил героизирую-

щие жирненького верноподданного Наполеона III и его «эпузу» — жену.

Писатель хорошо понимает, какими страданиями народа оплачено торжество буржуазной утробы. Коротко и резко рисует он образ толпы «белых негров», жертв капиталистического «Ваала» (так названа одна из глав «Заметок»), жизнь которых поистине каторжна. И здесь Достоевский обращается к образу страдающего ребенка, через него передавая весь трагизм судьбы «белых негров». Этот небольшой отрывок из «Зимних заметок» принадлежит к сильнейшим созданиям великого гуманиста:

«Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидел одну девочку, лет шести, не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило,— она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое существо, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклокоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги».

Буржуазия долго рвалась к власти, используя для своей борьбы с аристократией народ, без которого она была бессильна что-либо изменить, провозглашая «свободу, равенство, братство». Через миллионы трупов пришла она к победе. И что же переменилось в жизни? Только ее хозяева. Общая сумма человеческих страданий осталась неизменной.

Достоевский беспощадно судит буржуа. Он замечает и его тайную, тщательно скрываемую неуверенность в завтрашнем дне. Буржуазия «ежится», не верит в долговечность своего торжества — оно противоестественно, античеловечно.

Но писатель не видит, кто несет ей решающий удар. Он считает, что европейский пролетариат окончательно задавлен буржуазией, навсегда превращен в подобие уэллсовских морлоков (если б Федор Михайлович дожил до появления

«Машины времени», он, бесспорно, оценил бы ее). А рабочий, обладающий талантом и жизненной силой, способный вырваться из тисков страшной действительности, немедленно сам превращается в буржуа, потому что и в нем глубоко и неистребимо сидят инстинкты собственника.

Социализм? «Хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции» и вообще не в Европе, потому что западному человеку чуждо понятие общечеловеческого братства, он слишком индивидуалистичен, «личен», обособлен. А социалистическое общество без братства, общество, где всем командует не сердце, а разум — это «муравейник», людям невыносимый.

Так Федор Михайлович в своем восприятии Европы совмещал глубокие прозрения с наивнейшими заблуждениями.

Приехав в Лондон, Достоевский, конечно, встретился с Герценом, говорил с ним, с Огаревым, с недавно бежавшим из сибирской ссылки Бакуниным. Незадолго до того «Время» защищало Бакунина от наскоков, совершенных на него И. И. Панаевым в своих воспоминаниях.

Разговором собеседники остались, в общем, довольны. Из писем Герцена видно: почвеннические теории, которые развивал в беседе Федор Михайлович, издатель «Колокола» нашел смутными и наивными, но сам Достоевский ему понравился. Особо отмечал Александр Иванович горячую веру Достоевского в творческие силы русского народа, в его будущее. Эту веру Герцен всецело разделял.

Объединяла их и страстная ненависть к торжествующей буржуазии.

Разумеется, вся русская классическая литература XIX века антибуржуазна, но особенно велик эмоциональный накал отрицания буржуа и его «идеалов» именно у Герцена и Достоевского. Здесь ненависть открытая, прямая, декларируемая.

Многие мысли «Зимних заметок» должны были показаться Герцену очень близкими.

И Федор Михайлович очень ценил автора «Былого и дум» и долгое время находился под обаянием его личности. Характерно: даже в годы наибольшего своего удаления от передового лагеря (начало 70-х), зло и несправедливо отзываясь порой о Белинском и Добролюбове, Герцена Достоевский щадил. Наоборот, советовал девушке, мечтавшей стать писательницей (она записала его слова):

— Хотите вы быть истинно образованной женщиной? Идите в Публичную библиотеку и спросите себе «Отечественные записки» 1840—1845 годов. Там вы найдете ряд статей по истории наблюдений над природой. Это — Герцена... Лучшая философия не только в России,— в Европе.

«ДРУГ ВЕЧНЫЙ»

Через год Федор Михайлович снова за границей. Вторых «Зимних заметок» он, однако, не написал по ряду обстоятельств. Решающим, видимо, явилось тут то, что помещать их оказалось бы негде. Журнала у Достоевского больше не имелось — «Время» было закрыто по распоряжению министра внутренних дел Валуева. Министр, кстати, тоже баловался пером и позже выпустил один очень забавный великосветский и, разумеется, антинигилистический романчик (тема — житие гвардейского офицера), впрочем, чаще перо его резвилось, подписывая решения о приостановке или закрытии различных печатных органов.

История запрещения первого журнала Достоевского вкратце такова.

В начале 1863 года в «царстве Польском» вспыхнуло давно назревавшее восстание. Значение его было огромно. В. И. Ленин писал о нем: «Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах *не было* самостоятельных массовых, демократических движений, *шляхетское* освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии, не только всероссийской, не только всеславянской, но и всеевропейской»*.

Отношение к польскому восстанию, как лакмусовая бумажка, проявляло настоящий политический цвет общественного деятеля (а кто в России шестидесятых годов — имея, конечно, в виду «образованные классы» — не был или, по крайней мере, не считал себя общественным деятелем). И с гордостью за своих прадедов мы можем сказать, что у многих из них это испытание проявило *красный* цвет.

Карл Маркс в связи с некоторыми принципиальными ошибками Герцена, а также по ряду недоразумений далеко не восторженно относившийся к русскому публицисту, гово-

---

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 297.

рил тогда в письме к Энгельсу, что вот теперь у Герцена есть возможность доказать свой демократизм, объявив об одобрении выступления поляков. Интонация фразы такова, что очевидно: Маркс весьма сомневался, что у издателя «Колокола» хватит последовательности и мужества для этого шага. Но Александр Иванович, хотя он с самого начала плохо верил в успех повстанцев, счел своим гражданским долгом заявить (и без конца повторять это в своих изданиях) о полной поддержке польского восстания. О своих политических и тактических расхождениях с его руководителями Герцен в сложившихся обстоятельствах говорить считал неуместным. Это стало самоубийством «Колокола» — он мгновенно потерял 90 процентов своего влияния в России, но Герцен иначе поступить не мог и этим, по определению Ленина, спас честь русской демократии.

Бакунин собирался высадиться на территории Польши с десантом вооруженных эмигрантов — и не его вина, что этот план не осуществился. Русские офицеры, связанные с «Землей и волей», возглавили некоторые повстанческие отряды; Муравьев-Виленский вешал их, взяв в плен, так же хладнокровно, как и плененных офицеров-шляхтичей. После кровавого подавления «мятежа» русские революционные демократы организовали побег из тюрьмы одного из его героев, будущего военного руководителя Парижской коммуны Ярослава Домбровского.

В то же самое время «Русский вестник» (и газета «Московские ведомости», которую издавал Катков же) в своем верноподданническом пафосе, в шовинистически-висельной патетике до того дотопалось ногами, что начало подозревать в сочувствии и содействии «польской интриге» даже брата царя.

Муравьеву, покрывшему запад России бесконечными рядами виселиц, вешавшему даже раненых пленных — так был казнен друг Чернышевского и Шевченко Зыгмунт Сераковский,— дворяне всех губерний и уездов России слали приветствия. В повести Василия Слепцова «Трудное время» изображается между всем прочим, характеризующим трудное время реакции, обед земского собрания. К концу торжественного обеда, когда уже приступают к сладкому, а половина уездных деятелей пьяна в доску, кто-то спрашивает: «Телеграмму-то будем посылать?» И всем ясно — кому телеграмму, все знают: в подобных случаях положено благодарить и приветствовать героя времени — звероподобного

даже по внешнему облику * генерала, сидящего в Вильно и успешно спасающего отечество.

«Современник» и «Русское слово», которым цензура, естественно, не разрешила бы высказать их истинное отношение к происходящему, презрительно молчали. «Время» же решило высказаться, это его и погубило.

И в данном случае журнал пошел тем самым третьим путем, которого нет. Было решено, что «Время» правительственную политику одобрит, а восставших поляков осудит, но одобрит и осудит не с официальной точки зрения, а со своей — оригинальной и интеллигентной.

Поручили сочинить соответствующую статью Страхову (подписался он псевдонимом «Русский»), а называлась статья «Роковой вопрос». Страхов же, как говорил немного позже Федор Михайлович, «перетонил».

Он и вообще-то писал порядком неясно, а в данном случае уж так намудрил, что запутал не только врагов восстания, но и его союзников. Герцен, например, заявлял, что «Время» произнесло «гуманные слова» в защиту поляков.

В гуманисты магистр зоологии попал по недоразумению: поляков он не защищал. По смыслу его выступления получалось, что осудить их следует беспощадно, однако в первую очередь не за сам факт «бунта», а за национальное высокомерие, которое как раз к бунту и привело.

Когда деспотизм требует криков «ура», даже возглас «браво» возбуждает у него подозрение в преступном свободомыслии.

Первыми возмутились «Московские ведомости» и трахнули по журналу Достоевского так, что потом починить уже ничего было нельзя, хотя после немедленного и страстного покаяния Страхова катковцы разобрались, в чем суть дела, и печатно опубликовали вердикт: автор «Рокового вопроса», действительно, виновен, однако не в государственной измене, а лишь в разных интеллигентских штучках-дрючках, каковые одобрить невозможно, но и признавать потрясающими устои до основания тоже вряд ли следует. Несмотря на это «Время» все-таки прикрыли.

Дело было не в одном «Роковом вопросе». В приказе о запрещении журнала говорилось не только о статье Страхова, но и о «вредном направлении» «Времени» вообще.

* Об этом писали и Герцен и Чернышевский.

Хотя перестройка мировоззрения Достоевского в основном уже совершилась (повторяю, что не закончилась она до смерти писателя и, надо думать, не могла бы совсем завершиться, доживи он и до ста лет), хотя бывший петрашевец стал врагом революции, идеологи царизма еще не пытались использовать его в своих целях, такие попытки относятся к периоду более позднему, к семидесятым годам.

Тут было не просто недоразумение: бунтарская сила художественного творчества Достоевского бросалась в глаза, отпугивала официальных идеологов самодержавной России. Позже их тактика по отношению к великому писателю стала тоньше, продуманней, коварнее.

Не воспринимали Федора Михайловича как ретрограда и шестидесятники, во всяком случае, те из них, кто в тот или иной исторический момент воплощал само понятие «шестидесятые годы» — в первую половину эпохи «Современник» Чернышевского и Добролюбова, во вторую — «Русское слово» Писарева и Зайцева. И это при том, что «почву» шестидесятники высмеивали зло и презрительно, с журналами Достоевского, особенно со вторым, полемизировали беспощадно. Но, давая оглушительные оплеухи публицистам «Эпохи», присоединившимся к «патриотической рыси большинства», Варфоломей Зайцев одновременно говорил о «Мертвом доме», что такие произведения пишутся кровью сердца. Дмитрий Писарев писал и о «Мертвом доме» и — одним из самых первых — о «Преступлении и наказании». В статье о трагедии Родиона Раскольникова («Борьба за жизнь») критик по своему обыкновению обходится без комплементарных оценок, но совершенно ясно, что он видит в романе великое реалистическое произведение.

Общественная позиция проверялась в те годы, в частности, отношением к Белинскому и его литературному наследству. За измену знамени «неистового Виссариона» шестидесятники так же неистово критиковали многих выдающихся деятелей сороковых годов. Так вот характерно, что Достоевский отступником не казался даже самым близким Белинскому людям. В конце 1862 года Федор Михайлович получил от вдовы великого критика М. В. Белинской следующее письмо:

«Милостливый государь Федор Михайлович. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как мы не виделись, и, быть может, что Вы забыли о моем существовании, но я никогда не переставала чувствовать к Вам самое дружеское расположе-

ние и принимать в Вас искреннее участие. Лет 10 назад мне случилось встречаться с Вашим родственником доктором Ивановым, которого я просила передать Вам мой искренний привет, но, вероятно, по трудности тогдашнего сообщения, он забыл исполнить мою просьбу.

Как часто с сестрой моей вспоминаю я об Вас и о том времени, когда Вы познакомились с моим мужем; с каким вниманием слушает об Вас дочь моя, которую Вы носили на руках; она усерднейшая Ваша поклонница. Вы спросите, быть может, чего ради пишу я Вам все это? Когда Вы будете в Москве, если бы Вы заехали ко мне, то этим бы премного обрадовали преданную Вам Марию Белинскую. И найти меня не трудно. Я живу там, где Вы провели Ваше детство, т. е. возле Мариинской больницы в Александровском институте».

Тут крайне интересно и то, каким близким человеком был молодой писатель в семье Виссариона Григорьевича (он играет с его маленькой дочкой, жена Белинского знает, где он провел детство, его родственников), и то, что для вдовы критика Федор Михайлович, несмотря на его разрыв с Белинским и всю его последующую деятельность, таким и остается — своим, близким. История разрыва вообще обходится молчанием, этим она как бы признается чем-то случайным и маловажным.

Как близкой отвечает Белинской и Федор Михайлович:

«...Письмо Ваше произвело на меня чрезвычайно приятное впечатление. Я до того любил и уважал Вашего незабвенного мужа и вместе с тем мне так приятно было припомнить все то лучшее время моей жизни, что я от души поблагодарил Вас за то, что Вам вздумалось написать ко мне. Летом или даже весной я непременно буду в Москве и уж непременно на этот раз явлюсь к Вам.

...А нам ведь много есть о чем переговорить, многое припомнить. О себе я ничего не могу Вам теперь написать: женат, болен падучею болезнью, литераторствую, участвую в издании журнала, путешествовал по Сибири и проч. и проч.».

Вскоре после этого письма участвовать в издании журнала Федор Михайлович перестал.

* * *

Если вспомнить, какое значение придавал Федор Михайлович своей журнальной деятельности, как всю жизнь стремился к ней, то нетрудно представить его в первые недели после внезапной гибели «Времени», гибели в пору его внешнего расцвета,— наряду с «Современником» оно стало самым читаемым журналом, догнав последний по числу подписчиков. Легко вообразить себе растерянность, ярость, ожесточение, отчаянные попытки найти выход из тупика, бессонные ночи в мучительных раздумьях...

Ничего такого не было.

Федор Михайлович быстро передал все хлопоты брату — казалось, что есть еще надежда на отмену запрещения,— и уехал за границу. Он рвался в Париж, где должен был встретиться с женщиной, которую любил. И это чувство достигло в тот момент такого достоевского накала, что все остальное казалось второстепенным и незначительным.

Женщину звали Аполлинарией Сусловой.

Они были близки уже больше года (больная Мария Дмитриевна жила в то время в тихом Владимире, климат Петербурга оказался убийственным для ее слабых легких, впрочем, и отъезд дал ей лишь недолгую отсрочку).

О том, какую роль Аполлинария сыграла в жизни и творчестве Достоевского, можно судить по следующему факту. Если свести воедино мнения ряда литературоведов, то окажется, что Суслова является прототипом таких героинь писателя, как

Полина,
Дуня Раскольникова,
Настасья Филипповна,
Аглая,
Лиза Дроздова,
Ахмакова,
Грушенька,
Катерина Ивановна,

что с ней связаны романы и повести Достоевского:

«Записки из подполья»,
«Игрок»,
«Преступление и наказание»,
«Идиот»,
«Бесы,

«Подросток»,
«Братья Карамазовы»,

т. е. чуть не все художественные произведения писателя, созданные им после знакомства с Сусловой. Конечно, это страшное преувеличение, но согласитесь: насколько должна быть интересна женщина, способная навлечь на себя подобные подозрения!

Первым и единственным биографом Сусловой был известный исследователь Достоевского А. С. Долинин. Ценность его работ о подруге великого писателя, изданных в 20-е годы и давно превратившихся в библиографическую не то что редкость, а — извините за неологизм — редчайшесть, неоспорима, но мне кажется, что ученый чересчур доверился суждениям о Сусловой ее второго мужа В. В. Розанова. Василий же Васильевич, художник незаурядный, уверенной рукой чертил эффектный, однако, если пользоваться нашим современным словарем, уж очень голливудский, что ли, образ женщины-вамп: «С Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы А. М. Щегловой (мне 17 лет, Щегловой 20—23, Сусловой 37): вся в черном, без воротничков и рукавчиков (траур по брату), со «следами былой» (замечательной) красоты... Взглядом опытной кокетки она поняла, что «ушибла» меня — говорила холодно, спокойно. И, словом, вся — «Екатерина Медичи». На Катьку Медичи она в самом деле была похожа. Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно; «стреляла бы в гугенотов из окна» в Варфоломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видел. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы «поморского согласия» или еще лучше — «хлыстовская богородица».

Соблазнительно, конечно, именно в такой женщине увидеть прообраз «инфернальниц» из романов Достоевского, но уж очень многое во внутреннем облике Аполлинарии Прокопьевны Сусловой, в длинном жизненном пути ее не вяжется с розановским портретом, который идет явно в основном не от оригинала, а от портретиста.

Публициста и критика Василия Розанова часто характеризовали как черносотенца, и это, конечно, совершенно верно. Но был он не совсем обычным черносотенцем, ибо, например, мог запросто — под разными псевдонимами — печа-

тать в двух газетах враждебных направлений совершенно противоположные по содержанию статьи в одно и то же время. И, главное, делал это даже не столько ради гонорара, сколько ради того острого наслаждения, который доставлял ему сам акт двурушничества.

Василий Васильевич Розанов был декадентом — не в литературном, а в бытовом смысле слова. Цинизм, очень похожий на цинизм старика Карамазова, являлся для него органической потребностью, всю жизнь он оплевывал все на свете, в том числе и самого себя. Если добавить к этому ненасытное любопытство к «проблеме пола», особенно ко всяким ненормальностям и извращениям в этой области (с каким особым сладострастием подчеркивает Розанов разницу в возрасте между собой и Сусловой, кстати преувеличивая ее), а также бесспорно сильный ум и яркое (тоже специфическое) воображение, то можно получить представление о духовном мире этого весьма знаменитого в свое время литератора, ярого ненавистника Советской власти.

Через шесть лет после женитьбы Суслова и Розанов разошлись; инициатором разрыва была Аполлинария Прокопьевна, увидевшая в муже «фальшивого, чиновного и продажного человека». Розанов умолял ее вернуться, плакал в письмах, обращался к администрации, отказывался выдать отдельный вид на жительство, что вынуждало Суслову в течение долгих лет жить у старика-отца. Аполлинария отвечала мужу: «Тысячи людей находятся в Вашем положении и не воют — люди не собаки».

Непоколебимая твердость в защите своего человеческого достоинства — ее первая черта.

Вторая — воинствующий демократизм. Он и неудивителен у дочери крепостного крестьянина. Суслова любит мужика, верит в него. В Париже она записывает итог разговора с одним знакомым — либералом, которого прозвали «русским жирондистом»: «Лучинин начал утверждать, что космополитизм очень хорошая вещь... что патриотизм и национальность — вздор... что с русскими ничего общего не имеет, ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов... я была взбешена... Так вот каковы они! Нет, я не пойду с этими людьми. Я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до 15 лет и буду жить с мужиками, мне нет места в цивилизованном обществе. Я еду к мужикам и знаю, что они меня ничем не оскорбят».

Как молитву, как заклятье повторяет она по ночам некрасовские строки:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Вот еще некоторые штрихи ее биографии.

1865 год. Она записывает в своем дневнике: «Я говорю, что *пользу* надо приносить, хоть одного мужика читать выучить».

1866 год. Брат Сусловой, Василий, судебный следователь в Тамбовской губернии, подвергается обыску по доносу, что он вместе с сестрой хранит и распространяет революционные прокламации.

1868 год. Суслова открывает в Иванове учебный пансион. Через два месяца школа закрыта начальством по рапорту директора училищ Владимирской губернии о том, что Аполлинария Прокопьевна — неблагонадежный элемент, в частности, носит синие очки, коротко стрижет волосы и отказывается от посещений церкви.

1872 год. Суслова — а ей уже идет четвертый десяток — в числе первых слушательниц Высших женских курсов Герье в Москве.

Кажется, хватит. Ясно, что это жизнь не «вамп», а типичной шестидесятницы, какой Аполлинария Прокопьевна в действительности и была. В демонические женщины ее произвели Розанов да А. Г. Достоевская.

Личная жизнь Сусловой в самом деле трудна и путана, но это доказывает только, что шестидесятницы, несмотря на синие очки, были не «синими чулками», а обыкновенными женщинами, и еще, что ей очень не везло.

Она не сумела выбрать в жизни достойную цель, поле деятельности, как например, ее сестра Надежда, которая после изгнания женщин из Петербургского университета уехала в Швейцарию и все-таки доктором медицины вернулась в Россию и добилась признания. Но такие, как Надежда Суслова или Софья Ковалевская, были редким исключением — слишком много рогаток ставила перед шестидесятницами, рвавшимися к научной или общественной деятельности, российская действительность.

В революционном же подполье шестидесятых годов женщин почти не было. Софья Перовская, Вера Фигнер, Вера Засулич принадлежат уже к следующему поколению.

Аполлинария Суслова относится к тем из шестидесятниц, которые — не по своей воле — так и не нашли места, куда можно приложить свои недюжинные силы.

Никакой гармонии в отношениях между ней и Достоевским произойти не могло, потому что характеры были одинаково сильные, а взгляды на жизнь, мироощущение совершенно различные и при этом очень дорогие каждому из двоих. Но многие годы не мог Федор Михайлович преодолеть в своей душе обаяния этой натуры — твердой и гордой, искренней до жестокости, вызывающе самостоятельной. Ни умом, ни волей, ни характером судьба Суслову не обидела, обделила только таланом — долей.

Они познакомились, когда Суслова после учения в закрытом пансионе в Москве (отец ее — видимо, от него дочь унаследовала ум и твердость — к той поре не только выкупился на волю, но и стал управляющим всеми делами своего бывшего хозяина графа Шереметьева) переехала в Петербург и вращалась в столичных студенческих кружках. Было ей двадцать три года. Она несколько раз слушала писателя на публичных чтениях, слушала «Мертвый дом». Мы уже говорили о том, как действовали на аудиторию эти выступления Достоевского. Девушка отправила ему письмо с признанием в любви. Через короткое время они стали близки.

Федора Михайловича чувство к молодой, умной и красивой девушке захватило глубоко. У Аполлинарии же угар скоро прошел. Она не перестала любить, но была разочарована. Позже Федор Михайлович с основанием упрекал ее, что она видит вокруг только святых или подлецов. Святого, мученика и борца видела издали девушка в Достоевском. А он оказался совсем не святым — страшно занятым, больным, иногда очень раздражительным человеком, приближающимся к старости. И еще Аполлинария видит, что, хотя любит он ее горячо, она все же не занимает в его жизни, в его душе того места, которое хотела бы занимать. Розанов приводит такой свой разговор с Сусловой (еще до женитьбы):

«— Почему же вы разошлись, Аполлинария Прокопьевна?

— Потому что он не хотел развестись с женой, чахоточной, «так как она умирает».

— Так ведь она умирала?

— Да. Умерла. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

— Почему разлюбила?

— Потому что он не хотел развестись. Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...»

Вероятно, Розанов и тут кое-что сочиняет — разошлись Суслова и Достоевский по другой причине,— но последняя реплика Аполлинарии Прокопьевны, действительно, характерна и для нее и вообще для морали шестидесятников, так что, возможно, упреки такого рода она и делала. Разводиться же с умиравшей женой (с которой давно уже не жил) и тем добивать ее Федор Михайлович, разумеется, не мог.

Но, в основном, ревновала Достоевского Аполлинария не к Марии Дмитриевне, а к его *делу*, к писательскому труду. Это видно из ее парижского письма: «Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать... Я могла тебе писать, что *краснела за наши прежние отношения*, но в этом не должно быть для тебя нового, ибо этого я никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу... Они для тебя были приличны. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Ты не должен сердиться, что я выражаюсь легко, я ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов».

Суслова была требовательным в любви человеком и имела право им быть. Но любой женщине, как бы страстно ни любил ее Федор Михайлович, бесполезно было требовать, чтобы он надолго забыл о своем призвании, отодвинул его на второй план.

У Аполлинарии же кроме любви мало что было в жизни. Пописывала она, правда, повести и рассказы (немного), Федор Михайлович печатал их в своих журналах, но, надо полагать, не восхищался ими. Во всяком случае, брату писал так: «На днях вышлю повесть Аполлинарии. Повесть не хуже ее прежних и может идти».

Произведения Сусловой, действительно, очень слабы. Не то, что у нее совсем не было литературного таланта — дневник ее, писанный для себя, при всей его сухости весьма выразителен,— но, обращаясь к публике, она оперировала преимущественно дешевыми штампами: «благородное, целомудренное чело», «чуткий организм», «едкое разрушающее

страдание ее сердца переходило в тихую меланхолию», «я истощила себя в ежедневной борьбе с людьми и обстоятельствами» — литературной штудии ей все же не хватало.

Готовили исподволь расхождение и идейные споры — — четкой общественной программы у молодой шестидесятницы не было, но уж за женскую эмансипацию она стояла горой и с разочарованием и негодованием обнаружила, что любимый ею человек является столь же яростным противником женской свободы (позже именно такие, как сестра Аполлинарии Надежда, убедили писателя, что подавляющее большинство русских девушек ищет не свободы часто менять любовников, а свободы учиться и работать для народа; им он посвятил немало взволнованных строк).

Но если и намечался период, когда Достоевский готов был ради любви забыть обо всем остальном, то это именно лето 1863 года, пора запрещения «Времени». Суслова уже несколько месяцев жила в Париже, разлука становилась для Федора Михайловича невыносимой, письма получал он из Франции теплые, без ершистости; пожалуй, при желании их можно было найти даже ласковыми...

Он приехал в Париж рано утром и, оставив в отеле багаж, помчался к ней. Аполлинария открыла дверь на стук, и удивление на ее лице тут же сменилось смущением. Она как-то неловко пропустила его в комнату, но овладела собой и сказала уже привычным Федору Михайловичу ровным и холодным голосом:

— Здравствуй. Я думала — ты не придешь.

— Почему?

— Я отправила тебе письмо. Я же знала, где ты остановишься.

— Какое письмо?

— Чтобы ты не приезжал.

— Отчего?

— Оттого, что поздно.

Он помолчал, собираясь с мыслями, произнес чуть охрипшим голосом:

— Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь, ты расскажешь. Иначе я умру.

— Хорошо. Поедем к тебе.

Экипаж несся по широким улицам, наполнявшимся теплом позднего лета и людьми. Федор Михайлович молчал всю дорогу, лишь время от времени торопил кучера. Но как только сели в карету, он тут же схватил руку Поли и боль-

ше уже не выпускал ее. Его била нервная дрожь, и Поля сказала ему:

— Успокойся, ведь я с тобой.

В его номере на столе лежало это письмо:

«Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку — все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце,— я отдала его в неделю по первому призыву без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый!»

Он оторвался от письма и почти криком начал фразу: «Боже мой, что это такое»,— но вдруг осекся, впервые разглядев ее лицо — это было лицо бесконечно измученного ребенка. Какого напряжения стоил, наверно, Поле этот спокойный ледяной тон!

— Ты счастлива?

— Нет.

— Как же — любишь и не счастлива?

Он меня не любит.

— Ты отдалась ему совершенно?

— Не спрашивай, это нехорошо,— безжизненно ответила она, покачав головой.

— Кто он — русский, француз? Красавец, молод, говорун?..

— Я очень люблю этого человека.

Ее морозило, хотя день выдался теплый, но она сидела спокойно, обстоятельно рассказывала — и вроде не о себе, как будто смотрит на себя со стороны, даже с усмешкой — о том, как ходила исповедоваться к знаменитому католическому патеру, оказавшемуся грубияном и дураком, потом решила покончить с собой, потом передумала — надо сначала убить его, затем стала строить планы цареубийства, наконец, решила — все это бред: «Ведь дожить до восьмидесяти лет где-нибудь на берегу теплого моря тоже довольно недурно, да?» Она улыбалась, но глаза ее оставались непривычными, невиданными — детскими, страдающими, беззащитными. Только о любовнике своем она ничего не рассказала в этот день.

...Но позже поведала и о нем. История вышла простая и вроде бы специально для того, чтобы подтвердить филип-

пики Достоевского против европейской, французской лощенности, «формы» — изящной, пустой, бесчеловечной. Молодая шестидесятница, как и другие ее сверстницы, превыше всего ставившая в человеке разум, идею, гуманность, внезапно до помрачения ума влюбилась в человека, собственно, даже не понимавшего, что это такое—«идея», «гуманность», влюбилась только из-за этой европейской лощеной «формы». Хуже того — скоро поняла, что ее любимый и жесток, и пуст, и низок... и ничего не могла с собой поделать, вымаливала — при своей-то гордости — крохи любви.

Звали его Сальвадором, в Париже он учился медицине. Происходил откуда-то из Вест-Индии, в его жилах текла кровь французских аристократов-колонизаторов, поколения его предков хладнокровно засекали насмерть черных рабов, превращали на своих плантациях мускулы негров в звонкое золото. Аполлинария и называла его Плантатором. Жизненным предназначением Сальвадора было извлечение из действительности как можно большего количества удовольствий. Их давали комфорт, тонкая еда, хорошее вино, хорошенькие женщины...

Разумеется, глубокое чувство Аполлинарии ему надоело в неделю и даже испугало. Проворчав что-то насчет дикарства славянской души, он перестал приходить к любовнице, не отвечал на ее записки, прятался от нее.

В один прекрасный день к Сусловой пришел приятель Плантатора, тоже студент, и сообщил: Сальвадор тяжело, может, даже смертельно, болен тифом, его увезли в больницу, видеть его нельзя. Аполлинария рыдала, металась, а вечером того же дня случайно встретила Сальвадора на улице, здорового, веселого, смеющегося.

И потом она долго продолжала любить его. Уже полтора года спустя она бродит возле квартир, где он живет, чтобы хоть мельком взглянуть на него, ревнует к женщинам, с которыми его встречает, старается их разглядеть, идет за ними.

После одной из таких «встреч издали» Аполлинария записывает в дневнике: «Он, кажется, похорошел. Верхняя губа его покрылась желтым пухом, и это придает мужественный отпечаток его оригинальному, энергичному лицу. Как хорошо это лицо! Есть в нем какая-то юношеская мощь, сама себя не сознающая».

...Федор Михайлович как мог успокаивал молодую жен-

щину. Звал поехать с ним в Италию, как они планировали раньше, обещал быть братом.

В конце концов Суслова согласилась.

Поездка, действительно, помогла ей понемногу преодолеть кризис. Можно было бы сказать словами из ее повести: «едкое разрушающее страдание ее сердца переходило в тихую меланхолию», но холодное спокойствие, так свойственное отныне Сусловой, не очень похоже на тихую меланхолию. Холод ее — от пустоты в сердце, а спокойствие — от гордости, характера, воли.

Ей нравится ласковое осеннее солнце юга. С равнодушным любопытством осматривает она памятники старины — искусство ее интересует мало. Немного одушевляется она, услышав русскую речь, напоминающую ей о родине, о родной деревне: «На корабле есть матрос, говорящий по-русски... водил меня по кораблю, когда это было мне нужно, и при этом говорил мне «ты», что мне очень понравилось (это напоминает русского мужика, который не употребляет «вы»), да ведь он и учился у мужиков».

На корабле в Средиземном море встретились с Герценом. Александр Иванович и Федор Михайлович обрадовались друг другу. Аполлинарию Достоевский представил неопределенно — как родственницу, но долго расхваливал, и Герцен стал к ней очень внимателен. Суслова с большим интересом наблюдала за этим толстым, оживленным, насмешливым человеком — за шутливостью его чувствовалась твердость, уверенность в себе, в избранном пути. И удивило молодую женщину, что сын *такого* Герцена — «какой-то отчаявшийся юноша». «Я, говоря о моих заграничных впечатлениях, сказала, что везде нахожу более или менее гадость, а он доказывал, что не более или менее, а везде одинаково гадко».

Плыли вместе недолго. В Неаполе Достоевский проводил Александра Ивановича в гостиницу. Накануне они с Аполлинарией поспорили и поссорились — конечно, опять из-за женской эмансипации,— теперь встреча с великим изгнанником их помирила.

Вообще же путешествовалось Федору Михайловичу в этот раз неважно. Все осматривал он точно по обязанности, будто урок учил. Нелегко оказалось быть «братом» любимой женщины во время совместного пути.

«Умри, но не давай поцелуя без любви»,— учил Чернышевский в «Что делать?», и это было девизом шестидесят-

ниц, их мерилом женского достоинства. Повторяю, они не были синими чулками, вероятно, часто принимали за любовь мимолетное увлечение, но отдаться тому, кого не любишь, считалось каждой из них страшным, непрощаемым преступлением, нравственным самоубийством.

Аполлинария Достоевского уже не любила. Любила Сальвадора. Она записывает в дневнике о своем спутнике: «Мне его жаль, жаль отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать — не могу».

О конце одного их разговора там же сказано: «Ф. М. опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели), «ибо россияне никогда не отступали».

Шутка вышла плоской — не шутилось Федору Михайловичу.

Со злости и тоски он много играл, проигрывался, часто сидели без денег, закладывали вещи, ждали переводов из России. Михаил Михайлович, высылая деньги, досадливо писал, что не понимает, как можно играть, путешествуя с любимой женщиной.

Михаил Михайлович был германист, отличный переводчик с немецкого, конечно, он знал наизусть очень популярные тогда слова Гейне: «Она была мила, и он любил ее, но он не был мил, и она не любила его»,— но не знал, что брат испытывает сейчас значение этой формулы на собственном сердце.

Сначала-то он выиграл, однако вышла из этого одна скверность.

Часть выигрыша он оставил, часть же послал сестре Марье Дмитриевны В. Д. Констант, которую искренне уважал и ценил, для передачи Исаевой во Владимир (трудно сказать, знала ли Мария Дмитриевна подробности путешествия мужа, может быть, и знала, во всяком случае, писем она ему за границу не отправляла). С пунктуальностью бедняка высчитывая разницу курсов, Достоевский пишет Констант, что посылает 30 дублонов — «это все равно, что 60 империалов будет — по размене на кредитные билеты несколько более 300 рублей. Да может быть, еще можно будет взять капельку на промене».

Но уже через неделю проигравшийся в пух Федор Михайлович просит Констант выслать ему обратно из этой суммы 100 рублей. «Если же вы послали уже ей все деньги,

то я ей пишу, чтоб она выслала на Ваше имя, а Вы с получением доставьте брату, а уж он мне вышлет». Федор Михайлович страшно казнился, и есть за что: «Хоть я ей и выдал до октября денег достаточно, но я Вам рассказывал, возвратясь из Владимира, что она лечится и что в случае излечения ей надо дать доктору по крайней мере 100 р. Она говорила мне, что 100 р. для нее страшно много и что она не может. И вот теперь, получив мое письмо, она, может быть, и решилась дать эти 100 р., надеясь на мои деньги». Поэтому он просит Констант (если у Вас будут лишние деньги до моего приезда») послать Марье Дмитриевне хоть 75 рублей.

И очень боится, чтобы об его игрецких подвигах не узнал пасынок Паша Исаев, которого строгий отчим постоянно и довольно нудно упрекает в легкомысленности.

...Невесело возвращение, холодно прощание. Суслова остается в Париже, Достоевский едет в Россию, где надо на развалинах «Времени» строить новый журнал.

Близость между ними уже больше не возникала никогда. И все-таки странная любовь-ненависть продолжается, еще несколько лет они не могут окончательно расстаться. Конечно, любовь к Аполлинарии глубоко личное чувство Достоевского, но разве случайно оно так перекликается с общим его отношением к шестидесятникам, которыми он восхищался, на которых негодовал?

Здесь эпоха прямо преломилась в сердце.

Суслова и Достоевский встречались еще не раз, и путешествовали вместе, и в Висбадене голодные сидели, и выручала она его не единожды. В глазах окружающих они одной веревочкой связаны. Предприимчивый Утин рекомендует Аполлинарии выйти за Достоевского замуж, чтобы прибрать к рукам второй его журнал, превратить «Эпоху» в орган радикалов его, утинского, толка.

— Ну, что я за Ифигения,— отвечает она.

И вместе с тем она записывает в дневнике: «Я начинаю ненавидеть Достоевского». А Федор Михайлович отвечает Надежде Сусловой, упрекавшей его со слов сестры, большим письмом:

«Вы видели меня в самые искренние мои мгновения, а потому сами можете судить: люблю ли я питаться чужими страданиями, груб ли я (внутренне), жесток ли я?

Аполлинария — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении

других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрестанно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: «Ты немножко опоздал приехать»,— т. е., что она полюбила другого, тогда, как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строчки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: «ты немножко опоздал приехать».

...Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит *такой* любви.

Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастье. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя ото всех обязанностей, тот никогда не найдет себе счастья».

Все это, конечно, искренне, но после смерти Марии Дмитриевны Достоевский предлагает Аполлинарии «руку и сердце», чем только злит ее.

Их жизни не могли слиться, точно так же, как не мог сам Федор Михайлович стать шестидесятником.

Но оставила эта женщина в сердце художника след на всю жизнь, и пусть преувеличен приведенный в начале главы список героинь и произведений, однако то, что характер этой шестидесятницы отразился в творчестве Достоевского ярко, широко и властно, не подлежит сомнению.

Грустью за судьбу женщины, которую он так любил, и вместе с тем уважением к этой трудной судьбе проникнуто последнее, прощальное, письмо Достоевского к Аполлинарии Прокопьевне, написанное уже в 1867 году:

«...Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоем сердце, но судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой.

О милая, я не к *дешевому необходимому* счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или же тотчас же подлецами и пошляками...

До свидания, друг вечный».

ЧОКАН ДАЛЕКО ОТ СТОЛИЦЫ

Он уезжает из Петербурга ненадолго. Родная степь быстро вылечит его грудь, и он вернется. Этот город на Неве, этот главный нерв России необходим ему. Отсюда он будет отправляться в свои дальние дороги к сердцу Азии. Он снова будет в столице в октябре.

Но приходит октябрь, а ему все плохо. Поездка откладывается до декабря. Однако вот и декабрь, а он по-прежнему слаб. Да, о столице пока нельзя и думать. Но ведь есть же поле деятельности здесь, на востоке!

В январе шестьдесят второго Чокан пишет с кокчетавских зимовок на берега Невы: «Теперь пришел и сам к тому заключению, что с моим здоровьем в Петербурге жить постоянно нельзя. Поэтому я хочу получить место консула в Кашгаре, а в противном случае выйти в отставку и служить у себя в Орде по выборам. В Кашгаре я бы стал получать хорошее содержание, климат хороший, может быть, здоровье мое поправилось бы. Если это не удастся, и в степи будет недурно. Буду заниматься хозяйством, торговлей, а в случае выбора народа буду честным чиновником и, вероятно, принесу своим родичам более пользы, чем их безграмотные и дикие султаны. Через год или два мы станем ездить в Петербург, проведем с добрыми друзьями несколько приятных месяцев, запасемся новыми книгами, новыми идеями и опять в Орду... Ведь это будет не совсем дурно, не правда ли, голубчик Федя?»

Он еще полон столичных интересов, он передает приветы братьям Федора Михайловича, Майкову, Полонскому, Страхову, свидетельствует глубокое уважение Марии Дмитриевне, говорит, что Николаю Курочкину напишет особо. Он просит высылать ему «Время» и подписать на «Современник».

Но месяцы идут, идет жизнь, и совсем не так, как ей полагалась идти по его планам. В Кашгар назначен другой. А выборы... В октябре он посылает «голубчику Феде» новое письмо, где подробно рассказывает об «Атбасарском выборе». Как далеко это письмо по тону от первого! Чокан говорит: «Я... чувствую себя очень плохо, как физически, так и нравственно». Он начинает с жалоб на «несообразности», «которые видеть должен каждый час, каждую минуту. Впечатление от всего этого делается тем более невыносимым, что не видишь надежды, вернее, луча надежды когда-

нибудь освободиться от гнета окружающей пустоты». И кончает криком отчаянья: «Хоть в пустыню удаляйся».

Суть «Атбасарского выбора» в следующем. Валиханов выдвигает свою кандидатуру в старшие султаны Атбасарского округа, «чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель. Они увидели бы, что человек истинно образованный — не то что русский чиновник, по действиям которого они составили свое мнение о русском воспитании». Чокан уверен в успехе — он тюре, чингизид, офицер, а его противник совсем незнатного происхождения. Для самого Валиханова это не имеет ровно никакого значения, но он знает, что это значит для выборщиков. Противник его — человек недостойный. Мало того, что он неграмотен, он еще и порядочный плут и несколько раз сидел за плутовство в тюрьме...

Правда, из русских властей Чокана поддерживает один старый друг Гутковский, исправляющий временно обязанности губернатора области Сибирских киргизов. Остальные чиновники против него и очень понятно почему: они знают, что этот степной аристократ со столичными связями положит конец поборам со своих земляков, во всяком случае, в своем округе, а ведь ради безгрешных доходов и служат г-да чиновники, ради них оставил родной Мюнхен самый яростный из приказной братии — Густав Кури...

Против кандидатуры Чокана ведется отчаянная агитация («пустили в ход и то, что я не верю в бога и с Магометом состою в личной вражде»). Не помогает — за Валиханова голосуют 25 выборщиков, за его соперника — лишь 14.

Но выборы еще должны быть утверждены в Омске. Положив деньги за пазуху, противник Чокана отправляется в столицу генерал-губернаторства. «Я хоть много читал обличительных статей, но на этот раз думал — постыдятся подлецы, ведь я не просто кто-нибудь. Гордость обуяла».

Генерал-губернатор не утвердил результатов выборов. И не потому, конечно, что сам получил взятку,— она рассосалась между мелкой сошкой. Дело в том, что царские власти отлично понимали: «люди истинно образованные» в качестве руководителей Степи им не то что не нужны — просто опасны.

Чокан еще не сдается: «Я уже написал к некоторым властям в Петербург, а ты дай этому побольше гласности, расскажи всем нашим друзьям, пусть разойдется по городу».

Федор Михайлович выполняет просьбу друга, «Атбасарский выбор» делается достоянием гласности, возникает шум, назначается расследование. И снова Валиханов поражен цинизмом властей: виновным в несправедливости объявляют его верного друга Гутковского и заставляют его подать в отставку. Гутковский едет в столицу искать правды (он, разумеется, так и не нашел ее), и с ним Чокан 20 мая 1863 года отправляет свое последнее послание Достоевскому:

«Давно не имею от тебя никаких известий, любезный Федор Михайлович. Жив ли ты? Впрочем, если бы ты умер, то написали бы о том в газетах. Поэтому надо полагать, что ты жив, но забыл нас, живущих и вопиющих в пустыне киргизской. Что со мной и как я живу, узнаешь подробно от Карла Казимировича Гутковского, моего друга, который едет в Петербург по делу, касающемуся отчасти и меня, надеюсь, что и ты и Мария Дмитриевна примете его хорошо и познакомитесь с его семейством. У них в Петербурге нет никакого знакомства. Гутковские люди очень добрые и без всяких провинциальных предрассудков, которые так шокируют вас, петербуржцев. Я буду в Петербурге с первой зимней дорогой».

Ни с первой, ни со второй, ни с последней. Болезнь не оставляет его. «Я разлагаюсь!» — в бешенстве кричит он. Но разве в одной болезни дело?

Родные не понимают его. Отец ворчит, что больше ни одного сына не пошлет в русскую школу — там они становятся чужими и непослушными. Мать жалеет о молоке, которым его выкормила. Родичи смеются над ним: слабодушествует и занимается глупостями — записывает сказки. Только с простыми казахами, со степным пролетариатом и можно отвести душу.

Он едет в Омск. Там многое переменилось. О Гасфорте и не вспоминают. Новый генерал-губернатор Александр Осипович Дюгамель холодно вежлив с ним. Нет, он ценит его, по-своему ценит. Старый приятель Лещев, чиновник из Главного управления Западной Сибирью, показывает Чокану бумагу, подписанную генерал-губернатором, где он, Валиханов, назван «весьма ловким и развитым азиатцем».

«Весьма ловкий азиатец». Чокан стискивает зубы. О аллах, может быть, ничего этого и не было — ни Кашгара, ни Петербурга, ни обольстительно улыбающихся сановников, ни восторженного шепота в гостиных, ни барабанного боя га-

зет? Может быть, все это был сон, сон, которому нельзя верить?

Первого мая шестьдесят четвертого из укрепления Верного в глубь Средней Азии выходит большой отряд полковника Черняева. С отрядом едут ученые, литераторы. Острят, что похоже на египетскую экспедицию Наполеона — как известно, с будущим императором тогда отправились в страну пирамид знаменитые географы, археологи, астрономы. И чем черт не шутит, может, молодой с непроницаемым лицом полковник и в самом деле Наполеон — ну, хоть немножко?

Едет с Черняевым и Чокан. Зачем — он же так болен? «Еду за чином»,— смеясь, говорит он.

На самом деле чин тут ни при чем, да и не нужен он Чокану. Он просто не имеет права остаться в стороне. Он знает, что присоединение всех казахских земель к России — дело неизбежное и закономерное. Но, возможно, и от него — пусть лишь в малой мере — зависит то, как пройдет присоединение — мирным путем или под гром пушек. И он не в праве остаться в стороне.

В Мерке в результате длительных и нелегких переговоров Валиханову удается примирить враждовавшие казахские и киргизские роды. Нет, не зря отправился он в этот долгий и трудный путь!

Но отряд идет дальше. Вот перед ним Аулие-Ата. Жители города не верят, что русские нападут на город. Но полковник с непроницаемым лицом Наполеона быстро убедился, что западная сторона крепости укреплена плохо, а артиллерийское вооружение крепости весьма слабо. Под проливным дождем русские отряды переправляются через реку Талас с восьмью орудиями и в упор расстреливают крепостные ворота. Затем казаки и солдаты врываются в город, рубят, колют и режут всех, кто оказался на их пути... С наполеоновским лаконизмом докладывает полковник командиру Сибирского отдельного корпуса: «Потери неприятеля в настоящее время еще не известны. Вчерашнего числа погребено жителями по моему распоряжению 307 тел. У нас во всем отряде легко ранено 3 человека, контужен один офицер и один рядовой».

Мы не знаем точно, что именно сказал полковнику Черняеву штаб-ротмистр Валиханов, после того как вернулся из города, заваленного трупами. Знаем только, что назавтра штаб-ротмистр покинул черняевский лагерь. Покинул не один — с ним ушел его младший брат, ушли русские офи-

церы, до глубины души возмущенные бонапартовскими подвигами Черняева,— капитан Васильев, штабс-капитан Семенов, подпоручики Бессонов и Грязнов. Ушел художник Знаменский.

...Он поселился недалеко от китайской границы в ауле султана Тезека, управлявшего родом Албан. Он женился на сестре Тезека Айсаре и зиму продержался благодаря заботам молодой жены. Помогал советами шурину, разъяснял приезжавшим в аул Тезека, как противиться произволу чиновников и их ставленников. Но с весны, как начали таять ледяные мосты над течением бесконечно ворочающих камни горных потоков, смерть стала нагонять его.

Он лежал в юрте, завернувшись в лисью шубу. Все уходило от него. Мечта превращалась в сказку, которой никогда не стать былью. Вымыслом становились берега озера Куку-нор — юношеская еще его мечта. Вымыслом становились высочайшие плоскогорья Тибета. Развалины Каракорума. Могила князя Ярослава в Монголии. Ставка тюркского кагана, к которому ездил Земарх послом от византийского императора Юстиниана. Он не мог теперь даже представить этих мест, где так хотел и не успел побывать,— слабость сковывала и воображение.

Пора прощаться. Помнят ли его петербургские друзья, голубчик Федя?..

Достоевский помнил. Он не забывал Чокана всю жизнь. И в самом главном для него разговоре, когда он попросил девушку, которую полюбил, стать его женой, он вспомнил своего «сибирского друга Валиханова». Никаких других имен в этом разговоре названо не было.

...Чокан умирал. А на него шли доносы. Туркестанский генерал-губернатор сообщал военному министру: «Со времени прибытия во вверенный управлению моему край я неоднократно получал неодобрительные от местных властей отзывы о штаб-ротмистре Валиханове, распространившем вредные для спокойствия края слухи».

В высших сферах обсуждается проект высылки опасного штаб-ротмистра на родину. Однако и этот проект признается неудобным «потому, что почет и уважение, которыми пользуется род Валихановых между киргизами Сибирской степи, может породить также весьма вредные для спокойствия их последствия». Так докладывает военному министру начальник Главного штаба, где всего четыре года назад служил Чокан.

Военный министр либерал Милютин мечтательно замечает на полях доклада: «Переместить бы его на жительство куда-нибудь подальше от степи киргизской». Затем эта мысль конкретизируется в резолюции: «Перевести в один из кавалерийских полков по выбору самого штаб-ротмистра Валиханова. Генерал-лейтенант Хрущев (сменивший Дюгамеля генерал-губернатор Западной Сибири.— *П. К.*) мог бы нынче же прислать его сюда курьером».

Чокана хотели оторвать от родной земли. Не успели. Резолюция Милютина помечена 8 апреля 1865 года, а 10 апреля за тысячи верст от Петербурга умер штаб-ротмистр и действительный член Русского географического общества Чокан Чингисович Валиханов.

Трудно живется людям, опередившим время. Но, не будь таких людей, ни один народ не смог бы идти вперед.

КАТАСТРОФА

Судьба второго журнала Достоевского, «Эпохи», оказалась короткой и печальной. Он и появился-то на свет трудно.

Как уже говорилось, первоначально братья не теряли надежды, что «Время», может быть, только приостановлено на какой-нибудь срок. Но надежды не оправдались, журнал закрыли навсегда, не взирая на покаяния. Однако громогласное заявление «Русского вестника», что почвенники, конечно, сумасброды и интеллигентишки, но особой опасности для престол-отечества не представляют и потому смертной казни не заслуживают, все же сыграло известную роль, и Михаил Михайлович получил разрешение выпускать новое издание.

Негласно ему поставили строжайшее условие, которое, если отбросить орнаментальные украшения выглядело так: ежели хотите жить — ни малейшего признака вольномыслия.

Однако, несмотря и на условие и на своего рода поручительство московских реакционеров, правительство Достоевским все-таки не доверяло. Когда знакомишься с недолгой историей «Эпохи», то трудно отделаться от мысли, что многие из бесконечной цепи преград, встававших перед журналом, так сказать, искусственного происхождения, что цензура намеренно не давала журналу выходить нормально.

Братьям журнал был необходим по двум причинам. Федору Михайловичу, прежде всего, потому, что он не мог и не хотел отказаться от принятой на себя миссии идеолога, вождя определенной общественной группировки, организатора общественного мнения (хотя он и убедился, что эта миссия далеко не так проста и легка, как это казалось три года назад). Михаилу Михайловичу, в первую очередь, оттого, что без хорошо идущего нового издания он разорялся вконец. Хотя «Время» имело большой успех, третий год его выпуска едва-едва начал покрывать первоначальные затраты. Теперь же ему приходилось рассчитываться с подписчиками за восемь невышедших номеров.

Пусть мотивы у братьев разные, но в мысли о необходимости своего печатного органа они солидарны и даже говорят почти одними словами. Младший пишет из Европы: «Если не «Время», так другое что можно издавать. Иначе пропадем». Старший вторит из Петербурга: «Во всяком случае я должен иметь журнал, иначе я погибну. У меня долги, и я сгнию в долговом отделении. А мое семейство...» (В этом же письме Михаил Михайлович ругает брата за легкомыслие: тот, встретившись на европейских «минералах» с Тургеневым не взял у него рукописи новой вещи — «Призраков»: «Знаешь ли ты, что значит теперь для нас Тургенев?.. Начать повестью Тургенева — ведь это успех». Характерно для Федора Михайловича: как нужно новому журналу произведение самого популярного у читающей публики русского писателя, он, разумеется, понимал отлично. Он даже и взял у Ивана Сергеевича повесть, однако так увлекся игрой, что вернул ее не прочитавши).

Бывшие сотрудники «Времени» решили наречь новый орган «Правдой». Достоевский от такого названия в восторге: «По-моему оно превосходно... Это прямо в точку... Главное, в нем есть некоторая *наивность, вера,* которая именно как раз к духу и к направлению нашему... в объявлении о журнале, на 1-й строке, в начале фразы напечатать что-нибудь вроде «время требует правды», «вызывает на свет правду» и т. д., так, чтоб ясно было, что это намек, что «Время» и «Правда» одно и то же».

Но цензура, протянув долгий срок, этого названия не разрешила. Новорожденному изданию пришлось дать имя «Эпоха». Но и оно было разрешено лишь тогда, когда подписка на толстые журналы уже заканчивалась. Была она в том году и вообще-то мизерной — победа реакции уничто-

жила веру в спасительность гласности — и «Эпоха» собрала едва четверть подписчиков «Времени».

С такой подпиской журнал не окупал себя и наполовину. Пришлось лезть в новые долги с единственным расчетом на будущий успех. «Надо так сделать, чтоб «Эпоха» в продолжении года взяла решительное первенство между толстыми» (журналами), писал Федор Михайлович брату. Однако непонятно было *как* это сделать.

Тургеневские «Призраки», попавшие в конце концов в «Эпоху», оказались далекими от проблем, волновавших читателя, и шума не произвели. Другие крупные писатели, сотрудничества которых упорно добивались братья, отвечали вежливыми отказами, и беллетристический раздел журнала заполнялся преимущественно не вызывавшими большого интереса переводными романами. Печатали для привлечения публики подробнейшие отчеты о знаменитых уголовных (западноевропейских) процессах прошлого, но и это мало помогало. Номера страшно запаздывали, цензура их постоянно задерживала. Так, первая, объединенная январско-февральская книжка получила цензурное разрешение 24 марта 1864 года, мартовская — 23 апреля, майская — 7 июля, июньская — 20 августа, июльская — 19 сентября, августовская — 22 октября и т. д.

Первые месяцы Федор Михайлович не мог непосредственно руководить журналом — он жил в Москве, куда, к столичным врачам, перевез из Владимира Марию Дмитриевну — ей становилось все хуже и хуже. Он бесился в письмах в Петербург: в журнале нет программных статей, оформлены книжки ужасно, бумага плохая, масса опечаток и проч.

Все это было так. Но теперь нам ясно то, что не сразу тогда понял Федор Михайлович: все, о чем говорилось выше, не столько причины быстрого падения «Эпохи», сколько его симптомы. Сам Достоевский еще цеплялся за иллюзии, о возможности «третьего пути». Он проектировал дать в первом номере статью с параллельным разбором программных литературных документов двух борющихся лагерей: романа Чернышевского «Что делать?» и «Взбаламученного моря» Писемского — первого по времени появления «антинигилистического» романа: «Разбор... произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи, и обеим по носу. Значит, правда». Но мало кто теперь разделял эти иллюзии — и среди читателей и среди самих

сотрудников «Эпохи». Шестидесятые годы вступили в свою вторую половину. Точки над «и» были поставлены, общественные лагери четко размежеваны. Соратник Чернышевского, революционный демократ, автор появившейся в те месяцы повести с характерным названием «Трудное время» Василий Слепцов писал в «Современнике»: «Русский прогресс, отличавшийся, как известно, особенным ожесточением в первые годы, стал несколько ослабевать к концу 63 года; следующий затем год представляет новый фазис развития общественности; русский прогресс с новой силой, но уже в измененном виде, снова водворяется в нашем отечестве».

Федору Михайловичу так больно было расставаться с мечтой о «третьем пути», с убеждением в полной своей идейной независимости, что он много раз печатно повторял, что он все тот же и журнал его все тех же мнений. Страхов смотрел на вещи трезвее и открыто кадил Каткову, Достоевский же вопреки фактам упрямо считал себя журналистом оппозиционным. Многие мнения его по вопросам внешней и внутренней политики, действительно, противоречили правительственному курсу*, но беда заключалась в том, что его журнал этого никак не отражал.

«Эпоха» стала органом этого «прогресса в измененном виде», подголоском «Русского вестника».

Но читатели, которым нравилась позиция Катковского издания, естественно, предпочитали слушать сам его трубный глас, а не робкий и неуверенный подголосок.

1864—1865 годы — пора двух знаменитых журнальных полемик: между «Современником» и «Русским словом» (ее

---

* Функционер подпольной «Земли и воли» Л. Ф. Пантелеев работал в типографии Тиблена — одной из трех, печатавших «Эпоху», — и часто встречался там с Федором Михайловичем, с которым он, один из вожаков петербургских студентов, был знаком и раньше. По его словам, «редкая встреча обходилась без разговора о текущих общественных делах». Один из таких разговоров Пантелеев воспроизводит в своих воспоминаниях следующим образом.

«Тогда под влиянием патриотического возбуждения, вызванного 1863 г., нередко можно было слышать рассуждения о необходимости перенесения столицы в Москву. Достоевский был горячим партизаном этой мысли. Раз как-то я спросил его: «Да что же Россия выиграла бы от подобного перенесения правительственного центра?» — «А то, — с живостью отвечал Фед. Мих., — что сегодня в Москве столица, завтра это будет город с двумя миллионами населения, и тогда долго ли бы удержался теперешний порядок вещей?»

«Теперешний порядок вещей» писателя совсем не устраивал, но планы его изменения порой даже удивляют своей утопичностью.

Достоевский назвал «расколом в нигилистах») и между «Современником» и «Эпохой». В первой «Современник» потерпел поражение от писаревского журнала, во второй наголову разгромил орган Достоевского, окончательно подготовив его гибель.

Это оказалось не слишком уж трудным делом, «Современнику» потребовалось лишь сорвать с «Эпохи» фиговый лист «независимости» и «самостоятельности, а он и так-то был предельно куцым.

Полемику начал Салтыков-Щедрин, но его быстро оттеснил Антонович, выступавший под псевдонимом «Посторонний сатирик». В те годы Щедрину в «Современнике», несмотря на полную поддержку Некрасова, было вообще нелегко, он отчаянно ругался по поводу засилия «консистории» — четверо других членов редакции: Антонович, Елисеев, Пыпин, Жуковский — были духовного происхождения — и в конце концов вынужден был уйти из журнала.

Для дальнейшей биографии «консисторской» четверки характерно, что все они в той или иной степени поправели. Ушли они направо на различные дистанции — Жуковский, например, стал председателем царского Государственного банка, а вот Елисеев помогал Некрасову выпускать «Отечественные записки», но и Елисеев к концу жизни превратился в заурядного либерала народнического толка. Это так же характерно, как и то, что почти все руководители спорившего с ними «Русского слова» — Писарев, Зайцев, Шелгунов, Соколов — до конца своих дней оставались революционерами.

«Консистория» болела догматизмом. Даже запятые в трудах Чернышевского и Добролюбова казались им священными, творческое развитие положений великих вождей революционной демократии выглядело в их глазах отступничеством, даже изменой. Но время шло, менялось, тактика, верная в 1861 году, становилась устаревшей в 1864-м. «Консистория» клялась именем Чернышевского, но незаметно отдалялась от него все дальше и дальше.

Однако во второй половине шестидесятых годов Антонович еще сохранял достаточно революционного пыла.

Не будем преувеличивать заслуг этого бесспорно недюжинного, но чересчур прямолинейного и вдобавок болезненно самолюбивого человека (об этом его качестве говорит и его дочь в своих в общем-то панегирических воспоминаниях о нем). Вот называем его «выдающимся критиком», а главный

его критический подвиг — «разнос» в двух огромных статьях двух великих произведений русской литературы — «Отцов и детей» и «Братьев Карамазовых». Но полемика с «Эпохой» безусловно входит в актив литературной деятельности Антоновича, хотя он и внес в нее излишнюю грубость и мелочность (не нужно думать, однако, что ответы Достоевского и Страхова отличались кротостью и тактичностью).

Но грубость грубостью, а главное «Современник» доказал: никакой самостоятельностью «Эпоха» не обладает, а повторяет зады реакционной журналистики *.

«Современник» назвал почвенников «стрижами», и эта кличка стала лейтмотивом полемических выпадов журнала. Подарил ее противникам «Эпохи» тот же Берг, засыпавший своими унылыми стихами и второй журнал Достоевского (в промежуток между «Временем» и «Эпохой» он корреспондировал в ряд реакционных газет с «театра военных действий» в Польше, чем окончательно скомпрометировал свое литературное имя). В его злополучном стихотворении речь шла, собственно, о других птицах — водоплавающих, но суть была не в этом, а в том, что сии «бедные птицы», «смирные птицы» жаждали исключительно тишины и спокойствия:

В камышах повьем мы, птицы, гнезды,
В камышах, в туманах непроглядных,
Будем, птицы, плавать по затишьям,
По затишьям, по озерам тихим...

Полемисты «Современника» перекрестили берговских «лебедей» и «утиц» в «стрижей» — и кличка приклеилась. Главное, что она выражала,— это боязнь революции, которая пронизывала содержание большинства материалов журнала Достоевских.

«Эпоха» защищалась отчаянно, но крайне неубедительно. Достоевский печатал пародийный «отрывок из романа», где изображалась редакция журнала «Своевременный» и сатирик Щедродаров, который сначала «свистал из хлеба», а потом, начитавшись «Эпохи», убеждался в правоте почвенни-

* То же писал об «Эпохе» и критик «Русского слова» Зайцев: «После испытанного крушения эти господа, видимо, исправились и стали стараться писать толково и удобопонятно, дабы никогда не вводить в заблуждение, и хотя от дурной привычки философствовать не отстали, но зато пылкостью чувств наверстывают». «Русское слово» не вело с журналом Достоевского длительной полемики, но его стремительные штурмовые налеты сыграли свою роль в разоблачении подлинной идейной позиции «Эпохи».

ков и с их позиций громил бывших товарищей по редакции. Выходило слишком фантастично даже для фельетона: хорошо было известно, что «Щедродаров» своих позиций не менял,— чтобы удостовериться в этом, достаточно было заглянуть в свежий номер «Современника»,— и что статьи «Эпохи» никого убедить не могут.

Для разоблачения реакционности журнала Достоевского «Современник» использовал и художественное произведение Федора Михайловича, появившееся в «Эпохе» — «Записки из подполья». Это был удачный тактический ход в журнальной борьбе — озлобленный и жалкий человек из подполья был сродни «стрижам» и их компрометировал. Щедрин спародировал его, создав образ «Макара Девушкина, сидящего в сатанах». Полемически выгодно было отождествить героя «Записок» с их автором, его мысли и мнения передать, как мысли и мнения самого Достоевского. К сожалению, такая точка зрения, возникшая в пылу дискуссии, надолго утвердилась в истории литературы, и лишь ряд недавних работ советских литературоведов ломает эту традицию.

У Саши Черного есть такие строки:

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,—
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бородою.

В шестидесятые годы этих строк, естественно, не знали. Впрочем, и после их появления «некоторые отдельные» критики и литературоведы смешивали автора и героя совершенно спокойно.

Конечно, «Записки из подполья» — мрачнейшее произведение Достоевского. Конечно, речи «Парадоксалиста» — это клевета на человека, разум, социализм, и в них писатель порой вносит личное, идущее от себя. Но в целом автор не героизирует подпольного человека и не сострадает ему, а судит его за эгоизм, отчужденность от человечества, за его индивидуалистический «бунт на коленях». Беспросветность «Записок» Достоевский позже преодолел.

Корректор журнала «Гражданин», который Федор Михайлович редактировал в 70-е годы, В. В. Тимофеева вспоминает:

«— Всю ночь сегодня,— сказала я,— читала ваши «Записки из подполья»... И не могу освободиться от впечатления... Какой это ужас — душа человека! Но и какая страшная правда!..

Федор Михайлович улыбнулся ясной, открытой улыбкой.

— Краевский * говорил мне тогда, что это — мой настоящий шедевр и чтобы я всегда писал в этом роде, но я с ним не согласен. Слишком уж мрачно. Это уже преодоленная точка зрения. Я *могу* написать теперь более светлое, примиряющее».

Нельзя не учитывать и обстоятельств личной жизни Федора Михайловича той поры, когда создавались «Записки»,— они ведь писались буквально у постели умирающего человека — человека, с которым так много связано в прошлом. Письма Достоевского тех месяцев—отчет о медленной агонии жены. 10 ноября 1863 года он пишет Констант: «Здоровье Марьи Дмитриевны *очень* нехорошо. Вот уже два месяца она ужасно больна. Ее залечил прежний доктор...» 30 января — ей же: «Мария Дмитриевна от болезни стала раздражительна до последней степени. Ей *несравненно* хуже, чем как было в ноябре, так что я *серьезно* опасаюсь за весну. Жаль ее мне ужасно и вообще жизнь моя здесь не красна. Но, кажется, я необходим для нее и поэтому остаюсь. У Марии Дмитриевны поминутно смерть на уме: грустит и приходит в отчаянье. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы у нее раздражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть».

Так тянется неделя за неделей. 20 марта — пасынку: «Ты, может быть, скоро осиротеешь». 26 марта — брату: «Мария Дмитриевна до того слаба, что Александр Павлович (зять Достоевского, доктор Иванов.— *П. К.*) не отвечает уже ни за один день. Далее 2-х недель она ни за что не проживет. Постараюсь кончить повесть поскорее, но сам посуди — удачное ли время для писания?.. Она может умереть нынче вечером, а между тем сегодня же утром рассчитывала, как будет летом жить на даче и как через три года переедет в Таганрог или Астрахань». 2 апреля — ему же: «Жена умирает, *буквально*. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти». 9 апреля — ему же: «Мария Дмитриевна почти при последнем издыхании».

Федор Михайлович несколько раз упоминает о том, что

* Мемуаристка путает, говорит это Аполлон Григорьев.

больная жена стала исключительно раздражительной. В книжке дочери писателя говорится, что незадолго до смерти Мария Дмитриевна призналась мужу: она была любовницей Вергунова, провела с ним ночь перед венчанием, затем Вергунов поехал за ней из Сибири в Россию, и она постоянно с ним встречалась и в Петербурге и во Владимире. Разумеется, все это дикий вымысел (причем вымысел опять-таки в духе повестей Марлинского): никуда из Сибири Вергунов не уезжал и в романтические любовники совершенно не годился. Но не исключено, что больная женщина с абсолютно растроенными нервами действительно могла сделать Федору Михайловичу такое «признание».

Утром 15 апреля Достоевский пишет Михаилу Михайловичу: «Вчера с Марией Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около нее. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась. Передает всему твоему семейству поклон с желанием долго жить. Эмилии Федоровне особенно. С тобой изъявила желание примириться. (Ты знаешь, друг мой, она всю жизнь была убеждена, что ты ее тайный враг). Ночь провела дурно. Сегодня же, сейчас Александр Павлович сказал *решительно*, что нынче — умрет. И это несомненно».

Утреннее письмо догоняет вечерняя записка: «Милый брат Миша, сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Мария Дмитриевна и всем нам приказала долго и счастливо жить (ее слова). Помяните ее добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней».

Ночь Федор Михайлович проводит у тела жены. Воспоминания о прошлом переходят в мысли о смерти и бессмертии. Назавтра утром он записал свои размышления. Эта запись начинается словами: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» Но дальше все личное уходит из строк, и мысли приобретают обобщенный, космический характер. Суть рассуждения сводится к тому, что бессмертие является конечной целью развития человечества, идеалом, к которому стремится человек. Но достижение идеала прекращает дальнейшее движение и поэтому и нежелательно и невозможно.

Как это «по-достоевски»! Федор Михайлович глубоко переживал смерть жены, этому есть свидетельства. Но и трагедия, происшедшая в его жизни, сейчас же становится для

художника-мыслителя материалом для его философски образных построений.

Письма Достоевского тех месяцев тяжело читать не только потому, что в них постоянно говорится об умирании женщины, которую он любил, перед которой почувствовал в те дни себя виноватым — и бессильным загладить вину, но и оттого, что высокая трагедия смерти перемежается в них с грубой и тяжелой драмой бедности. Даже в том письме, где Федор Михайлович сообщает брату о смерти жены, он говорит о деньгах, долгах — этого разговора отложить нельзя.

В конце шестьдесят третьего года братья получили наследство после умершего в Москве богатого дяди, Александра Алексеевича Куманина,— Михаил пять тысяч рублей, Федор три тысячи. И словно в бездонную бочку ухнули эти тысячи в журнал, ничем, в сущности, не улучшив его положения. А у Достоевского через несколько месяцев нет денег даже на покупку легких калош — в апреле он ходит в зимних.

У кровати умирающей жены Федор Михайлович обдумывает проекты займов, умоляет брата попробовать попросить десять тысяч у дядиной вдовы Александры Федоровны Куманиной: «Тебе *непременно* надобно попытаться занять у тетки, так как ты в положении критическом и губить действительно блестящее предприятие есть почти преступление!»

Грустно и больно знакомиться со сложными тактическими планами этого займа («надо... насесть на них * нравственно, чтоб перед ними ясно стояла дилемма: дать—опасно: не заплатят; не дать — убьешь человека и грех возьмешь на душу»), с призывами братьев друг к другу, хранить проекты в строгой тайне...

Хранителем секретов Федор Михайлович был неважным, и о тайных замыслах узнал доктор Иванов. Он уверил Достоевского, что тетка ничего не даст, только зря придется унижаться, и предложил братьям взять у него взаймы акции Московско-Ярославской железной дороги на сумму, в 6 000 руб., приобретенные на приданное дочерям. Акции взяли, и они тоже бесследно и бесполезно исчезли в бездонной бочке...

Выхода у Михаила Михайловича не было. В чудо он, прошедший суровую практическую школу «действительной жизни», не верил. Может быть, поэтому он и умер — быстро, словно без сопротивления, словно поднимая перед тяжелой

* Т. е. на Куманину и имевшую на нее большое влияние бабушку Достоевских — Ольгу Яковлевну Антипову.

невзгодой белый флаг. Федор Михайлович в чудеса не только верил, но и сам творил их — я имею в виду не только чудеса творческие, но и житейское умение ценой мобилизации всех духовных сил выходить победителем из самых тяжелых и сложных положений. Основываясь на опыте своей жизни, он придерживался того, тогда еретического, а ныне получившего все права гражданства, убеждения, что в человеке дремлют огромные, обычно неиспользуемые возможности, и в критический, кризисный момент их можно пробудить и бросить в бой...

Много писем Федора Михайловича говорят об умирании жены и одна короткая записка (пасынку) — о близкой кончине брата. Она написана в начале июля в Павловске, где Михаил Михайлович проводил на даче лето: «Милый Паша, пришли мне белья. Брат при смерти».

Михаил Михайлович хворал около месяца (болела печень), но чувствовал себя еще так, что работы не прекращал. Обострение болезни скрутило его в три дня.

После смерти старшего Достоевского осталось триста рублей наличными (как раз хватило на похороны), в десять раз больше долгу и семейство — Эмилия и дети, заботиться о них теперь предстояло Федору Михайловичу.

Можно было отказаться от наследства — журнала. Не получив наследства, семья приобретала право не платить долгов покойного. Литераторских заработков Достоевского хватило бы — разумеется, при самом напряженном рабочем режиме, но иного ведь Федор Михайлович все равно не знал,— чтоб довести племянников до совершеннолетия.

Достоевский взял журнал и долги.

Впоследствии он объяснял, что хотел спасти доброе имя брата. Вероятно, он об этом думал, хотя позже, натерпевшись от ростовщиков-кредиторов, так их возненавидел, что был абсолютно равнодушен, как они относятся к чьему-нибудь доброму имени. Но главное тут было в другом. Закрывая глаза на факты, он по-прежнему старался утвердить себя в том, что «Эпоха»—«блестящее предприятие» с большим будущим. Он был не в силах отказаться от журнальной трибуны, хотя ничего, кроме неприятностей и бед, эта трибуна ему не несла.

Началась его упорнейшая и совершенно безнадежная борьба за спасение журнала. Продолжалась она несколько месяцев, и об этих месяцах Достоевский говорил, что никогда еще не был в такой каторге.

Он метался по Петербургу, переписывая старые векселя и давая новые — все под чудовищные проценты. Он один работал за всю редакцию — ездил по типографиям, читал рукописи и корректуры, отвечал авторам, вел денежные дела. Только вот официальным редактором ему как бывшему государственному преступнику стать не разрешили — пришлось пригласить на эту должность старого знакомого еще с сороковых годов, сотрудника «Времени» Порецкого.

В эти дни внезапно умер Аполлон Григорьев, после самого Достоевского крупнейшая литературная сила «Эпохи».

Журнал печатает переводы и статьи каких-то третьесортных литераторов, чьи имена никому не известны.

Федор Михайлович тщетно взывает к большим писателям — Тургеневу, Островскому. Сочиняет, будто журнал процветает: «Дело идет, кажется, недурно, и средства у нас теперь есть», «после многих колебаний, постигших нас по смерти брата, журнал наш «Эпоха» поднялся опять и в издательском (т. е. экономическом) отношении стал твердо». Но, забыв об этих утверждениях в концовках тех же писем умоляет: «Если б можно было в январе поместить хоть что-нибудь Ваше, было бы великолепно... *дайте ради бога*». «Теперь для нас самое экстренное и роковое время: январскую книгу надо составить хорошо, *приметно,* а у меня ничего еще для нее не имеется... Поддержите журнал, Александр Николаевич!»

Подведя итоги подписки на 1865 год, Достоевский убедился, что проиграл. Хотя он держался до последнего и выпустил в новом году две книжки — январскую и февральскую, он уже не мог не сознавать — это агония.

Самое обидное заключалось в том, что огромными усилиями Федору Михайловичу удалось навести порядок в издании — книжки стали выходить в срок, внешний вид их теперь радовал глаз.

Но и в срок выходящая «Эпоха» своей эпохе не была нужна.

Между тем Федор Михайлович страшно сердился, когда его относили к ретроградному лагерю и упрекали в нелюбви к «молодому поколению», т. е. шестидесятникам.

«Если я и знал, что в молодом поколении есть несколько шарлатанов, прикрывающихся модными фразами и пренаивно думающих, что за модную, мундирную фразу, им простятся всякие безобразия, то обратно настолько же я и верил в

молодые и свежие силы, чтоб считать, что негодяи составляют одно только исключение».

Это из письма к Михаилу Родевичу, учителю и воспитателю пасынка, Паши Исаева.

Тут надо сказать, что отчимом Федор Михайлович оказался так себе. Пашу он по-своему любил, но занимался им очень мало. Больная Мария Дмитриевна сына последние годы почти не видела. Подросток был предоставлен сам себе, плохо учился, шалопайничал. Федор Михайлович сердито и раздраженно его отчитывал, толку такие наставления приносили мало, что еще более выводило отчима из себя. Исаев-младший действительно был и ленив и легкомыслен, но сердцем, по-видимому, обладал добрым и, несмотря на разносы Федора Михайловича, к нему искренне привязался. Впоследствии Анна Григорьевна позаботилась, чтобы окончательно отдалить его от отчима.

Конечно, только тем, что Федор Михайлович не очень задумывался о воспитании Паши, спохватываясь лишь временами, и можно объяснить приглашение в наставники Паше такого Родевича.

Пока Достоевский жил в Москве, подросток порой днями голодал, так как оставленные деньги наставник тратил целиком на себя. Он посылал Пашу занимать деньги, приводил при нем проституток и т. д.

Виноватым Родевич себя не чувствовал, при встрече подвел под свое поведение теоретическую базу, а Достоевского обвинил в ханжестве и барстве. Это и вызвало письмо, цитата из которого приведена выше.

Родевич принадлежал к той людской накипи, которая возникает на каждом сильном общественном движении. Родевичи не способны понять суть движения, но охотно принимают его формы, если это доставляет им удовольствие и выгоду. Они охотно повторяли за шестидесятниками: «Жертва — сапоги всмятку», но в отличие от шестидесятников словами не ограничивались. Они были эгоистами, но отнюдь не «разумными».

О том, что такие нигилисты суть будущие титулярные советники, писал тогда Щедрин.

Впоследствии Родевич, закончив университет, трудился по линии министерства народного просвещения и достиг степеней известных.

И опять-таки, хотя объяснение с Родевичем просто вывело Достоевского из себя и чуть не привело к припадку, и это

знакомство пригодилось художнику — черты Родевича исследователи находят в образе Ракитина из «Братьев Карамазовых».

С настоящими шестидесятниками Федор Михайлович спорил и восхищался ими. С гордостью говорил, что первая в России женщина-доктор Надежда Суслова — его друг.

Восхищался Достоевский и «нигилисткой из аристократок» Анной Корвин-Круковской, спорил с ней свирепо и умолял ее выйти за него замуж. Было это в дни гибели «Эпохи».

За несколько месяцев до этого Федор Михайлович получил из одной белорусской губернии две повести — «Сон» и «Послушник». Их автором была совсем юная девушка, дочь отставного генерала, жившего там в своем поместье. В письме, сопровождавшем рукописи, она спрашивала Достоевского, сможет ли она, по его мнению, стать писательницей; Федор Михайлович ответил почти восторженно: «Вам не только можно, но и *должно* смотреть на свои способности *серьезно*. Вы поэт. Это одно уже многого стоит». Повести он напечатал в восьмом и девятом номерах «Эпохи».

Анюта в доме верховодила. Ею восхищались все — от отца до младшей сестренки, которая стала потом профессором математики Стокгольмского университета Софьей Ковалевской. Анюта потребовала поездки в Петербург, чтобы лично познакомиться со знаменитым писателем.

Отец-генерал, с трудом переживший публикацию в журнале повестей дочери — писательницы представлялись ему немного более утонченной разновидностью публичных женщин — был в ужасе.

— Достоевский — человек не нашего общества,— с содроганием говорил он жене,— что мы о нем знаем? Только что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация, нечего сказать!

Но Анюта делала в доме все, что хотела, и вскоре она уже ехала в столицу в сопровождении матери и сестры. Приехав, она немедленно пригласила Федора Михайловича.

Первое знакомство прошло очень неудачно. При встрече присутствовала мать Анны, да еще подошли две тетушки-немки. Федор Михайлович, как обычно, знакомясь с новыми (притом чужого, светского круга) людьми конфузился, нервничал, раздражался. Сестрам он показался старым и больным — в плохом настроении Достоевский выглядел старше годами и даже меньше ростом. Скоро он ушел, а юная писательница, ждавшая так много от свидания, разрыдалась.

Но через несколько дней Федор Михайлович зашел еще раз, и тут состоялось настоящее знакомство. Софья Ковалевская рассказывает в своих «Воспоминаниях детства»: «Ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старые давнишние приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивали друг друга, шутили и смеялись».

Федор Михайлович влюбился в Анну сразу и сильно, как в Исаеву, как в Суслову — Корвин-Круковская принадлежала к тому же типу сильных женщин, но в отличие и от Марии Дмитриевны и от Аполлинарии была человеком не столько сердца, сколько ума. И ее поначалу очень потянуло к Достоевскому, но она быстро поняла, что Федор Михайлович требует от любимой женщины полного духовного подчинения. Истинная шестидесятница по внутреннему своему складу, Круковская не могла пойти на это. Несмотря на свою молодость, она отчетливо поняла, что их связь станет драмой и для нее и для Достоевского.

Федора Михайловича бесила сдержанность Анны, он отчаянно ревновал ее к молодым знакомым, называл вздорной девчонкой и смазливенькой немочкой, но однажды потрясенная Соня, сама по-девчоночьи по уши влюбленная в великого писателя, услышала в гостиной, у дверей которой остановилась, его быстрый шепот:

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я полюбил с первой минуты, как вас увидел, да и раньше, по письмам, уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

Ночью, услышав плач Сони и разгадав ее состояние, Анна успокоила сестру, сказав, что никогда не выйдет за Достоевского.

— Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня,

всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою.

Вскоре после этого Корвин-Круковские уехали из Петербурга, и Достоевский опять остался один.

В 1869 году Анна Васильевна вышла замуж за французского революционера Жакляра.

В дни Парижской коммуны она — активная ее деятельница.

После победы версальцев Жакляр был приговорен к расстрелу. Жена организовала его побег; они уехали в Россию.

Последние годы жизни Федор Михайлович проводил обычно лето в тихой Старой Руссе. Туда же приезжали на летние месяцы Анна Корвин-Жакляр с мужем и ее сестра. Встречались они обязательно каждый день.

Дружба с этими двумя замечательными русскими женщинами-«нигилистками» стала одним из самых светлых событий в жизни писателя.

* * *

Но тогда, весной шестьдесят пятого, разлука с Анной, не ответившей на его любовь, была еще одним ударом, а он едва держался на ногах от прежних.

«Эпоха» закрылась. Долги он старался не подсчитывать, потому, что можно было сойти с ума от этих сумасшедших, фантастических цифр. Но по утрам, когда он раскрывал постель, они лезли в бессонный мозг и становилось ясно: ему их не выплатить и за три жизни.

Он занимал и перезанимал, составляя немыслимые комбинации. Пришлось выйти из Комитета Литературного фонда — во время ревизии обнаружилось, что Достоевский, будучи в числе руководителей фонда, сам уже дважды брал ссуды (возвратные, разумеется) по 1500 рублей. Это нашел неэтичным полковник генерального штаба, человек педантичной честности Петр Лаврович Лавров. Побывав позже в ссылке, бежав из нее в эмиграцию, став идеологом народничества, Лавров тем не менее сумел как-то прожить свою долгую жизнь очень аккуратно и сам нужды не знал никогда.

Собрание Общества Литературного фонда вынесло Комитету вотум доверия, тем самым обвинение в неэтичном поступке с члена Комитета Достоевского снималось, но Лавров опубликовал свое «особое мнение» в газете «Голос», и Федор Михайлович счел себя обязанным направить председателю Комитета Е. П. Ковалевскому заявление:

«Так как я уже два раза обращался к пособию Литературного фонда, а именно: занимая из его сумм деньги,— то полагаю, что мне теперь... невозможно оставаться более членом Комитета Литературного фонда.

Если же я так поздно спохватился просить увольнения от комитетских занятий (т. е., уже взяв два раза взаймы), то произошло это единственно по непростительной моей недальновидности: да и в голову мне не могла прийти мысль, что деньги я получаю взаймы не потому единственно, что я, как больной, нуждаюсь в них для лечения за границей, а потому, главное, что я сам был членом комитета, а след. имел руку, протекцию и т. д.».

Марку Федор Михайлович выдержал, но ровно через месяц пришлось подавать бывшему директору Азиатского департамента, а теперь руководителю Литературного фонда, новое заявление — уже по другому поводу и в ином тоне:

«Я потому прошу 600 рублей, что на меня подали ко взысканию 700, и что только обещанием внести (к 9 июня) 600 руб. мог я склонить кредиторов покамест меня не *описывать* и не сажать в долговую тюрьму. При моем теперешнем здоровье мне было бы весьма трудно, а может быть, и совсем невозможно приняться за работу в заключении».

Он чувствовал, что круг смыкается. Не находил выхода. Понимал: чтобы найти его, надо хоть чуточку отдохнуть, отдышаться, обрести ясность мысли. Он подал прошение о продлении заграничного паспорта, вызвал Аполлинарию, быстро собрался — и через короткое время очутился в дешевом номере отеля «Виктория» — один, больной, голодный и без гроша.

ОТЕЛЬ «ВИКТОРИЯ»

(Окончание)

Он по-прежнему сидел в Висбадене: хотя чай ему давали теперь немного получше и обедал он довольно регулярно — пусть кое-как, но все же обедал, тем не менее выбраться из этого городка, куда его будто на вечное поселение сослали, не имелось никакой возможности. Деньги приходили — и от Поли были, и от Врангеля, и у священника Янышева он занимал,— но все по мелочам, и их тут же почти полностью отнимал хозяин отеля. В ожидании нового присыла Федор Михайлович опять должал ему, и очередной перевод вновь

уходил в хозяйскую кассу. Достоевский страшно похудел, каждую ночь его то жег жар, то тряс озноб. Припадков, правда, не было, однако он постоянно чувствовал какую-то внутреннюю лихорадку.

Но именно в эти дни он написал свое знаменитое письмо Каткову:

«Могу ли я надеяться поместить в Вашем журнале мою повесть? Я пишу ее здесь, в Висбадене, уже 2 месяца и теперь оканчиваю. В ней будет от пяти до шести печатных листов. Работы остается еще недели на две, даже, может быть, и более. Во всяком случае, могу сказать наверно, что через месяц и никак не позже она могла бы быть доставлена в редакцию «Русского вестника».

...Это — психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда не годна», «для чего она живет?» «Полезна ли она хоть кому-нибудь?» и т. д.— эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем, чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем уж, конечно, «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над глухой, глупой, злой и больной старухой, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может быть, сама собой померла бы.

Несмотря на то, что подобные преступления ужасно трудно совершаются — т. е. почти всегда до грубости выставляют наружу концы, улики и проч. и страшно много оставляют на долю случая, который всегда почти выдает виновных, ему совершенно случайным образом удается совершить свое преступление и скоро и удачно.

Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы, никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берут свое, и он кончает тем, что *принужден* сам на себя донести. Принужден, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое. Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело. Впрочем, трудно мне разъяснить вполне свою мысль.

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, потому что *он и сам его нравственно требует*.

Это видел я даже на самых неразвитых людях, на самой грубой случайности. Выразить мне это хотелось на развитом, на нового поколения человеке, чтоб ярче и осязательнее видна мысль, несколько случаев, бывших в самое последнее время, убедили, что *сюжет* мой вовсе не эксцентричен. Именно, что убийца развитой и даже хороших наклонностей молодой человек. Мне рассказывали прошлого года в Москве (верно) об одном студенте, выключенном из университета после московской студенческой истории,— что он решился разбить почту и убить почтальона. Есть еще много следов в наших газетах о необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела. (Тот семинарист, который убил девушку по уговору с ней в сарае и которого взяли через час за завтраком... и проч.). Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность.

Само собою разумеется, что я пропустил в этом теперешнем изложении идеи моей повести — весь сюжет. За занимательность ручаюсь, о художественном исполнении не беру на себя судить. Мне слишком много случалось писать очень, очень дурных вещей, торопясь к сроку и проч. Впрочем, эту вещь я писал не торопливо и с жаром. Постараюсь, хотя бы *для себя только*, кончить ее как можно лучше.

Лет шесть тому назад я присылал в «Р. в-к» одну мою повесть, за которую получил от Вас деньги вперед. Но вышло недоразумение, дело не состоялось, и я взял назад мою

повесть... Может быть, я был отчасти виноват, может быть, был отчасти и прав. Всего вернее, что и то и другое было. Теперь же я готов скорее обвинить себя в капризе и заносчивости. Я забыл подробности этого дела. Могу ли я надеяться, что и Вы, многоув. Мих. Ник., не захотите их теперь припоминать?

В продолжении последних шести лет мне случалось получать плату с листа от 250 р. (за «Мертвый дом», начало которого печаталось в бывшей газете «Русский мир») до 125 р., предложенных мне еще недавно в одном издании. Отдаюсь совершенно в назначении мне платы на Ваше усмотрение по прочтении повести. Я слышал, что так делают многие из литераторов, имеющих с Вами сношения. Но во всяком случае я бы желал получать с листа не меньше минимума платы, которой мне предлагали до сих пор, т. е. 125 р. Но, повторяю, полагаюсь во всем на Вас и твердо уверен, что для меня это будет выгоднее.

Извините, что перейду к делам, касающимся меня лично. Теперешние обстоятельства мои очень не хороши. Я выехал в начале июля за границу совершенно больной для лечения и почти без денег. Я надеялся вскорости кончить одну работу, но увлекся другой работой (тем, что теперь пишу), о чем и не жалею. Тем не менее я принужден теперь попросить у Вас триста рублей, разумеется, в таком случае, если Вы захотите взять мою работу. Прошу Вас, многоуважаемый Михаил Николаевич, не считать эту просьбу о 300-х рублях чем-нибудь принадлежащим к условиям, которые бы я предложил за мою повесть. Совсем нет. Это просто просьба к Вам помочь мне в эту весьма трудную для меня минуту, разумеется,— опять повторяю — просьба, могущая иметь место только в том случае, если Вы изъявите согласие принять мою работу... Во всяком случае убедительнейше прошу Вас не оставлять меня долго без извещения из редакции журнала. Для меня в моем стесненном положении всякая минута дорога. Хотя я и сам через месяц надеюсь возвратиться в Россию, но полагаю возможным через три недели выслать Вам мою работу».

Теоретики литературы не раз цитировали это письмо в качестве примера четкости авторского замысла. И в самом деле, хотя Достоевский в действительности вовсе не завершал свою работу — оставалось начать да кончить,— хотя Катков получил ее окончание не через три недели, а через пятнадцать месяцев, хотя Федор Михайлович все еще оши-

бается относительно размеров своего произведения, считает его не огромным романом, а небольшой повестью,— несмотря на все это четкость плана нас, знающих, как он реализовался, почти пугает. В письме указаны почти все основные моменты будущего романа, и все они нашли место в завершенном «Преступлении и наказании», все они были найдены, обдуманы и выстроены в железный ряд полуголодным, лихорадочно пытавшимся найти выход из, казалось бы, безнадежного положения постояльцем отеля «Виктория». «Преступление и наказание» стало огромной победой Достоевского-художника, начавшей его мировую славу, открыло цикл его великих романов-трагедий. Выходит, все-таки хоть в одном случае оказался пророком немец-хозяин, давший своей гостинице победоносное имя!

Достоевский опасался отказа Каткова не столько из-за действительно полузабытой им истории с «Селом Степанчиковым», сколько из-за той острой борьбы, которую он вел с московским журналом, редактируя «Время». Врангелю он писал: «В продолжении издания «Времени» были между обоими журналами потасовки. А Катков до того самолюбивый, тщеславный и мнительный человек, что я очень боюсь теперь, чтоб он, припомнив прошлое, не отказался высокомерно теперь от предлагаемой мною повести и не оставил меня с носом». Катков, действительно, был и тщеславен, и обидчив, и, так сказать, принципиально злопамятен, но в редакторских делах он был совсем не дилетант и сразу же понял, что значит такой сюжет в руках талантливого писателя и насколько нужно журналу подобное произведение. Триста рублей он выслал немедленно.

Впрочем, в Висбадене Федора Михайловича деньги уже не застали. Заняв еще раз у Янышева, он добрался до Копенгагена. У Александра Егоровича он провел несколько дней. Друзья говорили больше о прошлом — их теперешние интересы уж очень разнились — вспоминали Семипалатинск, Чокана. Его уже несколько месяцев не было в живых, но они об этом, конечно, не знали.

Играя с детьми Врангеля, Федор Михайлович оживлялся. Большей же частью был грустен. Но эта тихая грусть уже не напоминала висбаденскую лихорадку отчаяния. Кризис решился оформлением замысла «Преступления и наказания», и сейчас Достоевский начинал выздоравливать.

Билет на пароход в Петербург купил Врангель. Он дал денег на дорогу и кроме того снабдил гостя теплым пледом —

ехать морем в такую пору в летней одежде значило наверняка схватить воспаление легких. Займа у Врангеля все же не хватило — с обратным рейсом Достоевский отправил другу письмо с просьбой оплатить его долг в буфете парохода.

В столице задержавшегося путешественника с нетерпением ожидали кредиторы, всякие Далисы и Гинтерлахи. К ним уплывал гонорар за роман, и тень долгового отделения продолжала маячить невдалеке. Даже долг Янышеву, очень волновавший Федора Михайловича (ведь висбаденский священник занимал почти незнакомому человеку и из-за задержки мог о нем подумать бог знает что), ему удалось выплатить только через полгода.

И тем не менее чувствовал себя Достоевский совсем иначе, чем еще несколько месяцев назад. Главную роль тут, разумеется, играло то, что роман «удался чрезвычайно». Работал он над ним с огромным душевным подъемом и это, понятно, сказывалось на общем его самочувствии. Янышеву он писал: «Не воображайте, впрочем, что я очень мучаюсь. Нет, было много и отрадных минут... Для меня еще не иссякла жизнь и надежда».

Лето шестьдесят шестого года, самый разгар работы над романом, Федор Михайлович провел в Люблине под Москвой на даче доктора Иванова, мужа сестры Достоевского Веры Михайловны. Мемуаристы рассказывают, что это был один из самых светлых периодов в жизни писателя. В свободное время он был очень весел, верховодил в дачных затеях и развлечениях, крепко сдружился с молодежью, постоянно гостившей у Ивановых.

Завершались и затянувшиеся поиски любви. Говорят, что выглядел он в то лето «решительно женихом». Вера Михайловна, видимо, заботилась о семейном устройстве брата и способствовала его сближению со своей родственницей, женой младшего брата Иванова Еленой Павловной. Она была любимицей семьи, женщиной ясного ума и характера. Мужа ее врачи уже приговорили к смерти, умирал он тяжело и долго, возненавидев всех, кто оставался жить, и в первую очередь — жену. Достоевскому Елена Павловна очень нравилась, и в конце концов он прямо спросил ее, пойдет ли она за него замуж, став свободной. Елене Павловне вопрос, видимо, показался нетактичным — как-никак младший Иванов был еще жив — и она на него не ответила, хотя и дала понять, что внимание Федора Михайловича ей не безразлично. Так, не получив определенного ответа, он и уехал из Люблы-

на, а через пару месяцев начал диктовать «Игрока» рекомендованной ему молодой стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной. Прошло еще немного времени, и Анна Григорьевна стала его второй женой.

И жизнь продолжалась — с долгами, авансами, унижениями, болезнью. С любовью и пришедшей наконец радостью отцовства. Со странствиями. С непрестанными размышлениями обо всем, что совершается в мире, и об удивительном чуде — душе человеческой. С титанической работой. С бешеными триумфами. С яростными спорами. С гениальными прозрениями и грубыми заблуждениями. С одиночеством среди людей, которых считал единомышленниками.

Одного не было в этой невероятно наполненной жизни: бездействия, лени. Юношей Достоевский писал брату Михаилу: «Но что же делать, когда мне осталось одно в мире: делать беспрерывный кейф!» Плохим провидцем оказался юноша (правда, только в отношении себя) — вот уж чего ему не довелось, так это кейфовать. Впрочем, он не жалел об этом.

...Странно, но, кажется, никто не обратил внимания: Достоевский умер как-то «не по характеру».

В предсмертные часы характер человека (если он, конечно, в сознании) обнажается особенно отчетливо, и то, как умирали великие писатели России, подтверждает это лишний раз.

Пушкин умер спокойно и мужественно, разум его был ясен до последней минуты; он сделал все, что считал нужным сделать перед смертью, простил жену, позаботившись о том, чтобы это запомнили присутствующие, последний раз посмотрел на книжные полки и сказал книгам: «Прощайте, друзья!»

Гоголь умер тяжело, страшно и необычно — иначе и не мог умереть автор «Носа», «Портрета» и «Мертвых душ».

Лев Толстой пока не потерял сознания писал дневник — все более слабеющей рукой; последнюю запись уже надо расшифровывать. Как ему ни хотелось быть прежде всего мудрецом, учителем жизни, был он писателем,— писателем с головы до ног, подобно тому, как нелюбимый им шекспировский Лир был с головы до ног королем. Пока он жил, он писал, и скончался, когда не смог писать.

Горький, с трудом держа карандаш в дрожащих пальцах, написал на последней странице неоконченной рукописи четвертого тома «Клима Самгина»: «Конец героя. Конец рома-

на. Конец автора». Через час над Москвой началась гроза. За окном ослепительно промелькнула большая молния, похожая на перевернутый вверх корнями дуб. Воздух запах озоном. Горький улыбнулся и умер.

Эти смерти понятны, они естественно и логично завершают жизнь. Но Достоевский? Человек, который, по словам Толстого, был весь борьба, мятущийся и вдобавок мучившийся страхом конца после каждого припадка эпилепсии, умер неожиданно — стоически спокойно.

У него была эмфизема — стенки капилляров в легких истончились до того, что любое физическое или душевное напряжение могло привести к смертельному кровоизлиянию. Так в конце концов и произошло.

Истинную причину рокового потрясения скрывали, говоря о смерти писателя, и А. Г. Достоевская и Суворин. Причиной был спор с сестрой, Верой Михайловной, по имущественному вопросу. По этому делу Вера Михайловна специально приехала в Петербург. Речь шла о земельном участке, оставленном Достоевскому по завещанию тетки. Вступить во владение им Федор Михайлович должен был в ближайшие дни. Вера Михайловна приехала убедить его отказаться от земли в пользу сестер.

Достоевский только что окончательно развязался с долгами. Единственное, на что он мог рассчитывать, это остатки гонорара за «Братьев Карамазовых» из «Русского вестника». Его очень беспокоила судьба детей — после его смерти они могли оказаться почти нищими. Естественно, он очень волновался. Разговор принимал все более резкий характер, и у Федора Михайловича горлом пошла кровь.

Сначала кровотечение было не сильным, но вызванный врач (фон Бретцель) неосторожно стал выстукивать грудь больного, и кровь хлынула ручьем. Достоевский потерял сознание.

Следующий день прошел довольно спокойно, появилась надежда, хотя Федор Михайлович был очень слаб. Но на послезавтра после спора — оно пришлось на 28 января (1881 года) — когда Анна Григорьевна проснулась в семь утра, она увидела, что муж смотрит на нее.

— Знаешь, Аня,— сказал он шепотом,— я не сплю уже три часа и понял, что сегодня я должен умереть.

Жена заплакала, стала разубеждать его. Достоевский попросил подать ему евангелие, по которому привык загадывать будущее. Это евангелие подарили ему в Тобольске по

пути в Мертвый дом жены декабристов. С тех пор он никогда не расставался с ним. Он раскрыл книгу и прочитал: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

— Слышишь, Аня,— «не удерживай» — значит умру.

Вскоре кровотечение возобновилось. Федор Михайлович то терял сознание, то приходил в себя. Он простился с женой, с детьми, с Майковым.

Что думал он, когда лежал этот свой последний день на узеньком диване под репродукцией «Сикстинской мадонны»? Что видел, закрыв глаза,— Семеновский плац, Мертвый дом, женщин, которых любил, великих, которых знал? Успел ли вспомнить хоть малую часть своей жизни, событий, страстей и мыслей, которой с избытком хватило бы на сотню недюжинных людей?

Он не хотел умирать, он не был исчерпан, он мечтал написать вторую книгу о Карамазовых, мечтал увидеть детей взрослыми. Мне бы лет хоть семь, говорил он за год до смерти. Но, мне кажется, в последний свой день он не пытался бороться, не злился, не тосковал, потому что думал, вспоминая свою жизнь: трудно судьбе отпустить человеку больше, чем было отпущено ему. Жизнь прожита такая богатая и страданием, и счастьем, и всем, чем люди живут, что пора и честь знать.

1967—1970

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРДЦЕ ОСТАЕТСЯ ОДНО, иртышская хроника

Счастливый человек 4
Несколько запоздалое вступление 12
«Отличался молодцеватым видом» . . . 19
«Великодушнейшая женщина» 30
Похвальное слово одному каракалу . . . 33
Казаков сад 41
«Не исключая родного брата» 57
Относительно родного брата 66
Сердце остается одно 71
Грозное чувство 79
Заботы сегодняшние и завтрашние . . . 92
Хроника города Мордасова 100
«Два огромных характера» 107
Проездной билет № 2030 115

ВРЕМЯ И СЕРДЦЕ, невские эпизоды

Отель «Виктория» 128
Ода шестидесятым 138
Тверской антракт 149

Воздух Петербурга 156
Первый год возвращения 160
Чокан в столице 172
«Время» и «почва» 179
Попытка портрета 191
Большие пожары 196
Европа — впервые 207
«Друг вечный» 213
Чокан далеко от столицы 231
Катастрофа 236
Отель «Виктория» (окончание) 252



Издательство «Жазушы» в 1971 году выпустило книги:

1. Бауржан Момыш-улы — Я помню их. Рассказы.

2. Леонид Соболев — Десятилетия дружбы. Статьи и очерки о Казахстане.

3. Зейнула Кабдулов — Пламя. Роман.

4. Леонид Кривощеков — Война уходит на Запад. Роман.

5. Федор Егоров — Гвардейцы. Повесть.

6. Высокое звание — Сборник очерков и рассказов о рабочем классе Казахстана.

Спрашивайте эти книги в книжных магазинах и киосках книготоргов.

Издательство «Жазушы» в 1972 году выпускает книги:

1. Сабит Муканов — Метеор. Первая книга романа о Чокане Валиханове.

2. Габит Мусрепов — Пробужденный край. Роман.

3. Дмитрий Снегин — В те дни и всегда. Повести.

4. Николай Корсунов — На излучине. Повести и рассказы.

5. Михаил Роговой — Дело Марины Мнишек. Приключенческая повесть.

6. Эдуард Мацкевич — Время первой тропы. Рассказы.

Косенко Павел Петрович.

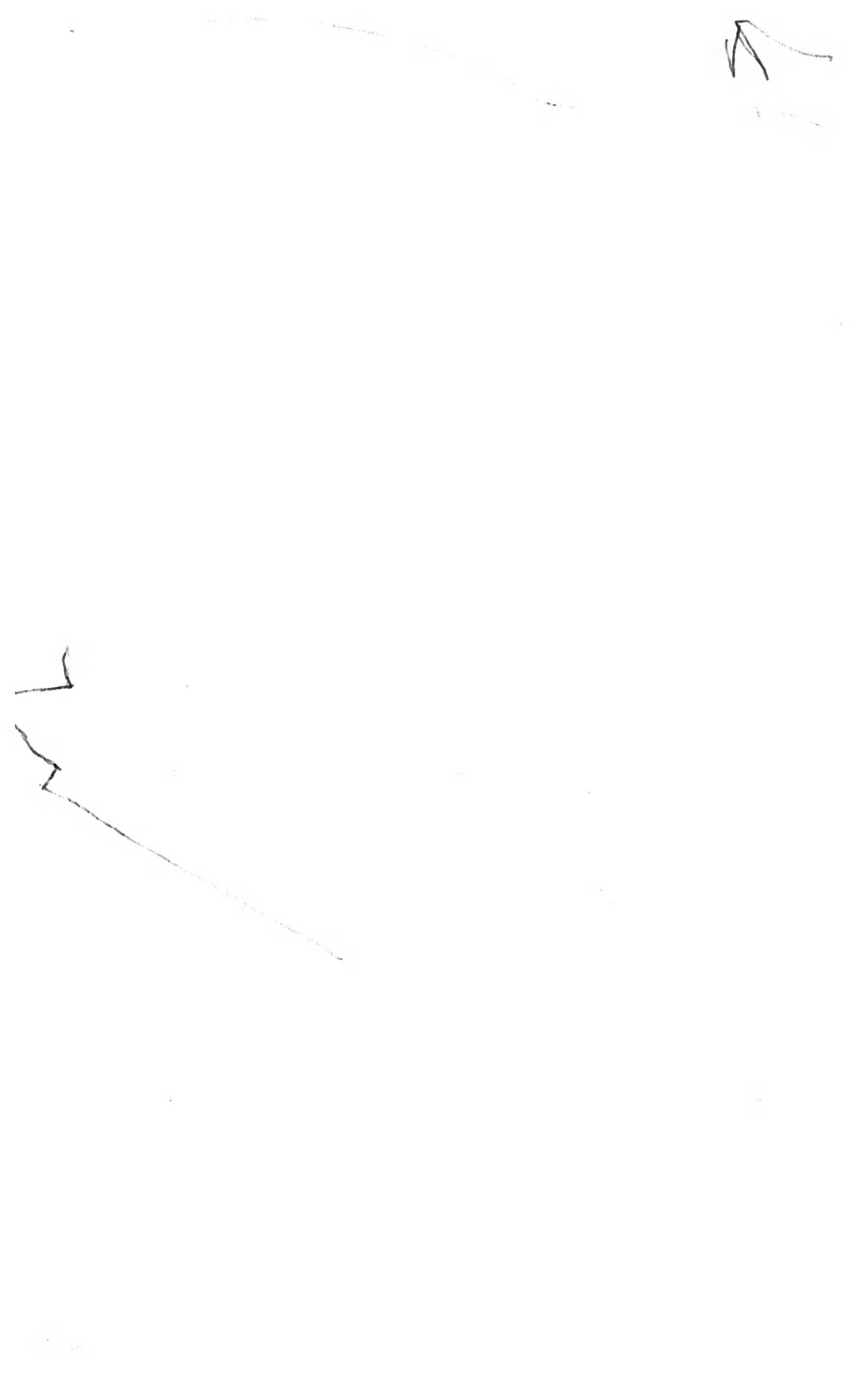
ИРТЫШ И НЕВА. Двенадцать лет из жизни Федора Достоевского, литератора. Алма-Ата, «Жазушы», 1971.
264 стр.

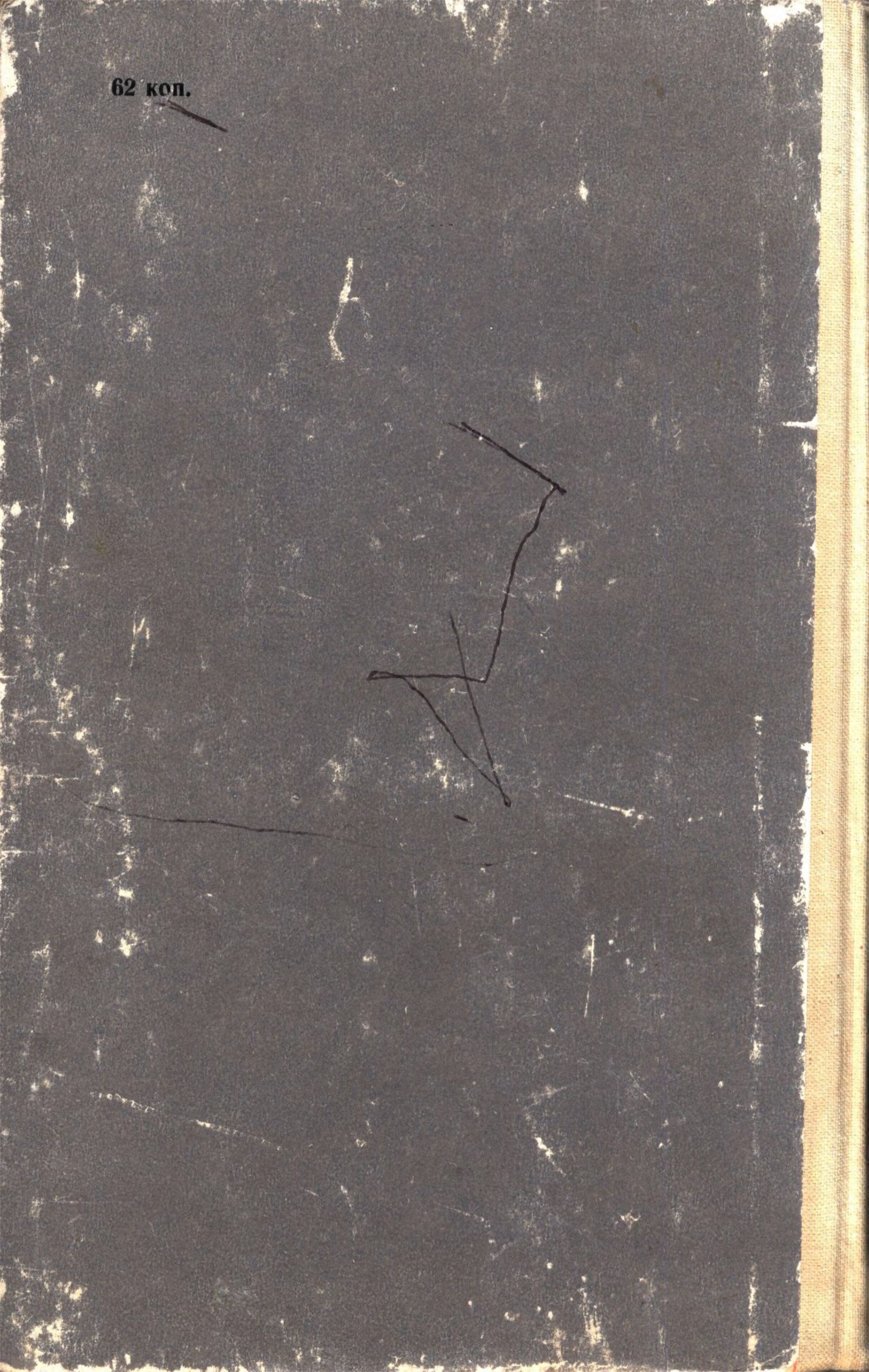
Редактор А. Скворцов.
Художник. А. Гурьев.
Художественный редактор Р. Слюсарева.
Технический редактор Б. Турабаев.
Корректоры М. Кац и А. Сокульская.

Сдано в набор 14/I 1971 г. Подписано к печати 30/III 1971 г. Бумага тип. № 1, 84×108$^{1}/_{32}$—8,25=13,86 п. л. (15,0 уч.-изд. л.). Изд. № 465. УГ03526.
Тираж 100 000 экз. Цена 62 коп.

Зак. № 144. Полиграфкомбинат Главполиграфпрома Госкомитета Совета Министров КазССР по печати, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 39.






62 коп.


ИРТЫШ и НЕВА